

РЫЧКОВ

ТОПОГРАФІЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ.

ОПИСАНІЕ П. М. РЫЧКОВА.
1762 ГОДА.

Въ Санктъ-Петербургѣ: въ Типографіи Академіи Наукъ.
Въ продажѣ: въ Копіи, въ Копіи, въ Копіи.

Ученая и военная академія наукъ
и въ Копіи, въ Копіи, въ Копіи.
и въ Копіи, въ Копіи, въ Копіи.
и въ Копіи, въ Копіи, въ Копіи.

Иван
Уханов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

В энциклопедиях Петр Иванович Рычков представлен по-разному: в одной назван смелым и неутомимым путешественником-естествоиспытателем, в другой — историком и географом, в третьей — писателем, в четвертой — ученым, первым членом-корреспондентом Российской Академии наук... Кем же он был на самом деле? Оказывается, и тем, и другим, и третьим, и четвертым одновременно. Многогранный подвижнический талант Рычкова получил высокую оценку В. Татищева, М. Ломоносова, Екатерины II и многих выдающихся соотечественников. Настоящая книга открывает малоизвестное широкому читателю доброе имя русского патриота.

- [Иван Уханов](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ОКНО В АЗИЮ](#)
 - [РОД И ПРОЗВАНЬЕ](#)
 - [НЕ ИЗ ТУЧИ ГРОМ](#)
 - [КОСА НА КАМЕНЬ](#)
 - [ЗАКОНЫ СВЯТЫ, НО СУДЬИ СУПОСТАТЫ](#)
 - [КТО ХОЧЕТ, ТОТ И МОЖЕТ](#)
 - [С РОССИЙЦАМИ ПОСВОЯСЬ](#)
 - [ОРЕЛ МУХ НЕ ЛОВИТ](#)
 - [ХВАЛА И ХУЛА](#)
 - [ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ](#)
 - [ОБОДРЯТЬ ПУБЛИЧНО ПОХВАЛОЮ](#)
 - [ТЩЕСЛАВИТЬСЯ НЕ ВЕЛЮ И ЗАПРЕЩАЮ](#)
 - [НАША ДОЛЯ — НЕВОЛЯ](#)
 - [СКАЗАННОЕ ЗАБУДЕТСЯ, НАПИСАННОЕ ОСТАНЕТСЯ](#)
 - [ЛУЧШАЯ ОПОРА ИСТИНЫ](#)
 - [БОГАТЕЙШАЯ В ЦЕЛОМ СВЕТЕ](#)
 - [СЛУЖИТЬ БЫ РАД...](#)
 - [СЛАВНЫЙ МЯТЕЖНИК](#)
 - [ИСТОРИЧЕСКОЕ СОКРОВИЩЕ](#)
 - [ПРИРОДНЫМ СЛОГОМ ИЗЪЯСНИСЬ](#)
 - [ОТВАЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ](#)
 - [НЕ РОБКОГО ДЕСЯТКА](#)

- [ПРАВДА БОЖЬЯ, А ВОЛЯ ЦАРСКАЯ](#)
 - [ТРАВА НА СТЕНАХ ХРАМА](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П. И. РЫЧКОВА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [Иллюстрации](#)
-

Иван Уханов
РЫЧКОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кто и когда «в Европу прорубил окно» — об этом известно.

Настоящее повествование о том, как Россия «прорубалась» в Азию, когда и для чего возникли уральские города Орск, Оренбург, Челябинск — об отважных путешественниках, об освоении новых земель и их сокровищ.

С отрядом военно-научной экспедиции из Петербурга в заволжские дикие степи отправляется молодой переводчик невской таможни Петр Рычков. Опасные приключения, кровавые схватки с аборигенами сопровождают путь небольшого отряда смельчаков. Встречи и общение Рычкова с Екатериной II и Михаилом Ломоносовым, Емельяном Пугачевым и полководцем Петром Паниным, с российскими духоборцами Кириловым и Татищевым, с оренбургскими губернаторами Неплюевым и Рейнсдорпом наполняют книгу уникальным содержанием.

Походная жизнь, строгая служба обогащали «слышателя и самовидца» грозных исторических событий Петра Рычкова богатыми впечатлениями и «первостными сведениями» о жизни огромного полудикого края, который в то время «мало был известен не только большинству публики, но и самому правительству». Дерзновенный Рычков, ставший впоследствии выдающимся географом, первым членом-корреспондентом Российской Академии наук, не только многожды прошагал и объехал этот край, но и научно исследовал, описал, отдав его благоустройству более сорока лет неусыпного труда.

Созданная им всемирно известная «Топография Оренбургская» послужила образцом, «верною и достаточною предводительницею» для составления географии всего Российского государства.

Ею, а также оригинальным литературным произведением — «Летописью» Рычкова (Осада Оренбурга) широко пользовался Пушкин при написании «Истории Пугачевского бунта» и «Капитанской дочки». Сам Александр Сергеевич писал об этом так: «Взглянув на приложения к «Истории Пугачевского бунта», составляющие весь второй том, всякий легко удостоверится во множестве исторических документов, в первый раз обнародованных. Стоит упомянуть о собственноручных указах Екатерины II, о нескольких ее письмах, о любопытной летописи нашего славного академика Рычкова, коего труды ознаменованы истинной ученостию и добросовестностию — достоинствами столь редкими в наше время...»

«Летопись» Рычкова Пушкин опубликовал в 1834 году в сборнике

своих произведений, рядом с «Историей Пугачевского бунта».

Сегодня особо важно обратиться к Рычкову, к прошлому, упрочить в себе разумную любовь к Отечеству, начало которой в знании его истории, творцов и двигателей ее.

«Подвижники нужны, как солнце». Особенно нужны теперь, когда остро ощущается потребность в смелых и мудрых созидателях, в толковом хозяйствовании и, говоря прямо, в таких подвижниках, как Рычков. Нужна опора на внутренние силы народа, обретение уверенности в том, что везде, в любом месте России были и есть люди мыслящие, ученые, деятельные, способные укрепить дух и стойкость общества.

«Пока вы не создадите книгу о Рычкове, вы не займете полного морального права писать о чем-либо другом», — подсказал однажды уральским литераторам Виктор Петрович Поляничко, один из партийных руководителей Оренбуржья, впоследствии сраженный бандитской пулей при исполнении служебных обязанностей на посту вице-премьера России.

Писатель Иван Уханов внял этому совету и после двухлетнего труда представил в издательство «Молодая гвардия» рукопись исторического повествования, которая была запущена в производство в серии «ЖЗЛ». Но издание книги «Петр Рычков», уже набранной и проиллюстрированной, было в числе многих других книг этой серии остановлено из-за отсутствия средств.

И вот спустя пять лет подвижники-меценаты нашли-таки средства и помогли «Рычкову» увидеть свет, дойти наконец до российского читателя.

ОКНО В АЗИЮ

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного.

А. Пушкин

Озадаченный поражением русской армии под Нарвой, где она потеряла почти всю артиллерию, Петр Первый решил из церковных и монастырских колоколов отлить новые пушки. В народе оплакивали эту горькую, но безвыходную меру, по нужде и государственной бедности принятую. В апреле 1702 года, подсказывая своим министрам, где прибытки для Отечества искать, Петр Первый наставлял:

— Ежели деньги — артерия войны, то торговля — исток накопления денег.

Но как торговать, если выход к Черному морю в руках турецких пашей, а все пути к Каспию и в страны полуденной Азии преграждены скопищем всевозможных ханств?

Российскому государю было известно, что за восточными пределами империи, на огромных просторах казахских степей, Хивы, Бухары и западных предгорий Алтая кочуют многотысячные орды — Большая, Средняя и Меньшая. Враждуя между собой, кочевники нередко переходят Яик и нападают на русские и башкирские поселения.

Что это за народы такие, каковы их обычаи и военная сила, где границы их владений? В 1692 году у великого хана Джангира Тауке побывали русские послы. Вернувшись из жарких стран, рассказали много диковинного.

— Орды оные занимают несметные земли, имеют огромные табуны лошадей и верблюдов, коз и овец, но живут сами небогато, истощая друг друга войнами. В давние века ханы Касым и Назир многожды тщились сплотить три орды-жуза в единый союз. Не сумел пресечь распри казахских султанов-феодалов и ныне правящий хан Джангир Тауке. Власть его слаба отсутствием какого-либо правительства. Все дела правит он сам. Есть даже регламент такой — «Закон Тауке», где записаны указы и правила казахов на все случаи жизни, — доложил посол.

— А правила-то сии, не дай Бог, варварские, — добавлял другой

посол. — Отцу позволяется бессудно убить своего дитя за непослушание, мужу — жену за прелюбодеяние, богохульника всегда полагается забросать камнями либо затоптать до смерти.

— Проведали мы, — сообщал третий посол, — что недавно у казахов объявился страшный внешний враг — калмыки, так называемые джунгары. Прикочевали они с низовьев Волги и грабительскими набегами не дают казахам житья, вынуждая их отходить на русские земли. И хотя Джангирхан посулил впредь не посягать на русские поселения, все то — хитрость его, либо бессилие. Пограничные стычки как были, так и есть. Даже наш отряд мирных посланников в тех степях едва не был истреблен...

Выслушав послов, Петр Первый решил, что дорогу для торговли со странами Азии и Ближнего Востока прокладывать через казахские степи, населенные воинственными кочевниками, несподручно и опасно. Лучше поискать другой, может быть, водный путь. Был слух, что Амударья прежде впадала в Каспийское море, что есть где-то ее старое русло. Чтобы обследовать малоизвестные прикаспийские земли, из Астрахани в 1717 году выступил небольшой военный отряд под предводительством князя Бековича. Он достиг пределов Хивинского царства, где был окружен 24-тысячным войском хана Ширгази. Три дня русские упорно сдерживали атаки хивинцев. Хан пошел на гнусную хитрость: предложением мирных переговоров заманил к себе русских офицеров и убил их. В народе с тех пор долгое время ходила грустная поговорка: «Пропал как Бекович». Русские погибли в основном от незнания местности и обычаев хивинцев.

Через пять лет Петр Первый во главе крупных сухопутных и морских войск сам прибыл в Астрахань, а затем в Баку. Где дипломатически, где силою пробовал он наладить торговые связи. Центром такой связи в то время была Астрахань. Но город стоял в неудобном месте. На русских купцов в Каспийском море нападали хивинцы и персы, торговые суда гибли также от частых штормов и бурь. На юго-восточной оконечности моря находился городок Астрабад. Петр поначалу надеялся сделать его опорным пунктом для бухарских и индийских торгов. Но после гибели князя Бековича и почти всей его разведочной экспедиции обосновываться на территории враждебного Хивинского ханства было бы неосмотрительно.

Для России оставалось одно — искать торговые пути в страны полуденной Азии через казахстанские степи, защитив их оборонительно-сторожевой линией.

События благоприятствовали исполнению этого замысла. В 1723 году джунгары нанесли казахам очередной, наиболее мощный удар, захватили все кочевье Средней и Меньшей орды, оттеснив их к Яику и Тобольску.

Нуждаясь в сильном заступнике, хан Меньшей орды Абул-Хаир попросил у России подданства. В 1726 году он отправил в Петербург послов с челобитной принять его, хана, и сорок тысяч кибиток под руку белого царя и позволить казахам кочевать по Яику. Русское правительство недоверчиво отнеслось к просьбе Абул-Хаира. Через четыре года он снова прислал в Петербург своих посланников с прежней просьбой.

Императрица Анна Иоанновна после долгих раздумий и колебаний в феврале 1731 года выдала Абул-Хаиру жалованную грамоту с согласием принять казахов в подданство, но при условии, если хан обеспечит безопасность русским торговым караванам, идущим в Среднюю Азию, будет платить ясак.

Пристально следивший за ходом этих вялых переговоров обер-секретарь Правительствующего Сената Иван Иванович Кирилов высказывался за более прибыточное использование создавшейся ситуации. Он предложил построить на реке Яик город и несколько крепостей, дабы защитить восточные окраины государства от постоянных набегов степных кочевников и наконец открыть, под приглядом этих форпостов, путь русским товарам в Индию и Бухару, а также изучить и освоить для пользы Отечества неприкосновенные до сих пор подземные кладовые новых земель.

В своем докладе-проекте в Сенат Кирилов обосновал пользу безотлагательной экспедиции на Южный Урал, соблазняя апатичное «немецкое» правительство Анны близкими и дальними экономическими выгодами ее. Он, например, привел довод, что торговля с Индией и Бухарой поставит России драгоценные камни, цветные металлы, а главное — золото и серебро. В XVIII веке золото считалось единственным видом богатства всякой страны. Россия же в ту пору не имела ни одного золотого прииска, сей металл ввозила из-за границы, в основном из Европы.

Сенат принял проект и, в уважении широких исторических и географических познаний, личного радения его автора, Ивана Кирилова, поручил ему же намеченное претворить. Указ Сената от 7 июня 1734 года объявил начало Известной (Оренбургской) экспедиции.

Будущий город велено было назвать Оренбургом (по имени тамошней реки Ор) и дать ему широкие привилегии. Подлинник указа, завернутый в парчу с золотыми кистями и шнурами, был вложен в серебряный ковчег и 15 июня вручен Кирилову самой императрицей.

Июньским днем 1734 года переводчик Петербургской портовой таможни Петр Рычков явился домой в превеликой радости. Его пригласил в

грандиозную, благословленную указом государыни, Известную экспедицию географ Иван Кирилов, автор только что вышедшей в свет «Генеральной карты Российской империи». Россияне впервые обозрели великую свою державу, морские и сухопутные границы ее.

С юным Рычковым, сыном вконец разорившегося вологодского купца, Кирилова свел случай: мыкаясь по Петербургу в поисках работы, Петр прослышал, что портовой таможне требуется знаток немецкого языка. Кадрами таможни ведал Сенат, туда Рычков и направился с надеждою. Кирилов лично проэкзаменовал Петра и, удовлетворясь его прочными знаниями немецкого языка и арифметики, рекомендовал принять на службу.

И вот через два года вспомнил о нем: экспедиции требовался бухгалтер. Нужен был не только грамотный, опытный, но и молодой, выносливый человек. В дальний поход Иван Кирилов отбирал добровольцев. Экспедицию составили люди разных профессий, знаний и званий: геодезисты, картографы, художники-граверы, ботаники, торговые люди, строители, солдаты. Всего набралось 95 человек. Петра Рычкова определили бухгалтером.

Не все с готовностью соглашались ехать с Кириловым. Не с первого раза заключил он договор на три года с живописцем Яганом Касселем, который обязался «не токмо все то, что для живописной работы касается, исполнять, но и всякие перспективы снимать и рисовать, и изобретаемые натуральные всякие вещи: металлы и минералы в настоящем подобии изображать». Был приглашен в экспедицию и крупный ботаник Ноган Гейнцельман, согласился ехать также астроном и математик Джон Эльтон. Московские профессора Аман и Шлессер долго выпытывали у Ивана Кирилова, какие выгоды сулит им экспедиция. Поторговавшись, ответили отказом.

Зато «самоохотно» рвался в путь ученик академии русский парень Михайло Ломоносов, не желая ни прибытков, ни убытков своих ведать. Однако печальная вышла история.

Предвидя, что большой экспедиционный отряд русских вскоре окажется на территории, населенной иноверцами, Кирилов решил взять с собой ученого священника. Святейшее Синодальное правление, куда он обратился, дало указание Канцелярии Московской Славяно-греко-латинской академии «...из оной Академии выбрать из учеников человека достойного для произведения во священство и желающего ехать со статским советником Иваном Кириловым в Известную экспедицию...».

Выбор пал на 23-летнего Михаила Ломоносова, потому как был он в науках силен и телесно крепок, «болезни и глухоты и во удесях

повреждения не имеет и скоропись пишет». Важно было и то, что в экспедицию он, единственный из учеников, «ехать самоохотно» пожелал. Узнав об этом, Кирилов известил канцелярию Синода, что кандидатурой Ломоносова доволен. Однако уже через несколько дней над Ломоносовым сгустились тучи: его не только не зачислили в экспедицию, но едва не выгнали из академии.

Выяснилось вдруг, что при поступлении в 1731 году в это заведение Ломоносов назвался сыном холмогорского попа, так как крестьянских детей туда не принимали. Тогдашний ректор академии архимандрит Герман в беседе-экзамене обнаружил в одаренном юноше большие способности и зачислил его в академию на основании отпускного паспорта и прошения самого Ломоносова. Когда же дело дошло до зачисления его в правительственную научно-военную экспедицию, возглавляемую статским советником (чин, равнозначный армейскому бригадиру, на ступень выше полковника) Кириловым, Канцелярия Синода направила в Холмогоры, на родину Ломоносова, строгий запрос в подтверждение ранее сообщенных им сведений о себе. Тут и раскрылся обман, позволивший Ломоносову поступить в академию и учиться в ней. На допросе Михайло с достоинством подтвердил, что доподлинно он крестьянский сын. Сказал также, что называться поповичем его никто не научал, все он учинил по простоте своей. Ломоносову простили эту «утайку», содеянную по благим замыслам, и разрешили продолжать учение, в котором он отлично успевал.

О походе же в заяицкие степи ему пришлось забыть.

Обратясь в камер-коллегию, Иван Кирилов сожалел, что такой подходящий для экспедиции доброволец «по рассмотрении оказался крестьянским сыном». Помня о своем простом происхождении, Кирилов пробовал даже как-то повлиять на служителей.

— Не высока порода, да рвением к пользе Отечества высок! — вступался он за Ломоносова. — Не о таких ли сынах радел Петр Великий, учредя Табель о рангах? Никакого ранга, велено в нем, не давать тем, кто государю и Отечеству заслуг не кажут. Зато отличившихся на службе причислять к лучшему старшему дворянству, хотя они низкой породы...

Заступничеством за Ломоносова Кирилов лишь себе навредил: священника ему не дали.

Петру Рычкову шел двадцать второй год. Был он росл, крепко сложен, приятен крупными чертами открытого лица.

Отец прочил ему карьеру делового человека, с детских лет прививал вкус к коммерции. И если бы не экспедиция, то, возможно, все так и случилось бы, как мечтал отец.

В Петре сызмальства бродил дух путешественника. Канцелярские рамки таможни стесняли его, хотя как переводчик служил он при бухгалтере-иностранце весьма исправно и «обнадежен был определением на место того по контракту служившего бухгалтера».

В порту курсировали десятки иностранных торговых судов, реяли разноцветные флаги, слышались зычные окрики, смех матросов и грузчиков, команды вальяжных капитанов. От канатов, деревянных бочек и палуб тянуло морем; эти звуки и запахи словно бы обдавали Петра соленым ветром, распаляли воображение: хотелось плыть куда-то, ну хотя бы заглянуть за темно-синий горизонт, где опускаются, как бы утопая, раскаленное солнце и уходящие из гавани рыболовецкие шхуны и высокомачтовые фрегаты.

Родители Рычкова поначалу восприняли экспедицию как неожиданное несчастье для сына и юной жены его, красавицы Анисьи. Та даже вообразить не могла, как можно покинуть все удобства и выгоды столичной жизни и устремиться в дикие степи, к киргиз-кайсацким кочевникам. Петр объяснил ей, что едет он с надежными товарищами, да и не воевать же они едут, а изучать новые земли, строить город и крепости на восточных незащищенных окраинах державы. Отправятся в поход только мужчины, а как разведают, обустроят неведомые места, то и жены, коль соскучатся, могут к ним приехать.

— Не слезы надобно лить, Анисья, а гордиться: не всяк годен для одного похода, берут токмо достойнейших, — утешал Рычков юную супругу. — Да и призвал меня не кто другой, а сам статский советник, просвещенный географ Иван Кириллович Кирилов. Лично Петра Великого знавал! С этим отважным предводителем готов я хоть на край света идти.

РОД И ПРОЗВАНЬЕ

Лиха беда — начало.

Русская пословица

Ясным июньским полднем 1734 года на пяти судах экспедиция отчалила от Петербурга и по Ладожскому озеру направилась к устью реки Волхов — таков был водный путь к Москве. Прожив в столице несколько лет, Петр Рычков впервые рассматривал Петербург и его окрестности издали, со стороны моря, и восхищался красотой и основательностью застройки. Берега возле города были укреплены камнем и деревом, сделаны несокрушимые плотины и шлюзы, а на случай сильных наводнений прорыты обводные каналы. После нескольких пожаров и штормов, поглотивших и уничтоживших сотни домов, Петр Первый в 1714 году издал указ о строении зданий на каменном фундаменте и мощении дорог булыжником. Но поскольку дикого камня в болотистых окрестностях не находилось, государь повелевает с каждого судна или повозки, прибывавших в Петербург, брать камни весом от пяти до тридцати фунтов, за непривоз — денежный штраф. Ежедневно в порту и возле въездных городских ворот вырастали горы крупных и мелких камней, которые немедленно пускались в дело. Город спешно одевался в гранит и мрамор.

Зато утеснялась и беднела жизнь поморских крестьян и рыбаков. Наведываясь по служебным делам в Ямбургский стекольный завод, Петр Рычков, принужденный бездорожьем и ненастьем, случалось, останавливался на ночлег в избе крестьянина и видел, что «народ весьма учтив, но так угнетен бедностью, что едва виден в нем образ человеческий». Низкая изба-сруб обыкновенно вмещала печь, широкие полаты и подвешенную за крюк к закопченному потолку сплетенную из прутьев люльку. Вместо окон мутно светились крохотные отверстия, в две ладони, заделанные слядой или высушенным коровьим пузырем. На ночь избу жарко натапливали, и все домочадцы укладывались на полаты, а то и на пол почти нагими, прикрывшись лохмотьями. Все лежали вповалку: муж, жена, дети, собаки, кошки, телята...

Как сказывали Рычкову старожилы, рыбы и домашней скотины здесь прежде было вдоволь, но с появлением большого города с многотысячным населением нужда в мясе и овощах умножилась, съестные припасы стали

привозить из российской глубинки. Задавленный поборами и налогами, местный люд бедствовал, хлеба не видел совсем, обходясь капустой, ягодой, кореньями, рыбой.

Взирая сочувственно на бедность простонародья, Петр Рычков считал ее временной тягостью, без которой воздвижение великого города и быть не могло. Он вырос на рассказах о легендарном Петре Первом, боготворя каждое его деяние.

В Вологде, а затем в Москве к Рычковым иногда заезжал граф Бонде, который после Полтавской битвы в числе пленных шведов попал в Вологду, где Рычков оказал ему, большому знатоку коммерции, приют и содействие. Мнения иностранца и русского купца о недавно почившем славном государе не всегда совпадали.

— Побыв за границей, император наш Петр Алексеевич повелел вдруг нам, русским людям, забыть свою одежду и облачиться в иноземное платье. Разве не обидела та причуда соотечественников? — вспоминал Иван Рычков, впрочем, больше привередничая, нежели осуждая государя, давшего большие льготы купцам, всем торговым людям.

— Надобно ли жалеть о тех убогих смехотворных балахонах и малахаях? Чем мужчина прежде отличался от женщины в тех нарядах? — подшучивал граф Бонде.

— Бородой. А государь наш и бороды приказал всем обрить, кроме крестьян да холопов. Всякому другому люду за ношение бороды штраф от десяти рублей и более. Не грех ли это против христианства? Я знал одного работника, что долго не мог с бородой своей расстаться даже под угрозой, что у него ее вырвут вместе с кожей. Потом все ж пошел к цирюльнику, слыша его зазывной совет: без бороды ты, мол, только помолодеешь видом. Уговорил, состриг ему бороду. Вот идет он от цирюльника, вконец удрученный, и показывает мне свою бороду из-за пазухи. Говорит: помирая, попрошу положить ее в гроб, чтобы на суд божий в благочестивом облике христианина явиться.

— Что так, то так: имели русские привычку усы в вине, а бороду в борще купать.

— Не нами сие заведено, с древних времен повелось.

— Мало ли чего заведено было... Ивана Ванькой, Марию Машкой, Дмитрия Митькою, Пелагею Палашкою у вас заведено было кликать. А государь Петр запретил эти оскорбительные клички.

— Но привилось ли сие? Указ-то был, но были и есть Ваньки и Палашки. И будут, понеже у русских свой нрав и привычки, — рассуждал купец Иван Рычков. — Грозный и нудный, помните, еще был указ, чтоб не

падать на колени в грязь и зимою, когда морозно, шляп и шапок с головы не снимать, проходя мимо дворца, где он, государь, обитает. Молиться на коленях можно-де лишь перед иконой, Господу Богу, а ему, государю, не нужна такая глупая и бесплодная почесть: в мороз оголять голову и вредить здоровью своему; мне, говорит, здоровье моих подданных дороже. А ныне попробуй не поклонись, если императрица со свитою появится. Живо кнута отведает или в остроге очутишься.

— Вина ли в том Петра Великого, что его заветы и указы ныне забыты или попираются? Но, согласен, и сам он ошибки чинил, спешно перенося иностранные обычаи в русскую жизнь. Сетуя, что в России мало ученых людей, специалистов, приглашал иноземцев, а также посылал за границу молодых людей за образованием. Однако многие из них возвращались домой почти такими же, какими уезжали, потому как были ленивы и дурно воспитаны. Тогда государь Петр решил создать по образу Французской академии свою, российскую, где надлежало обучать наиболее способных юношей. Но жизни ему не хватило наладить это дело, а продолжатели его не радеют ныне... Нет в оной академии ни одного русского профессора Президента ее, Кейзерлинга, сменил недавно Бреверн, но, слыхивал я, академия запущена, имеет тридцать тысяч долгов.

— Петр Алексеевич не потерпел бы, пресек сие нерадение, — заметил Иван Рычков. — В Вологде, помню, двух купцов едва не сослали в Сибирь за нарушение государева указа о неподбитии сапог гвоздями и скобками, ибо оные полы портят. А те купцы ослушно скупали у сапожников и продавали... Дотошный рачитель был!

— О том и говорю: отовсюду добро и богатство в свою страну стремил, полезными делами и людьми наполнял ее... Вот и моя судьба в одночасье решилась, как однажды увидел, послушал вашего государя... Двадцать седьмого июня то было, под Полтавой. Сражение кончилось тем, что двадцать четыре тысячи шведов, в том числе и я, попали в плен. Наш король бросил нас и бежал в Турцию. Толпа пленных стояла на поле под горячим солнцем и ждала своей участи. Стволы русских пушек были наведены на нас. Тут появился на коне Петр Первый и велел выдать всем пленным провиант, разоренным оказать помощь, убитых схоронить. А через день у государя был день рождения, и он повелел угостить пленных наравне с русскими воинами праздничной порцией провианта и вина. Русские обнимали нас, своих врагов, и пели песни. Вот в тот день меня и осенила мысль остаться в России...

Приняв русское подданство, граф Бонде порядком обрусел и исправно служил в Государственной коллегии иностранных дел. Помня старое добро

купца Ивана Рычкова, при случае оказывал ему поддержку.

Об отце, вообще о родословной своей Петр Рычков впоследствии подробно изложит в автобиографических записках.

«Род и прозвание Рычковых исходят из древней дальности и неизвестности», — писал он и вполне достоверно сообщал, что его дед, Иван Иванович Рычков, был вологодским подьячим, занимался как приказный служитель казенными сборами в провинциях. Он скоропостижно скончался в 1712 году. Петр, родившись 1 октября того же года, деда своего помнить не мог, но от родственников слышал, что дед был «человек большого росту, твердого состояния и здравого рассуждения». Он после себя оставил трех сыновей: Ивана, Михаила и Федора.

«Старший из них, Иван Иванович, был мой родитель, — свидетельствовал Рычков. — Жизнь его была соединена с разными и по большей части трудными приключениями». Вдвоем с братом Михаилом отец вел торговый промысел. По рекам Двине и Сухоне они отправляли в Архангельск небольшие суда с хлебом и разными товарами. Однажды взяли крупный подряд на перевоз поташа, смольчуги и клея. Но в пути буря разбила ветхие речные суда. Казна предъявила братьям Рычковым счет, уплатить который им оказалось не по силам. Тогда приказная контора для возмещения принесенных убытков конфисковала имущество Рычковых.

Лишившись средств, Иван Рычков в 1720 году навсегда покидает Вологду и едет с семьей в Москву, где среди своих знакомых по торговым делам находит и весьма влиятельных. Таких, как ранее упомянутый граф Бонде, который устраивает его экономом ко двору герцога Шлезвиг-Гольштинского Карла-Фридриха.

Жить в Москве было дорого. Тем более что Рычков окладного жалованья не получал. Однако все старания направил к тому, чтобы дать своему сыну образование. Петр был единственной радостью и надеждою родителей, так как все прочие двенадцать рожденных у них детей в младенчестве поумирали. Для восьмилетнего ребенка нанимают учителя арифметики и голландского языка. Потом отец отдает сына «для совершеннейшего познания оного и других языков и для обучения бухгалтерской науке и внешней коммерции» к тогдашнему полотняных фабрик директору Ивану Павловичу Тамесу.

Тамес полюбилмышленного и покладистого ученика, как сына, и, по словам Рычкова, «при всех своих рассуждениях и представлениях к размножению мануфактур и к пользе российской коммерции чиненных всегда употреблял, и хотя я тогда несовершенно еще возраста был, следственно, и понятия ко всему тому достаточного не имел, однако в

познании оных дел еще тогда и суще от него нарочитое основание получил».

Наставником своим Рычков гордился не беспричинно: «За его разум и многие полезные проекты к заведению и распространению мануфактур Тамес находился в особливой милости у его Величества... Петра Великого». Чтобы похвале не быть голословной, об Иване Тамесе нельзя не сказать чуть подробнее.

Приехал он из Голландии в начале XVIII века, то есть сразу же после того, как Петр Первый, побывав за границей, издал в 1702 году манифест, приглашавший в Россию ремесленников, мастеров, фабрикантов на выгодных для них условиях. Петр старался приемы и обычаи западноевропейской промышленности внедрить в русское производство, направить его усилия на освоение нетронутых богатств страны, «освободить рынок от гнета заграничного ввоза». Льготами и принуждением он всячески поддерживал иноземных и собственных промышленников, сравнивая последних с детьми, что «без понуждения от учителя сами за азбуку не сядут и сперва досадуют, а как выучатся, благодарят».

Силою и ласкою Петр Первый спешил насадить новый порядок в стране. Россия жила в режиме сверхвысокого давления извне и, чтобы отбиться от наседавших отовсюду многочисленных врагов, должна была в лице Петра «властно требовать от своего народа столько богатств, труда и жизней, сколько это нужно было для победы».

Известно, что из 35-летнего своего царствования Петр Первый четверть века непрерывно воевал, борясь за выходы к морям и за возвращение исконно русской территории. Ему нужна была сильная армия. Вот почему его заботило прежде всего устройство военных производств — парусинового, суконного, полотняного, а также горного дела, металлургии.

В Москве и Петербурге затевается строительство канатного, кожевенного, стекольного, шляпного, суконного, полотняного дворов, пуговичного и овчарного заводов. Машины и сырье для них либо изготавливались на местах, либо ввозились из-за границы. Покровительствуя иностранцам, Петр Первый относился к ним весьма осторожно, особенно когда те норовили претендовать на роль хозяев новых мануфактур. Он использовал их лишь как проводников промышленных новшеств.

Московские торговые люди опасливо воспринимали новое дело, боясь вкладывать свои капиталы в создание мануфактур, которые требовали не только больших денег, но и технического образования, каждодневного пригляда, порядка и дисциплины. Русским купцам, склонным к вольному

режиму жизни, привыкшим только скупать, а не производить товары, новая деятельность была в тягость. Это видно, например, из истории Полотняного завода. Он был построен в 1706 году в Москве. И хотя сырьё имелось в достатке и приемы обработки его русские хорошо знали, хотя начальниками его поставили крупных московских купцов, завод нес убытки, а через восемь лет совсем остановился. Один из компанейщиков, купец Иван Зубков, признаваясь в неудачах, доносил, что он-то старался, но другие, вложив деньги, фактически «у того дела не были и не радели».

Тут в компанию купцов и вступил Иван Тамес. Чуть погодя он принял русское подданство и уравнился в правах с русскими купцами. Видя среди них разлад и нерадение, он обратился к Петру Первому с просьбой назначить его директором мануфактуры, обещая так наладить дело, что не только «удовольствует всю Россию полотном, тиком, скатертями и салфетками, но и сверх того за море ради продажи отпуск умножит». Царь удовлетворил эту просьбу, и вскоре так называемая «фабрика Тамеса» стала самой крупнейшей и передовой в России. Уже к концу 1725 года там работало около восьмисот человек.

Прежде основная часть пряжи покупалась втридорога за рубежом. Тамес открыл свой прядильный цех. Сырьё для него заготовлялось подрядом. Тамес отказался от этой невыгодной и ненадежной услуги людей, прямо не подчинявшихся ему. Он попросил придать фабрике несколько сел, жители которых поставляли бы нужное количество работников и льна. Кроме желающих обучаться и работать на фабрике по доброй воле, присылались «винные бабы и девки», допустившие в своем поведении какие-то промашки. Так Иван Тамес снабдил фабрику дешевой рабочей силой и почти даровым сырьем. В ее цехах работали теперь в основном русские мастера, рабочие и управители вместо наемных иностранцев, содержать которых было в два раза дороже... При фабрике были созданы школы у станка, учебное заведение, где опытные русские мастера передавали свои навыки детям, вообще молодежи, здесь же шло обучение арифметике и коммерческим наукам.

Когда Тамес умер, Петр Рычков, оказавшись без попечителя, некоторое время жил у родителей, затрудняясь найти службу. *«В таких наших обстоятельствах принужден я был не только ученье, но и родителей моих оставляя, сыскивать способов к их облегчению и где б себя употребить, тем наипаче, что они никакого беспутства во мне не видели, но еще и годность нарочитую с немалою и всегдашнею охотою к наукам примечали; а где и как меня пристроить по тогдашнему своему состоянию, способов не находили».*

В начале 1730 года отец едет в Петербург и берет с собой семнадцатилетнего сына. После многих хлопот благодаря давним своим связям с торговыми людьми устраивает Петра в контору дирекции Ямбургского и Жабинского стекольных заводов, что находились в ста верстах от столицы.

В уездном городке Ямбурге Петр нашел хорошую девушку Анисью и решил жениться. На смотрины невесты — дочери управителя волостей Прокофия Даниловича Гуляева — в Ямбург вскоре приехали из Москвы родители Петра и благословили молодых.

После свадьбы Петр снова остался без работы: оба стекольных завода закрылись в связи с переносом их из-под Петербурга в другое место. Вот тут Петр Рычков и обратился в портовую таможню. В качестве переводчика он работал там до того июньского дня, когда позвал его в экспедицию географ, статский советник Иван Кирилов.

НЕ ИЗ ТУЧИ ГРОМ

Лишь в бурях жизни познается доблесть.

В. Шекспир

В Москве экспедиция задержалась до начала октября и, пополнившись прикомандированными к ней солдатами и специалистами, на одиннадцати судах отправилась по Волге к Самаре.

Перед отъездом Рычков навестил родителей и получил их благословение.

— При такой-то охране кто ж нас обидит? — утешал он плачущую мать.

— А вы не размахивайте кулаками на новых землях. Важно задружить с тамошним народом и наладить торговлю, — гордясь сыном, напутствовал отец.

Иван Иванович Рычков явился к Кирилову и высказал ряд ценных советов по торговым делам. Кирилов внимательно выслушал благомыслящего купца и пожелал включить его в экспедицию «для установления и утверждения новой коммерции», выделив ему на подъем казенные деньги. В обгон повествования можно сказать, что Рычкову-отцу не повезло: выехав в Оренбургские степи, он вскоре скоростижно скончался в Орской крепости на 56-м году жизни.

Сам Иван Кирилов как предводитель экспедиции в хлопотах и планах своих выступал более деятелем науки, нежели военным администратором, устройтелем нового края. В поход он взял с собой солидную библиотеку, медицинские и астрономические инструменты, незаконченные ландкарты. По грузам, которые везли на своих палубах суда экспедиции, постороннему глазу трудно было определить ее назначение и задачи: рядом с грозными пушками и ящиками с ядрами и картечью виднелись приборы геодезистов, инструменты граверов, ботаников, живописцев, строительная техника.

Осенний ветер вздымал крутые волны на стрежне великой реки, плоскодонные суда шли по кильватеру, поскрипывая от перегрузки деревянными суставами.

— Ничего, Волга добрая лошадка: все свезет, — ободрял спутников Кирилов.

Петр Рычков неотлучно находился возле начальника экспедиции,

который сперва поручил ему вести бухгалтерские дела, а затем и всю походную канцелярию. Живейший охотник до географических знаний, Петр жадно слушал рассказы Ивана Кирилловича и словно бы плыл не в чужедальний неизвестный край, а в увлекательный мир неведомой науки.

— Без знания географии народ что слепой путник, ни одного шага не ступит. О том и Петр Великий радел, дабы обогатить оными и морских и армейских офицеров, и купцов, и министров. В молодые лета сам, случалось, упражнялся в топографии, чертил ландкарты и сведения для них добывал не в кабинетах, а более верил очам своим, почитая за ничто прошагать либо проехать сотни верст, — с благоговением рассказывал Кирилов о государе-подвижнике, о зарождении при нем русской географической науки.

Тогдашняя гигантская территория страны, особенно на северо-востоке, не имела четких границ. Вместо единой карты России были лишь «чертежи» отдельных регионов, а приблизительные географические карты Сибири, Заполярья и Дальнего Востока наполовину состояли из «белых пятен». Имелись также старые списки так называемого Летописного свода, составленного из отдельных сказаний, известий, географических описаний — рассказ о времени и той земле, где жили восточно-славянские племена, которые под влиянием княжеской власти и церкви слились в единый русский народ. Создатель этой Начальной летописи, он же автор знаменитых «Повестей временных лет», известный летописец Киево-Печерского монастыря Никон уже в начале XII века, в сложную эпоху, когда первые русские князья завершили «великий труд по собиранию славян в одно государство», свой перечень земель и народов вел с патриотическим осмыслением целостности русской земли и необходимости познания ее соседей. В Начальной летописи указывались некоторые очертания Европы, Средиземного моря, северная часть Африки, Индия, Каспийское море, Волга, Кавказ... Но она не располагала сведениями о том, что земная твердь делится на несколько частей света. Не было в ней известий о Сибири и Урале. Страны, находящиеся на юге-востоке от Москвы, она называла полуденными, а лежащие на западе — полуночными. Начальная летопись как своеобразный вариант древней географии России не могла, однако, удовлетворять растущий интерес новых поколений россиян к географии своей постоянно увеличивающейся территории страны.

Кроме Начальной летописи, «Старого чертежа» и составленного в 1627 году «Нового чертежа», входу были различные справочники, поверстные книги, составленные в Ямском приказе для исчисления прогонов. В них указывались дороги, идущие от столицы в разные

направления, населенные пункты и расстояния.

— Приобща к своим знаниям опыт и труды иностранных ученых, император Петр «Генеральный регламент» в 1721 году сочинил. В оном инструкции даны, как разные землеположения по широте и долготе астрономически определять. Сии инструкции поначалу мы робко и неумело применяли, ибо точных инструментов они требовали, а мы их в редких случаях имели. Даже моя Генеральная карта оттого не без огрехов — малость растянута по параллели, — рассказывал Кирилов своим спутникам.

Однажды он показал ее — большую, красочную, свежей гравировки. Вверху золотились слова:

«Генеральная карта Российской империи, сколько возможно было исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова, обер-секретаря Правительствующего Сената, в Санкт-Петербурге. 1734».

Ниже этот же текст повторялся на латинском языке.

Петр Рычков уже читал о ней похвалы в петербургской газете, знал о великом спросе на нее у военных и торговых людей. Крупный успех не обольстил Кирилова, и теперь он создавал более грандиозный географический фолиант — «Атлас России», который должен был состоять из трех томов и содержать 360 карт. Кирилов гравировал и печатал их за свой счет. Но вскоре понял, что издать весь «Атлас» своими силами не сможет. Решил просить у правительства помощи — предложил построить на Москве-реке мельницу для молотбы хлеба, а доходы от нее пустить на оплату картоиздательства. Мельницу построили, но вскоре она сгорела.

Перед отъездом в Оренбургскую экспедицию Кирилов все же успел сдать в производство первую книгу «Атласа». Другие оставшиеся в Сенате ландкарты и прочие его бумаги были переданы в Академию наук, но с оговоркой, что по географическим вопросам «иметь сношение со статским советником Кириловым».

Но драматические события, развернувшиеся в тех местах, куда двигалась и прибыла экспедиция, всецело захватили Кирилова, потребовав от него прежде военных, нежели научных знаний.

Ехали открывать, но пришлось воевать.

В Уфу, куда Кирилов со своим войском прибыл из Самары 10 ноября 1734 года, к нему обратилась башкирская депутация, предложив отказаться от постройки Оренбурга. Кирилов принял ходяков ласково и хлебосольно, пообещал не посягать на их земли, напомнил о льготах для башкир, объявленных указами русского правительства. Он пытался объяснить, что крепость Оренбург на южной оконечности их земель позволит башкирам,

казакам и яицким казакам торговать, а не враждовать между собой.

Да и зачем, казалось бы, враждовать, коль башкиры еще в XVI веке добровольно приняли русское подданство? Казахи тоже просили у русских защиты и покровительства. Тогда отчего с приходом в эти края экспедиции Кирилова вдруг засверкали тут сабли, засвистели пули, полилась кровь тысяч людей?

Спустя несколько лет Рычков в «Истории Оренбургской» ответит на эти вопросы.

«В жизни человеческой, — писал он в предисловии к ней, — ничто такого быстрого течения не имеет, как самое время, которое при всегдашней своей перемене все с собою влечет, а позади себя ничего более не оставляет, как одну обнаженную память; но и сия, ежели не будет подкреплена писанием, время от времени помрачается и приходит в забвение... Вот отчего мы не имеем точных сведений о жизни древних народов».

Рычков заносил в свой путевой дневник рассказы старожилы и служивых людей, предания, легенды, выписки из местных летописей, наблюдения о жизни туземного населения, наполняя повествования сведениями и размышлениями пытливого историка и достоверностью очевидца.

По Рычкову, задолго до того, как Иван Грозный принял башкир под свою высокую руку и выдал им грамоту на владение всею их землею на вечные времена, они терпели притеснения и обиды от казанских татар, сибирских ханов и казахских феодалов. Башкиры особо ценили свободу и независимость, жили как вольные кочевники в юртах, разводили лошадей, крупный рогатый скот, пчел, ясак платили звериными шкурами, медом и деньгами (по 25 копеек в год с каждой юрты). А те башкиры, что несли воинскую службу, от налога освобождались. Во главе родовых общин стояли старшины-феодалы, но с ограниченной властью: важные дела обсуждались в народном собрании (джине), где каждый башкир имел право голоса.

Спасаясь от разорительных набегов соседних племен, башкиры попросили у русского царя построить на их земле город. В 1586 году воевода Иван Нагой приступил к основанию города Уфы, который был первым русским поселением в Башкирии. В том же году на волжском берегу русские заложили Самару, вопреки воле ногайского князя Уруса. Еще раньше на восточных оконечностях башкирской территории, на стыке ее с русскими землями, были поставлены крепости Мензелинск и Челябинск. Кроме них, по берегам Урала, Волги, Камы сооружались

укрепления, остроги, зимовья. Они заполнялись войсками и русскими поселенцами, которым выдавались земельные участки.

Но жалованная грамота Ивана Грозного, а позже и Соборное Уложение 1649 года запрещали русским не только приобретать башкирские земли, но даже и арендовать их. Однако на местах все обстояло иначе. Башкиры гневались, обвиняли русское правительство в нарушении своих же указов, слали в Москву депутации с жалобами на «налоги и обиды». Не нравились им и распоряжения русского царя регулярно поставлять для армии и охраны границ лошадей и конных воинов. Башкирские феодалы привыкли считать себя вольными слугами, их возмущали какие-либо меры принуждения. Признавая силу русского государства и желая при случае опереться на нее, они все же тяготились централизованной властью.

С неприязнью и страхом смотрели они на то, как окружают и расчленяют их землю опорными пунктами крепостей и форпостов, сетью рудников и заводов.

Вот почему, узнав о намерении Кирилова строить в их владениях еще один большой город, они возмутились и решили сопротивляться.

Кирилов всю зиму 1735 года энергично готовился к закладке города, запасался строительными материалами, набирал каменщиков, плотников, архитекторов. 11 апреля во главе отряда он выступил в поход на реку Ор — приток Яика, где намечалось строительство. Пятисотверстный путь отряда пролегал с севера на юг через самую заселенную часть Башкирии, и едва он отошел на десяток верст от Уфы, как всюду зловеще замаячили разъезды вооруженных конников-башкир. Имея при себе пятнадцать рот солдат, 350 казаков, обоз с провиантом и артиллерией, Кирилов решил подождать подхода драгунского полка.

Меж тем отовсюду поступали тревожные вести о готовящемся восстании башкир. Кирилов не верил слухам. Так и не дождавшись вологодского войска, он отдал команду полковнику Тевкелеву, своему помощнику в военных делах, поднимать отряд и двигаться дальше. Как потом выяснилось, на драгун напал крупный отряд башкир, в итоге подполковник Чириков и с ним 60 человек были убиты, 46 обозных повозок захвачены и разграблены.

К Кирилову приехали башкирские послы и опять предложили отказаться от похода. Кирилов был непреклонен, отряд русских медленно, но упорно шел к намеченной цели. По ночам, однако, стали бесследно исчезать часовые, фураж, продукты, лошади...

К трудностям и внешним неприятелям экспедиционного отряда в пути прибавился еще и «внутренний неприятель» — голод. Взятый в Уфе

провиант кончился еще до прибытия на реку Орь.

Измученный отряд терпел многие лишения еще и оттого, что продвигался по незнакомой местности. Надо было обойти Губерлинские горы, лежащие в пятидесяти верстах от устья Ори. Команда же Кирилова двинулась напрямую и, по словам Рычкова, будучи в этих горах, «от крутостей и ущельев оных в переходе через них имела такое великое затруднение, что большая часть артиллерии и тяжелого багажа, переломавши колеса и несмотря на большую тогда от башкирцев опасность, принуждена была в разных ущелинах ночевать, и уж на другой день с превеликим трудом на степь выправилась».

Башкирские проводники, которых нанял Кирилов за большое вознаграждение, умышленно утаили известный им удобный путь проезда к Ори, на каждом шагу чиня отряду всяческие помехи.

Опасаясь, что «башкирское возмущение» может помешать делу экспедиции, Кирилов обратился в Кабинет министров за помощью.

«Если никакие резоны не годятся, — писал он, — то напрасно я в таком великом деле азарт на себя взял, ибо тремя батальонами, со мною на первый случай посланными, обнять и в вечном владении утвердить две провинции нельзя».

Прося военной помощи, Кирилов, однако, старался убедить колеблющееся правительство в том, что налет башкир на Вологодский драгунский полк — всего лишь «малое воровское нападение», из-за чего нет нужды останавливать «к великой славе зачатое дело».

В начале августа отряд Кирилова все же достиг устья Ори, места впадения реки в Яик (Урал), и приступил к сооружению крепостных стен. 31 августа после богослужения и артиллерийского салюта — трех залпов пушечных батарей — был заложен и сам Оренбург. Город-крепость с девятью бастионами.

Оставив в нем небольшой гарнизон и ограниченный запас продовольствия, Кирилов 7 сентября двинулся в обратный путь. На отряд полуголодных солдат и казаков все чаще насакивали шайки лихих наездников. Они внезапно появлялись из засады и, осыпав отряд стрелами, исчезали. В 130 верстах от Уфы русскую экспедицию атаковали орды башкирской конницы Акая Кусумова. Это открытое вооруженное столкновение, десятки убитых и раненых заставили Кирилова серьезно озаботиться и принять контрмеры. Прибыв в Уфу, он направил в Сенат доношение о начале башкирского восстания. На помощь Кирилову спешно было послано войско под командованием генерал-лейтенанта Алексея Ивановича Румянцева с наказом действовать уговорами и только в крайних

случаях — оружием.

По прибытии в Уфу Румянцев разослал башкирам манифесты, призывая их прекратить бунт и явиться с повинною. Мятежники продолжали нападать на армейские гарнизоны и поселения русских, портили строения, сжигали мосты и крепостные ограждения, грабили обозы русских купцов. Особенно свирепствовал отряд Кильмяка Нурушева. Чтобы избежать многие кровопролития, Румянцев отпустил пленного старшину Салтана Мурата, послав его уговорить Кильмяка повиниться. Но Мурат присоединился к восставшим, и вскоре восьмидесячный отряд башкир внезапно напал на лагерь Румянцева, убив 180 солдат и 160 ранив.

В ноябре 1735 года повстанцы перекрыли дорогу в Оренбург большому продовольственному обозу, в итоге несколько сот солдат, не дождавшись провианта, умерли в крепости от голода.

И тогда Кирилов двинул против восставших карательные отряды. При ожесточенных схватках с регулярными войсками башкирские конники почти всегда несли поражения, десятками попадали в плен. Злостных бунтовщиков вешали, сажали на колья, до смерти засекали розгами, ссылали на каторгу. А тех, кто приходил с повинной, отпускали домой, но с условием, чтобы каждый принял присягу в верности и уплатил одну лошадь в качестве штрафа. Румянцев требовал запретить во всех селениях башкирам «носить ружья и по домам иметь; в уездах кузниц и кузнецов не иметь, магазины наполнить провиантом».

К зиме восстание поутихло. Но русское правительство держало ухо остро. Оно понимало, что в Башкирии нужны не только войска. Важно было привлечь на новые земли купечество, ремесленных людей, хлебопашцев. С этой целью Сенат указом от 11 февраля 1736 года определил весомые льготы всем переселенцам. Кроме ранее объявленных «Привилегий городу Оренбургу», дававших право селиться в нем людям всяких вер и званий, вышеназванный указ разрешил новоселам приобретать и «крепить за собой» земельные угодья на всей башкирской территории. Планировалось поселить при Оренбурге и других городах более тысячи яицких казаков, построить Табынскую, Сорочинскую, Бузулукскую, Борскую, Сакмарскую крепости, десятки форпостов и укреплений, три медеплавильных завода и множество других военнo-хозяйственных объектов.

Всюду не хватало рабочих рук, стройку вели в основном солдаты. Кирилов разрывался в поиске людей. Наконец его осенила мысль: на строительных работах и пограничной службе использовать ссыльных. Однако при ознакомлении с ними Кирилов с грустью и возмущением

обнаружил, что люди эти в большинстве своем не годны для трудовой и тем более строевой службы. Их изувечили во время допросов.

27 октября 1736 года Иван Кириллович обратился в Сенат с просьбой «милостиво» рассмотреть ради «сбережения простых людей и поселения их в новых местах» его доклад «О пытках и публичных наказаниях...». По тогдашнему времени это был смелый документ. Призывая правительство к милосердию, Кирилов обращал внимание на то, что, несмотря на громадное количество казней, преступления не прекращаются.

— Отчего же так много простого народа впадает в вины? — рассуждал он. — А все дело в худом воспитании без наставления и утверждения в законе от духовных чинов, которые сами вследствие своего невежества впадают в преступления и сами ссылаются...

Не народ плох, развратен, считал Кирилов, а его управители вместо добрых примеров жизни подают дурные.

В своем докладе Кирилов предложил при судах и следствиях отменить пытки железом и вырезание ноздрей для молодых людей от 16 до 25 лет, заменить их «не портящими», то есть не калечащими людей, наказаниями. Он вскрыл также ущерб, наносимый государству бюрократическим судопроизводством, злоупотреблениями и лихоимством следователей и тюремщиков-костоломов, по году и более державших «винных людей» под следствием и приводящих их к болезням. Он просил сократить эти сроки и увеличить «дневное пропитание ссыльных с одной копейки до трех».

Сенат рассмотрел проект Кирилова и постановил: всем ссыльным, направляемым в Оренбургский край, ноздрей не вырезать, оставив в силе наказание кнутом, увеличить для них дневное пропитание с одной копейки до двух; смертные казни оставить.

Усмиряя восставших, Кирилов одновременно с усердием хлопотал о благоустройстве края. Заключил договоры с купцами и подрядчиками на поставку продовольствия, вербовал добровольцев для новых поселений, налаживал между городами коммуникации. Он представил в Сенат проект «Об учреждении почты» на перегонах: Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа — Оренбург, рассчитав промежутки между станциями, потребное количество ямщиков и лошадей, стоимость и содержание, установил порядок отправки почты.

* В одном из писем в Петербург Кирилов сообщал, что в своем странствии по Башкирии «десяти дней на одном месте не живет». Замотанный служебной круговертью, окруженный со всех сторон вооруженными бунтовщиками, он не прекращал работу по картографированию новых земель.

Уже на втором году работы экспедиции Кирилов, будучи в Петербурге, представил в Академию наук первую карту Башкирии, а также карты Среднего Поволжья и Южного Урала с нанесенными на них обозначениями разведанных полезных ископаемых, растительного покрова.

Между тем в Башкирии назревало новое восстание. Не желая верить слухам, Кирилов 26 января 1737 года докладывал самой императрице, что «башкирский народ в такое уже состояние приведен, что с начала их подданства никогда таковы послушны не были и никогда ж страху за свои злодейства не видали, как нынче есть».

К карательным мерам Кирилов прибегал, лишь опробовав все мирные. Видя, в какое разорение приведены башкиры, какие нужды и голод терпят, особенно зимой, он запретил взимание с них штрафных лошадей. Кирилов высказался также против намерения Сената отправить на турецкие рубежи 3000 вооруженных башкирских конников. Этим указом, изданным по предложению Румянцева, предполагалось ослабить башкир. Кирилов убедил, что такая мера лишь пуще взбунтует их и тогда правительственные войска принуждены будут у них, башкир, «стоять без выводу».

Иногда Кирилову казалось, что вокруг наступило желанное время мира и можно заняться наукой. В казенных рапортах высокому начальству о ходе строительства и заселения новых пунктов он подчас переходил на лирический тон.

Описывая новый край и жителей, он искренне восхищался: «Тут нет ни одного места с недостатком к житью человеческому; земля черная, леса, луга, реки рыбные, звериные ловли довольные...» С интересом приглядывался к башкирам, что «как птицы небесные: не сеют, не жнут, а сыты бывают».

С началом весны по всей Башкирии разлилось, подобно водополище, новое восстание. Многотысячными отрядами мятежников предводительствовали опытные, авторитетные в народе вожди Бепеня Трунбендин, Кильмяк Нурушеви Кусяп Салтанов.

Прохваченный холодным апрельским ветром, так называемым бишкунаком, Кирилов с горячкой лежал в постели, и когда из Петербурга прискакал нарочный с указом, попросил Рычкова прочесть его.

— «...И хотя при нынешней турецкой войне в войске мы не без нужды, однако не менее нужно и то, чтоб домашний внутренний огонь был потушен как можно скорей, — читал Рычков, — и потушен таким образом, чтоб вперед не опасаться новых смут...»

— Указы слать легко, но какой силою нам бунтовщиков искоренить? — с одышкой вопрошал Кирилов. — Как намерен расположить свое войско

бригадный командир Хрущов? Надобно и Тевкелева оповестить, и Татищева на совет позвать...

— Полковник Тевкелев уже прислал, ваше превосходительство, свои предложения. Огонь и пули — вот чем склонен он усмирять бунтовщиков, — доложил Рычков.

— Сие опробовано уже... Тевкелев к тому ж запомнил, что мятежников в десятки раз больше нас.

— Генерал-майор Хрущов отзывается на Украину в действующую армию. От Татищева нет вестей, но слыхивал я, что он ведет переговоры с казаками и калмыками. Хочет двинуть их против бунтовщиков. Но прежде того он отправил к вождям письменные увещевания явиться с повинною. Некоторые башкирские старшины, вняв, что покаянную голову не рубят, покорились. Другие же люто упорствуют, выдвигая встречно всякие дерзости.

— Вождь бунтовщиков Бепеня недавно прислал Татищеву весьма неглупое, но опасное письмо. Ежели все добровольно подданные предадутся такому своевольтву, разглашая себя якобы не подданными, то сей дурной пример оттолкнет всякий другой народ русское подданство принимать, — рассуждал Кирилов.

Письмо Бепени начиналось напоминанием о том, что прежде башкиры жили на своих землях вольно, а ясак платили «в знак того, что подданные». Прежние московские государи держали башкир «не под саблею», то есть не принуждали к военной службе, и города на их землях не строили. Заканчивалось письмо отчаянным, но гордым вызовом: башкирам некуда идти с родных мест, и что если и дальше их будут притеснять, «то хоть пропасть, хоть смерть принять готовы».

Все лето до глубокой осени башкирская земля содрогалась от взрывов, окутывалась дымом пожарищ, поливалась кровью тысяч людей. Повсюду шли ожесточенные бои повстанцев с регулярными войсками.

Но Кирилов этого уже не видел и не слышал. Заболев туберкулезом легких еще год тому назад, он пренебрегал каким-либо лечением, не находя для этого времени. Невзгоды и тревоги почти трехлетней походной жизни окончательно подорвали его здоровье. В конце марта Иван Кириллович слег, а в ночь на 14 апреля 1737 года скончался в возрасте 48 лет.

Сжегши себя в работе, он, кроме географических трудов, ничего другого после себя не оставил — ни богатства наследникам, ни даже портретного своего изображения (хотя всегда имел под рукой живописца и гравера). Вдова, Ульяна Петровна Кирилова, вскоре же обратилась в Кабинет министров с просьбой помочь ей погасить долги мужа. Она

предлагала принять в казну часть имущества и пильные заводы, принадлежащие семье, которые без пригляда всегда странствующего вдали хозяина были маловыгодными. Она также попросила Академию наук оплатить «работу над картами мужа своего».

Однако лишь спустя 25 лет Сенат обратился к Екатерине II с ходатайством о пожаловании Петру Ивановичу, сыну Кирилова, десяти тысяч рублей для оплаты лежащих на нем долгов его отца. Свое прошение Сенат обосновал тем, что статский советник Иван Кирилов, построив город Оренбург, оказал «знатную услугу Отечеству, положив начало к распространению Российского государства и к защищению подданных...». О научных трудах Кирилова, введших его в разор, не сказано, увы, ни слова.

Прошение удовлетворили частично и только в 1764 году по указу императрицы задолженности Кирилова-отца наконец-то были полностью погашены, «дабы не разорять его сына Петра».

Впоследствии Рычков напишет о своем наставнике:

«Он первый взял на себя труд всероссийские ландкарты собирать и через обретающихся при Сенате геодезистов Атлас Российской империи и Генеральную Российскую ландкарту сочинять... Хотя незначительной природы был, но прилежными трудами и острым понятием в канцелярии Правительствующего Сената, из самых нижних чинов порядочно происходя, еще при жизни высокочтимой памяти императора Петра Великого в чин сенатского секретаря произведен».

И хотя имел он разные человеческие недостатки, отчего, бывало, подвергался критике и нареканиям вышестоящего начальства, «но сию правду поистине надлежит ему отдать, что он о пользе государственной, сколько знать мог, прилежное имел попечение, и труды к трудам до самой своей кончины прилагал, предпочитая интерес государственный паче своего»...

Омраченный тяжелой потерей, Петр Рычков едва не уподобился некоторым чиновникам и офицерам, участникам экспедиции, ищущим и находившим всякие поводы для отъезда домой — в Петербург и Москву. Рычков жил попеременно то в Уфе, то в Самаре и, перемещаясь с походной канцелярией по всему краю, порой неделями не бывал дома, где его ждали Анисья Прокофьевна и малолетний сын Петенька.

Она забеременела вторым ребенком и мыслила уехать к родителям, однако не осмеливалась оставить мужа при таких военных тревогах и опасениях, когда едва ли не всякий день он мог погибнуть. Если уезжать, то вместе, всей семьей.

— В главных делах ты поусердствовал: Оренбург заложен; канцелярские дела исправны, отчеты намедни в Петербург посланы, где с похвалою встречены, и сказывал же сам, что покойный Иван Кирилович за усердную службу хотел ассессорский чин тебе исходатайствовать. Что мог ты, исполнил уже...

— Нет, самое трудное токмо начинается, Анисья, — останавливал резонные слова жены Рычков. — Да ведь и трех годов не прошло, как мы туг. А гоже ли прежде сроку дело начатое бросать? Я присягу давал...

— Не можно понять службу твою. Бухгалтер канцелярии, а завсегда при сабле и ружье.

КОСА НА КАМЕНЬ

*Горьким был — расплюют,
Сладким — проглотят.*

В городке Самаре, где располагалась канцелярия Оренбургской экспедиции, больше месяца ходили слухи, суды-пересуды о том, кого пришлют начальником на место Ивана Кирилова.

— Должно бы из первых помощников его. Полковника Тевкелева либо генерал-майора Соймонова.

— Первый не годится: мусульманин да и живодер лютый, деспот известный...

— Сказывали, едет к нам управитель уральских и сибирских заводов статский советник Василий Татищев. Строг, порядок во всем знает и чинит.

— А нам ведомо, будто как раз из-за содеянных им беспорядков к нам его послали.

— С миллионщиком Демидовым, слышь, не поладил. Тот весь Урал захапал, заводы свои настроил, и никто ему не указ. А Татищев распорядил казенные заводы умножать, ну и поперек горла Демидову встал. Тот и упоить и укупить пробовал, да тщетно. Тогда всякими жалобами и наговорами стал его вытеснять. А Татищев-то зело порядочен, но наивен. Управу взялся на Демидова сыскать, не ведая, что у того великими взятками все высочайшее начальство в Москве и Петербурге прикормлено...

С настороженным любопытством слушал Рычков эти разговоры. Пророческими оказались. Летом у него появился новый начальник — Василий Никитич Татищев.

В молодости отважный артиллерийский офицер, Татищев впоследствии, став ученым, публицистом, просветителем, автором многих исторических трудов, случалось, рассказывал об эпизодах баталий при Нарве и Полтаве. Даже трагический момент боя, когда шведская пуля сразила его, он толковал как прекрасное мгновение своей жизни, ибо рядом сражался Петр Первый, что, взяв на себя командование отступающей дивизией, повернул ее на шведов.

— Счастлив был для меня тот день, — делился Татищев однажды в беседе с астраханскими старшинами, — когда на поле Полтавском я ранен

был подле государя, который сам все распоряжал под ядрами и пулями, и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб, поздравляя за ранение ради Отечества.

В день смерти Кирилова Василий Никитич командовал правлением сибирских и уральских заводов и указ императрицы возглавить Оренбургскую экспедицию, которая стала называться комиссиею, воспринял как повеление исполнить давний замысел Петра Первого. В том указе значилось:

«Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся, и что вы в оной комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не остановите, за что вы и о нашей к вам величайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко ж и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем».

Этот указ обязывал Татищева все заводы передать в добром и порядочном состоянии, «дабы таким вашим отъездом в тамошних не меньше ж нужных делах никакого упущения происходить не могло».

Ехать в оренбургские степи Татищеву, конечно же, не особо хотелось. В Екатеринбурге он, знаток горного дела, исправно занимался им и за два с половиною года успел многое благоустроить. Как и в свое первое пребывание на Урале, он энергично поправлял наследие, оставленное ему неплохим знатоком металлургии, но слабым администратором Генниным, который в июне 1733 года не без отчаяния писал в Петербург кабинет-министру Остерману: «Припадая к ногам вашим, прошу, чтоб я отсюда был уволен, понеже мне такие великие дела одному более управлять несносно, и вижу, что я в делах оставлен и никакой помощи нет...»

Многие затруднения у Геннина происходили от незнания русского языка. К тому же оборудование, чины и должности на заводах назывались по-немецки. Русские мастера и рабочие языка немецкого не знали, тревожились, по мнению Татищева, «чтобы слава и честь отечества теми именами немецкими утеснены не были, ибо оным немцы могли себе неподлежащие в размножении заводов честь привлекать, еще ж из того и вред усмотря, что незнающие тех слов впадали в невинное преступление».

Не вынося чрезмерной иностранщины в русском обиходе, Татищев повелел на всех горных заводах Урала и Сибири пользоваться русским языком. Он считал, коль немцы желают служить в России, то и языком русским пусть овладеть стараются. Императрица Анна одобрила его предложение заменить на заводах немецкие названия русскими.

Зато обер-камергер Бирон озлобился и «не однажды говаривал, якобы Татищев главный злодей немцев». И когда Василий Никитич составил

Табель горных чинов и проект горнозаводского Устава и отправил в Петербург на рассмотрение, Бирон воспрепятствовал утверждению этих крайне необходимых документов. Татищев хотел укрепить государственные заводы и усилить контроль над частными, заложить коллегиальные начала в их управлении, пресечь таким образом самоуправство и казнокрадство заводчиков и их петербургских опекунов.

Бирону не нравилось, как толково и дотошно Татищев повел дело, наводя в горных заводах порядок, укрощая уральского властелина миллионщика Акинфия Никитича Демидова, оправдывавшего свое узурпаторское своеволие тем, что «до Бога высоко, а до царя далеко».

Будучи фаворитом императрицы Анны, Бирон, по сути, стоял во главе «немецкого» правительства русских. Он вызвал из Саксонии барона Шемберга, чтобы, по словам Татищева, великий государственный доход похитить. И хотя Шемберг не имел никаких знаний и понятий о работе железных заводов, Бирон назначил его генералом берг-директором с полной властью. То есть затеяна была гнусная спекулятивная сделка по передаче казенных заводов в частные руки, благодаря чему Бирон мог бы бесконтрольно красть казну и наживаться.

Татищев разгадал замысел иностранных аферистов и письменно представил в Сенат все «худые поступки» Шемберга. Была создана следственная комиссия, которая работала не поспешая. Все же Шембергу вскоре пришлось подданные ему заводы сдать «с некоторыми темными и весьма казне убыточными договорами». Служебная честность и гражданская отвага Татищева воспрепятствовали деятельности кучки матерых казнокрадов, стоящих у трона самой императрицы. Однако ж Бирон и Шемберг за два года, по свидетельству Татищева, успели похитить более 400 тысяч рублей.

Тем не менее Бирон нисколько не пострадал, по-прежнему остался правой рукой всемогущей императрицы Анны.

Пострадал Татищев. Бирон воспылил к нему лютой ненавистью и ждал лишь случая, чтобы убрать со своей дороги. Со смертью Кирилова такой случай представился. Татищеву предложили сдать заводы и под видом царской милости направили его в Оренбургский край продолжать оставленные Кириловым дела.

Для Татищева места эти не были новыми, встречался он и с Кириловым, обсуждая способы усмирения башкирских мятежей. Несмотря на болезнь, 26 мая он выехал из Екатеринбурга и через Мензелинск, где конным, а где водным путем добрался до Самары, где находилась канцелярия Оренбургской комиссии.

По отзыву Рычкова, новый его начальник придирчиво «упражнялся в том, чтоб в совершенное об оной комиссии сведение придти». А когда ознакомился, то не возрадовался. В донесении в Петербург Татищев в те дни писал, что в комиссии «канцелярского порядка, как устав повелевает, учинено не было, протокола и журнала порядочно не содержало, списков служителям с их окладами не учинено... Счеты весьма неправильны, потому что приход и расход был в разных руках и весьма беспорядочен, чрез то учинились проронки...».

Недовольство тайного советника Татищева работой своего предшественника Петр Рычков воспринял как критику и в свой адрес. Когда же Татищев узнал, что канцелярию, обслуживающую огромный, простирающийся на 2,4 миллиона квадратных верст Оренбургский край (это в двенадцать раз больше территории сегодняшней Оренбургской области) ведет практически один Рычков, он подивился и выделил ему двоих помощников. Уже спокойным умом Татищев постиг и то обстоятельство, что канцелярские дела исполнялись подчас на ходу, в полевых условиях, штаб экспедиции нередко переселялся из-под одной крыши под другую.

Худо пришлось членам экспедиции, служившим без охоты и пользы. Уже 16 сентября 1737 года, то есть спустя два месяца после прибытия в Самару, Татищев уволил ботаника Гейнцельмана за то, что тот, не ведая русского языка, взялся составлять каталог растений, трав и корней на иностранных языках, готовя для русских многие неудобства в пользовании им. Иноязычие, заполнившее русскую землю, возмущало Татищева. Он даже новый город Екатеринбург называл по-своему, по-русски: Екатеринбург!

Уволил Татищев и живописца Касселя, который получал огромные деньги, но за три года работы в экспедиции ничего не сделал.

Нашел Татищев немалые огрехи и у геодезистов, составлявших под руководством Кирилова ландкарты степного края. Но промашки случались, как уже сказано, больше из-за нехватки в картографии того времени должной астро-математической оснастки.

Татищев напрочь забраковал место, где был заложен Оренбург, найдя его неудобным, безлесным, вешними водами подтопляемым, не имевшим окрест плодородных земель и к тому же весьма отдаленным от построенных крепостей. Но Кирилов, вспомним, действовал в сложной, можно сказать, боевой обстановке да и градостроительного мастера не имел при себе. Притом город в устье Ори поставили по просьбе Абул-Хаир-хана, на основе его челобитной самой императрице. Кирилов, плохо

знавший местность, во многом доверился природному степняку, полагая, что тому более ведомо, где удобнее строить город. Кирилов при выборе места для застройки не учел того, что степных кочевников, равнодушных к хлебопашеству, мало интересовало плодородие земель — то, что для русских поселенцев составляло первую необходимость.

В своем донесении в Кабинет министров Татищев попросил разрешения перенести Оренбург «пока еще много не построено» в лучшее, более выгодное для жительства место. Он предложил, «чтоб оный при Кирилове застроенный город именовать Орскою крепостью, а настоящий Оренбург строить по Яику-реке ниже того места сто восемьдесят четыре версты при урочище, называемом Красная гора».

При тщательной разведке нового места Татищев и его спутники полковник Тевкелев, капитан Эльтон и инженер-майор Ратибловский пришли к выводу, что к застройке города оно мало пригодно. Каменистое высокогорье было неудобно для рытья колодцев, прокладки фундаментов домов и коммуникаций, ничем не защищалось от степных суховеев. Тогда Татищев решил ставить город у подножия горы, на ровном месте, и повелел инженеру готовить проект застройки, оставив ему для охраны сто казаков и сто драгун.

На обратном пути из Орска в Самару Татищев заехал в Оренбург, куда пригласил Абул-Хаир-хана, чтобы тот публично подтвердил свое подданство Русскому государству.

В честь хана, его сыновей и свиты из пятидесяти киргиз-кайсацких старшин Татищев устроил роскошный обед.

Обменявшись приветственными речами, Татищев и Абул-Хаир-хан сели к столу. Посидев немного в благочинном молчании, Татищев напомнил хану, чтобы он верность свою русской императрице подтвердил присягою.

— Я уже присягал, — ответил хан.

— Верю. Но ни я, ни собравшиеся здесь не ведают, где сие было. Оттого и просьба к вам, доблестный хан, присягу заново надлежит учинить, — ласково и торжественно сказал Татищев.

— Я готов, — встав, сказал Абул-Хаир.

И тогда посреди шатра постлали золотой ковер и Абул, стоя с Кораном в руках, прочел присягу верности на татарском языке, которая начиналась так: *«Я, киргиз-кайсацкого народа хан Абул-Хаир, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, что хочу и должен со всем своим родом и со всей моей ордою... верным, добрым и послушным рабом и подданным быть...»*

Абул-Хаир с пышным восточным красноречием возносил образ того,

кому присягал, сравнивая императрицу с солнцем, которое «все прочия светила в мире превосходит», а Татищева — с луною, «приемлющей от онаго Величества луч сияния».

Хан поцеловал Коран, после чего Татищев поздравил его и подпоясал лентой с позолоченной саблей, сказав, что это оружие должно служить для защиты киргизов и русских от их общих врагов. Затем присягнули на Коране старшины и сыновья хана, Нурали и Арали. Все гости были угощены обильными мясными блюдами, пивом и торжественно провожены с подарками.

ЗАКОНЫ СВЯТЫ, НО СУДЬИ СУПОСТАТЫ

*Обман и сила — вот орудья злых.
Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета.*

Данте

Походный быт не мешал Татищеву иметь при себе большой сундук, наполненный книгами и рукописями, и в редкие часы досуга отдаваться любимому труду — писать новые главы многотомной «Истории Российской». Петр Рычков, собирая сведения об Оренбургском крае, не упускал случая поделиться с Василием Никитичем, получить совет. Эти занятия наукой и историей сближали их больше, нежели служебные хлопоты.

— Ничего не вразумляет человека так, как история, ибо чрез нее идет понимание не токмо древней, но нынешней жизни народа. История есть наука опыта, а потому ни юрист, ни медик, ни дипломат, ни вождь не смогут успешно служить без знания истории, — рассуждал Татищев. Его огорчало, что Российское государство не имеет своей истории, а исторические сочинения иностранцев о нем — ложны.

По пути в Самару Татищев побывал почти во всех крепостях, давая команды по их укреплению и строительству новых форпостов. Много беспорядков усмотрел в жизни и службе яицких казаков. В декабре 1737 года отправил в Петербург доклад, где уведомлял: «Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления устава не имеют, по своевольтву, не рассуждая, что им полезно или вредно: по обычаю за бездельные дела казнят смертью, а важными пренебрегают».

Татищев предложил меры к тому, как в яйцком войске «застарелые вольности и все непорядки уничтожить». Главную беду он усматривал в том, что атаман и старшины грамоты и законов не знают и потому «войсковой и другие писаря, что хотят, то пишут, отчего великие беспорядки происходят; потому не соизволено ль будет повелеть или учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие

достоинства не производить». А чтобы пресечь стихийность и разнузданность судопроизводства атаманского круга, Татищев предлагал поделить все войско на полки и сотни, сократив число старшин, за счет чего повысить жалованье рядовым казакам, ввести устав и обучение военному делу.

Многое затевалось Татищевым в новом краю. Но с первых же дней главные усилия ему, как и Кирилову, пришлось тратить на усмирение бунтовщиков.

Василий Никитич был против карательных мер. Он призывал упреждать восстания, для чего вовремя выявлять их причины. По его мнению, башкир озлобляли не столько указы императрицы, сколько беззакония, насилия, самоуправство, чинимые на местах русскими воеводами и командирами воинских отрядов.

В письме кабинет-министрам Остерману и Черкасскому он еще в июле 1737 года писал, что уфимский воевода Шемякин творит «великие пакости», мордуя и обворовывая население, и башкирское, и русское, что полковник Бардекевич отбирал у башкир лошадей якобы для своих драгун, на деле же продавал, переправляя их в дворянские поместья. И хотя Татищев не имел власти над предводителем находящихся в крае русских войск генерал-майором Соймоновым, он послал ему весьма нелicenseприятное секретное письмо. Татищев требовал приказать, «чтоб командирам до башкирских пожитков не касаться», прекратить повсеместное мародерство, поскольку в восстаниях участвует лишь часть башкир, значит, и карать всех поголовно нельзя. Татищев внушает генералу Соймонову, что безрассудные зверства, казни, грабежи не усмиряют, а ожесточают башкир да и дисциплину самого войска разлагают, когда командиры, «забыв свою должность, мечутся за пожитками; другие по окончании дела у драгун и казаков взятые (награбленные) пожитки отбирали».

По представлению Татищева, правительство предало суду уфимского полицмейстера Жукова и уфимского воеводу Шемякина, обвиняемых во взятках и насилии, чинимых башкирскому населению.

Бунтовали далеко не все башкиры, многие помогали русским охранять крепости, служили проводниками, строителями. Но немалая часть их хранила пережитки патриархально-родового быта: каждый старшина был одновременно и начальником вооруженного отряда, состоявшего из рядовых башкир: каждый воин беспрекословно исполнял волю его.

Приближалась зима, скрываться по лесам, ущельям и заимкам повстанцам становилось все труднее. Не хватало пищи, нечем было

кормить лошадей. Татищев советовал прекратить преследования мятежников: голод и крайняя бедность принудят их прийти с повинною.

Действительно, в начале зимы к командирам русских крепостей десятками и сотнями стали являться башкиры, сдавали оружие, штрафных лошадей. Не сдавались, однако, вожди восстания. Они вели с Татищевым переписку, изъявляли готовность повиниться, но от личной явки отказывались. Татищев требовал именно явки и присяги на Коране, увещевая, что бояться нечего: вот, к примеру, вожди Кильмяк, Юсуп и Акай давно пленены, но не пытаны и не казнены. Ища доверия у вождей, Татищев решился даже на весьма рискованный шаг: приказал выпустить из-под стражи захваченного в плен вождя прошлого восстания Юсупа с тем, чтобы гот ехал в башкирские селения и уговаривал бунтовщиков повиниться. Агитация Юсупа для соплеменников оказалась очень влиятельной. Восстание затихло.

Однако ненадолго. Как повествует Рычков, «с начала весны башкиры хотя и казались быть спокойны... но, видя, что воинского движения противу их не учинено», опять взбунтовались повсеместно. На этот раз масло в огонь подлил, как ни странно, сам Абул-Хаир-хан, человек, еще недавно клявшийся на Коране в своем верноподданничестве русской государыне. Татищева обескуражило поведение хана, которого он прошлым летом торжественно чествовал, называя другом и братом, помощником в борьбе с мятежниками.

Что же сделал Абул-Хаир-хан?

С крупным отрядом он прибыл в Башкирию под видом усмирителя бунтовщиков, а сам стал речами обнадеживать их, заявляя, что он один в состоянии вступить за них и выпросить им у русской императрицы прощение. Он прочил одного из своих сыновей в «Башкирии ханом уличить», то есть принять* башкирский народ под свое покровительство. Он вступил в сговор с главнейшим вождем восставших Бепеней, старшиной-феодалом, неистовым террористом, с одинаковым ожесточением уничтожавшим русских и башкир, служивших русским. Большинство башкир поверили Абул-Хаиру и, чтобы крепче привязать его к своим интересам, женили его, казахского хана, на башкирке. У Абул-Хаира, конечно, имелись некоторые обиды на русских, в основе же его поступка было амбициозное желание показать всем, что он не чей-то подданный, а носитель высокой ханской чести.

Обещания Абул-Хаир — хана приободрили башкир. В Уфу к Татищеву обратились пять послов-старшин и изложили особые льготы, какими башкиры хотели бы пользоваться, находясь в подданстве. Хлебосольно

встретив послов, Татищев убедительно растолковал им, что требовать для себя каких-то особых привилегий у башкир нет причин, ибо, как русские и казахи, они равноправные подданные императрицы, что и ясак они платят даже меньше, чем русские крестьяне, и что идти в подданство казахским ханам нет башкирам никакой выгоды: казахские кочевники сами живут бедно, беднее башкир.

Как бы комментируя эту беседу, Рычков в своей «Истории Оренбургской» делает глубокий экскурс к истокам русско-башкирских взаимоотношений, к тем временам, когда башкиры платили казахским и сибирским ханам несносные, разорительные подати. Особо притеснял их казахский хан Ахназар-Салтан, «ибо на три двора по одному токмо котлу для варения им пищи допускал, и как скот и пожитки, так и детей их к себе отбирал, и землями владеть, також и через реку Белую переходить не допускал». В малолюдстве и крайнем убожестве пребывавшие, башкиры по принятию русского подданства были «разными выгодами пожалованы», получили грамоту на безналоговое пользование землями, обрели гарантированную защиту от постоянных грабительских набегов казахских и калмыцких орд.

И вполне естественно, как писал Рычков, «что по принятии в подданство башкирцев, яко бессильного и весьма изнуренного народа» русское правительство не ожидало от него каких-либо «противностей», поэтому к содержанию его в подданстве построило, по его же просьбе, всего один город Уфу с определением в нем небольшого числа служивых людей. «Но они (башкиры. — И. У.) яко от природы непостоянный народ, получая довольство во всем от многих пожалованных им угодий и набрав в сожитие к себе многих беглых иноверцев... в короткое время так усилились и в такую вольность пришли, что многия продерзости чинить отважились и, наконец, явным уже образом бунтовали, с таким намерением, чтоб им, отрешившись от подданства Российского, восстановить особое владение». Рычков сослался на два башкирских восстания, произошедших задолго до постройки Оренбурга: под предводительством старшин-феодалов Сеита в 1676 году и Алдара и Кусюма в 1707 году.

В беседе с послами Татищев просил передать бунтовщикам, чтобы они сложили оружие, а их вожди лично явились к нему с повинною. Другого выхода у них нет и не будет. Всем повинившимся будет сохранена жизнь, ну а кого добрые слова не берут, с того шкуру дерут. Особо опасным, неугомонным мятежникам Татищев пощады не сулил.

Ему поверили: несколько тысяч бунтовщиков повинились, но по-прежнему не являлись вожди восстания — Бепеня, Мандар, Чураш,

Тюлкучура. У них теперь нашелся влиятельный покровитель Абул-Хаир-хан со своей многочисленной ордой. Хан вел себя вызывающе: рассылал по башкирским селениям указы, своим содержанием опротестовывающие русские, чем подстрекал бунтовщиков. Там и тут башкиры нападали на русские крепости, грабили обозы, убивали купцов. В апреле Абул-Хаир-хан во главе огромного отряда, в котором были и повстанцы, подступил к Оренбургу и в ответ на увещевания городского воеводы Останкова, выхватив саблю, прокричал: «Город мой и для меня построен, а кто не послушает, тому голову отрублю!»

Объединение орды с мятежниками грозило русским тяжелыми последствиями. Татищев в письме к Абул-Хаиру дружески советовал хорошенько подумать о своих поступках, «дабы какой непристойности не вышло», приглашал встретиться и обо всем поговорить. Свои дипломатические шаги Татищев мотивировал в письме к императрице: «Не имея способа силой их к покорности принудить... салтанов и ханов жестокостью острастить, намерен с ними ласково обойтись, невзирая на глупую их дикость» и на то, что Абул-Хаир-хан присягу нарушил.

Из Петербурга в ответ последовали грозные распоряжения: не мешкая, действовать оружием, а не словом. Императрица приказывала Татищеву «с командою к Оренбургу поспешать без всякого отлагательства, а ежели над оным городом учинится гибель или людям урон, то особливо вы в том пред нами дадите ответ, ибо мы оную крепость отнюдь потерять не хотим».

В этой чрезвычайно тревожной обстановке Татищев все же отклоняет предписание действовать «огнем и мечом». Он направляет к Абул-Хаир-хану своего посла с дорогими подарками и назначает ему день встречи в Оренбурге. Во время встречи он искусным разговором потешил ханское честолюбие, попросил Абул-Хаира подтвердить подданство России и, устроив пышное застолье, мирно с ним распрощался. Вместе со своим ханом многотысячная орда киргиз-кайсаков покинула пределы Оренбургского края.

Башкирские мятежники, оставшись без поддержки, начали сдаваться. После некоторого колебания пришли с повинною вожаки повстанческих отрядов Сеит-бай, Рысай-бай, Елдаш-мулла, Мандар, Тюлкучура. На свободе находился лишь Бепеня. Но, потеряв соратников, понял безвыходность своего положения и 12 ноября 1738 года явился с повинною.

Как одного из яростных главарей-бунтовщиков его было велено колесовал».

Погасив пламя восстания, Татищев попросил в Сенате разрешения для поездки в Петербург и в начале 1739 года выехал ко двору. К этому времени

он закончил большую часть «Истории Российской» и хотел показать» ее специалистам.

В Петербурге, куда он прибыл с итоговым докладом о делах Оренбургской комиссии, его вдруг отстранили от должности и арестовали. Обвинялся он по доносам полковника Тевкелева, чинившего немалые зверства при подавлении башкирских мятежей, уфимского воеводы, неумного казнокрада и взяточника Шемякина, а также мародера и садиста полковника Бардекевича. Именно против них и выступал Татищев, не раз прося Кабинет министров и императрицу помочь ему призвать этих бесчестных людей к соблюдению законности. Увы, к порядку решили призвать самого Татищева.

Тевкелев злорадствовал. Привыкший в своей службе к насилиям, взяткам и репрессиям, он давно жил и действовал по принципу: что мне законы, коль судьи знакомы?! Тевкелев также ведал, как взрывоопасны отношения между Татищевым и всесильным Бироном. Нужна была лишь спичка.

Донос послужил Бирону поводом для расправы со строптивым и давно неугодным ему русским администратором. В специальную следственную комиссию по «делу Татищева» главными следователями Бирон назначил немцев. Вспомним: императрица обещала Татищеву высокую награду, если он усмирит башкирских бунтовщиков. Но вместо награды — каземат Петропавловской крепости.

Бирон торжествовал. Он привык сталкивать лбами русских, используя их междоусобицы, сеял рознь, интриги, убирал со своего пути всех неугодных, какие бы высокие посты при дворе те ни занимали. В 1740 году Бирону удалось опорочить и предать смертной казни политических единомышленников Татищева кабинет-министра Артемия Волинского, придворного архитектора Петра Еропкина и горного инженера Андрея Хрущова, ратовавших за то, чтобы русское правительство состояло из русских, чтобы, привлекая полезных иностранцев, не отдавать им первых мест, которые законно принадлежат русским. Оскорбленные в своем самом высоком чувстве — чувстве национального достоинства, эти патриоты стремились по возможности претворять в жизнь заветы Петра Великого: не складывать рук, неустанно радеть о благе России, избегать междоусобиц. Они видели опасное положение государства, где вся власть сосредоточена в руках трех немцев — Бирона, Миниха и Остермана.

Кирилов, служивший при Анне Иоанновне обер-секретарем Правительствующего Сената, случалось, в довольно осторожной форме рассказывал Петру Рычкову о жизни царского двора, об императрице —

племяннице Петра Первого.

Личная жизнь Анны не сложилась. Первого жениха ей подыскал сам Петр Алексеевич, выдав замуж за курляндского герцога. Но тот спустя несколько дней после свадьбы умер с перепоя. Через некоторое время нашелся другой жених — красавец Мориц Саксонский, но брачный союз не состоялся: помешал князь Александр Меншиков, которому потом силы, двигавшие Анну к власти, жестоко отомстили. Его отстранили от всех государственных дел и выслали в Сибирь.

Меншиков выехал из Петербурга в самом блестящем из своих экипажей, в сопровождении всех домашних и увозя самое ценное из своего имущества. Сам он был в форме генерал-фельдмаршала и держался достойно. Эта пышность шокировала его врагов, и не проехал он трех верст, как его нагнал офицер во главе конного отряда и приказал ему, жене его и детям выйти из кареты и сесть в обыкновенные повозки. Дорогие же экипажи были возвращены в Петербург. Чуть погода Меншикова опять догнал отряд гусар, и к «его опале прибавилось новое оскорбление»: с Меншикова и со всех его родственников сняли драгоценные одежды и заменили их платьями из грубой шерстяной материи. В таком виде он, его сын и две дочери прибыли в Березов. Жена светлейшего князя, генералиссимуса, не выдержав душевных потрясений и длительной поездки, скончалась в дороге.

Жестокой репрессии Меншиков подвергся, конечно же, не только потому, что вмешался в личную жизнь будущей государыни Анны, а по той причине, что был самым преданнейшим сподвижником Петра Великого, неусыпным продолжателем его дела Совершенно случайно оказавшись на русском престоле, курляндская герцогиня сразу же окружила себя немцами, отдалив русских. Славные военачальники князя Михаил Голицын и Алексей Румянцев были отстранены от командования войсками и заменены немцами. Видные деятели петровской закалки князь Василий и Юрий Долгорукие были арестованы и сосланы на каторгу. Умер, не выдержав оскорбительной опалы, князь Григорий Юсупов... Заметно поредели ряды русских в Сенате, в Военной коллегии, в Академии наук, в торговых ведомствах.

Возведенный милостию Анны из низкого состояния на высокую ступень власти и могущества, Яга Бирон оставался чуждым России, судьба которой его не интересовала. Он лишь пользовался счастливым случаем, своим положением всесильного временщика, чтобы нажиться за счет России; ему нужны были деньги, а до того, как они добывались, ему не было никакого дела. С другой стороны, он видел, что его не любят, считают

недостойным того положения, какое он занимает, и по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, преследовал людей, которых считал опасными для себя и для того правительства, которым он держался. Бирон целиком владел волей императрицы, управлял государством как хотел.

Безудержная роскошь двора, постоянные увеселения в нем, устраиваемые императрицей, беззакония в судопроизводстве, застой в торговле и промышленности, крепостной гнет, восстания крестьян и подданных народов, разложение армии и флота — таков итог правления Анны, в котором Петр I, воскресни он на время, «едва ли узнал бы свое дело в таком посмертном его продолжении».

Полубояринов — личный секретарь Анны — в дневниковых записках отмечал ее личную неумную страсть к развлечениям. Зеркало, золотой столовый прибор и другие принадлежности туалета императрицы стоили несколько миллионов рублей. Расточительными развлечениями и богатством Анна как женщина словно бы стремилась компенсировать свою неудавшуюся личную жизнь.

Не ограничивал свои расходы и ее фаворит Бирон. «Матушка моя, — читаем в записках, — жила у Бирона в последние годы его силы и власти; при ней казнили Волынского, Хрущева, Еропкина, а Мусину-Пушкину отрезали язык. Рассказывала матушка, что была однажды свидетельницею большой охоты в Петергофе, на которой императрица Анна Иоанновна собственноручно стреляла волка, кабана, оленя и несколько зайцев. Бироны жили очень роскошно. Одних бриллиантов у его жены было более чем на 2000000 рублей, да перед самым свержением она заказала платье, унизанное жемчугом, ценою в 100000 рублей».

И это в то время, когда гравировку карт для «Атласа Всероссийской империи» Иван Кирилов вынужден был производить в основном за свой счет, а Василий Татищев не мог выпросить у правительства несколько сот рублей на открытие в Самаре татаро-калмыцкой школы!

Но вернемся к судьбе Татищева. Около двух лет Василия Никитича держали под следствием. Суду был предан человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным представителем Новой России, новорожденной русской науки, русский человек, которого, как выразился историк С. М. Соловьев, усердие и услуги императрице и ее власти были бесспорны; бесспорен был его горячий патриотизм — и его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев.

Приговор Татищеву так и не вынесли: он документально опроверг все

предъявленные обвинения. Однако следственная комиссия не спешила освобождать его из-под ареста. Татищеву ставили в вину даже его гуманность и якобы излишне либеральные меры, которые он применял по отношению к восставшим башкирам.

Из Москвы в Оренбург Татищев уже не вернулся. Он был назначен губернатором в Астрахань, где его преобразовательские инициативы вызвали недовольство местных чиновников. По клеветническим доносам его вскоре отстранили от службы, и он уехал в свое подмосковное село Болдино, где до конца жизни работал над семитомной «Историей Российской с древнейших времен». У входной двери его дома всегда находился караульный солдат Сенатской роты, ведь Татищев с 1741 по 1750 год продолжал состоять под судом.

Реабилитировали его за несколько часов до смерти. По воспоминаниям родственников, произошло это так. Рано утром Татищев верхом на лошади поехал в церковь, что находилась на взгорье, в трех верстах от села, пригласив с собой нескольких работников с лопатами. После обедни он со священником пошел на кладбище и велел вырыть себе могилу рядом с могилами своих предков. Работники взялись за лопаты, а Татищев пригласил священника поехать к нему домой приобщить его. К дому он подъехал уже не верхом, а на легкой телеге-одноконке. Отдав распоряжение повару и дворовым, лег в горнице под иконостасом. Тут к нему вошел курьер: он привез из столицы оправдывающий Татищева указ, а также пожалованный ему орден св. Александра Невского. Татищев отстранил орден, сказав, что умирает. Ему всегда мешали работать, жить, и он хотел, чтобы теперь ему не мешали спокойно умереть. Приняв священника и приобщившись Святых Тайн, он закрыл глаза и вскорости тихо скончался.

Иному читателю покажется, что основному герою нашего повествования уделено внимания пока что меньше, нежели лицам и событиям, воздействовавшим на него. Но автор «Истории Оренбургской» мало говорит о себе, словно бы представляя читателям судить о нем по тем обстоятельствам, какие окружали его в ту пору и какие он запечатлел в своем летописном труде.

По скромности Рычков не обмолвился о своей творческой дружбе с Татищевым. Лишь спустя сто лет этот факт был засвидетельствован одним историком, нашедшим в семейных бумагах Рычкова десятки писем Татищева.

Покидая Оренбургский край не по своей воле, Татищев оставил в нем незавершенными многие просветительские дела. Особенно его волновала

судьба открытой им в Самаре татаро-калмыцкой школы. То было первое учебное заведение для аборигенов. Наместник Татищева в Оренбургском крае генерал князь Урусов в марте 1741 года уведомлял его, что заботы о самарской школе не оставлены без пригляда и продолжения, что готовятся для нее азбука и новые переводы, что «во всем том старается г. Рычков, которого в том охота и прилежность, надеюсь, вашему превосходительству известна».

В том же месяце Рычков писал Татищеву:

«Школа., времени от времени к лучшему состоянию приходит... И хотя в затеях моих многие предосуждают, ведаючи, кроме того, многие мои несвободности, но доброму намерению Бог помогает».

Работая над «Историей Российской», Татищев некоторые ее главы посылал Рычкову, занимавшемуся, помимо службы, изучением истории заволжских и азиатских народов. 21 сентября 1749 года он писал ему: «Послал вам из первой части «Истории» восемнадцатую главу о татарах и просил, чтоб оную исправили и дополнили по вашему большому о том известию».

Спустя месяц Татищев отправил Рычкову еще несколько глав с припиской: *«Я вас прошу внятно рассмотреть, нет ли где какой погрешности, и о том дать знать... и ко мне возвратить. Я ни о чем более прилежу, как ясною историею моему отечеству славу и честь приумножить, а неведущим дать познание...»*

Рычков усердно выполнял поручения и просьбы Татищева, посылал ему для «Истории» справки, архивные сведения об Оренбургском крае и Средней Азии, изъяснял, переводил восточные летописи, делал выписки из арабских и персидских книг. Известно, что «Лексикон» Татищева, долгое время считавшийся пропавшим, впоследствии был напечатан с копии, сделанной и сохраненной Рычковым.

Первые свои сочинения, такие, например, как «Краткое известие о татарах» и «Письма о коммерции», Петр Рычков послал не для «печати в публику», а на суд строгому своему наставнику.

Прочитывая рукописи Рыčkова, Татищев рекомендовал ему обходиться без иностранных слов. «Я никогда без крайней нужды таких иноязычных слов не употреблял, а впредь буду стараться, чтоб в лучшее сведение наших придти и оных, ежели можно, никогда уже не употреблять», — винился Рычков. Однако совет Татищева «языки же чужестранные учить, хотя для разговоров не весьма нужны, но паче чтоб могли других языков полезные книги читать и разуметь» он воспринял с глубоким пониманием и руководствовался им постоянно. Он всячески старался помочь Василию

Никитичу в его хлопотах об учреждении в Самаре и Уфе школ, где наладить обучение русских и мусульманских детей грамоте, арифметике, химии, металлургии, истории и географии.

Татищева огорчало, что «российского государства никакой доднесь географии не сочинено, и в школах младенцы учатся по сочинениям иностранцев; но понеже оные частию неполные, частию неправдами и поношениями наполнены, а потому переводить их или в школах употреблять более вреда, нежели пользы».

Василий Никитич настойчиво советовал Рычкову приступить к написанию истории и географии России, начав составлять ее из региональных описаний губерний. «Я охотно бы принялся за сочинение русской истории тем методом, о коем напредь сего Вашему превосходительству доносил...» — писал Рычков Татищеву.

Но слишком загружен Петр Иванович был службой, да и скромный чин его ограничивал доступ к историческим материалам, хранящимся в центральных архивах.

Незадолго до смерти Татищев обратился в Академию наук с просьбой принять в ее члены Рычкова. Однако прошение было отклонено.

КТО ХОЧЕТ, ТОТ И МОЖЕТ

Живи, гуляй, ребята, поколе Москва не проведала.

Поговорка уральских казаков

«Так где же ставить город?» — этот вопрос почти два года озадачивал чиновников Оренбургской комиссии. Отвергнув выбранное Татищевым место — Красногорское урочище, они обсуждали два новых проекта: первый предусматривал застройку города на верху горы, «поставя за резон, что на горе воздух лучше и место виднее», второй предлагал вести ее на ровном месте, в двух верстах от горы. В итоге решили: на горе построить цитадель, а на равнине — город.

1 августа 1741 года при богослужении и пушечной пальбе Оренбург был заложен. Вторично.

Но стройка опять не пошла. Ее приостановили до прибытия в Оренбургский край нового командира, который вскоре же по высочайшему Указу не замедля явился. Это был Иван Иванович Неплюев, опытный дипломат и администратор, в недавнем прошлом главный командир Петербургской судостроительной заводи, русский резидент в Константинополе, генерал-губернатор в Малороссии. По доносу придворных интриганов он был отстранен от губернаторства, арестован, лишен имущества и всех наград, пожалованных ему еще Петром Первым. Взойдя на престол, Елизавета Петровна вскоре же убедилась в невинности Неплюева и освободила его.

Чуть позже, вспоминая об этих событиях, Неплюев писал:

«В начале 1742 года прислан мне приказ, чтоб я у двора явился, что я и исполнил, и при сем случае поставлен я был на колена пред церковью в то время, когда императрица Елизавета Петровна проходила в оную; она изволила, остановясь, возложить на меня орден св. Александра Невского и пожаловать меня допустить к руке; я, увидев дочь государя, мною обожаемого, в славе ей принадлежащей и в лице ее черты моего отца и государя Петра Первого, так обрадовался, что забыл все минувшее и желал ей от истинной души всех благ... Потом сделал я визиты всем знатым благодетелям. Старый мой благодетель Григорий Петрович Чернышев принял меня как родного и все силы употребил к защищению моей невинности. Чрез несколько дней сделана мне от Сената повестка, чтоб я в

онный явился, где мне объявлен именной указ, чтоб ехать в Оренбургскую экспедицию командиром».

Придворным завистникам не удалось очернить заслуженного человека, отмеченного самим преобразователем. Но, как известно, клевета наносит удары и достойным людям: в Оренбургский край Неплюева посылали, чтобы отдалить от двора.

В это же время Иван Иванович претерпел и другие невзгоды.

На 46-м году жизни он овдовел, оставшись с четырьмя детьми. Перед отъездом из Москвы в Оренбург Иван Иванович женился на 23-летней девице Анне Паниной. Молодая жена пришла в отчаяние, когда вскоре же после свадьбы узнала о назначении мужа. Дочь дворянина, она никак не хотела покидать светское общество старой русской столицы и ехать с мужем в «замаскированную ссылку». Она заливалась горькими слезами, будто предчувствовала свое трагическое будущее. И действительно, через три года она, как засвидетельствует в своих записках Неплюев, умерет в Орской крепости от тоски...

В «Истории Оренбургской» Петр Рычков повествует, что, возглавив Оренбургскую комиссию, тайный советник Неплюев первым делом решил выстроить Оренбург. Только не на Красной горе. *«Столь знатному и большому городу способнее и пристойнее быть близ устья Сакмары-реки, где Бердская крепость застроена, яко тут место пространнее, ровнее, как водою, так и лесом и лугами и всякими к строению потребными припасами пред Красногорским гораздо довольнее, к российским хлебным жительством ближе, и ко всем новопостроенным крепостям, стало быть, в середине...»*

Прежний Оренбург, называемый оплотом России на востоке, представлял собой крепость, окруженную забором из плетня и земляного дерна. Бывший петровский боевой офицер Неплюев с усмешкой обозрел сию цитадель, которую его предшественники Кирилов, Татищев и Урусов отваживались навещать лишь раз или два в году. Обычно летом и под охраной многочисленного отряда. Зимой же вся линия крепостей, так называемая Ново-Московская дорога, тянувшаяся от Оренбурга до Самары, лежала в глубоких снегах — ни пройти, ни проехать.

В мае Неплюев отправил в Правительствующий Сенат проект-предложение о новой застройке Оренбурга и, не дождавшись ответа, начал вести подготовку к ней. Осенью из Петербурга пришел ответ: указ Сената от 21 октября 1742 года санкционировал застройку города близ места, где встречался Яик с Сакмарой.

Всю зиму шли подготовительные работы. Сотни ремесленников и

ссылных людей стекались к месту будущей стройки. Обозами везли из Башкирии древесину, с яицких берегов и орских угорий — камень, гальку, яшму. С рудных заводов — листовое железо, литье.

19 апреля 1743 года при торжественном молебствии и артиллерийском салюте город был заложен в третий раз — на том месте, где он стоит поныне.

Стройка велась ускоренно, под круглосуточным воинским караулом. Окрест рыскали отряды киргиз-кайсаков, нападали на русские поселения и обозы, захватывали в плен женщин и детей, находившихся без охранения на сенокосе или жатве хлебов. Разбойничьим налетам подверглись крепости Сорочинская и Новосергиевская, Илецкий городок.

Неплюев, крайне занятый стройкой, вынужден был искать встречи с Абул-Хаиром, с которым он еще не успел познакомиться. Он направил к хану посла с дарами и пригласил в гости. При встрече Неплюев потребовал от Абул-Хаира объяснить вероломства, чинимые его людьми, попросил подтвердить подданство новой императрице Елизавете Петровне, дочери Петра Великого. Хан присягнул на Коране и, увешанный дорогими подарками, удалился в казахские степи.

Осенью на строителей навалилась цинга, из 1350 человек 630 умерло. Несмотря на трудности и замешательства, Оренбург спешно строился, и уже до заморозков новопоселенцы и воинский гарнизон были введены в теплые дома и казармы. Все лето до октября Неплюев наравне со всеми жил в землянке, только своей 12-летней дочери Анне выделил кибитку. Он лично руководил всем строительством, наказывал нерадивых, жаловал умелых, корректировал проект, не изменяя его основы. По тому времени Оренбург раскинулся на довольно внушительной территории. Ширина города равнялась 570 сажням (более километра), а длина — 677 сажням. Город окружили рвом и валом с десятью каменными бастионами по углам. Наружная часть вала была облицована плитным камнем. На бастионах стояли пушечные батареи. Вооруженная стража охраняла четверо городских ворот: Сакмарские, Яицкие, Губернские и Орские.

Уже в сентябре 1747 года в Оренбурге насчитывалось 837 дворов, четыре церкви, гауптвахта, аптека, госпиталь, пороховые склады, провиантские и соляные магазины, таможня, 44 лавки в каменном Гостином дворе и 131 лавка на Меновом.

По описанию Рычкова, Меновой двор, на котором с азиатскими народами все лето до глубокой осени торг и мена производились, был построен на южной степной стороне Яика, в двух верстах от города, «ибо ближе строить его было невозможно, потому что прилегло все место

низменное и водопоемное. Для въезда и выезда сделаны двое ворот со сводами... Большая часть того Менowego двора покрыта уже листовым железом, а остальные лавки покрывают. По углам, которые на степь, сделаны две батареи и поставлены на них пушки. В рассуждении размеров и красоты этого строения можно объявить, что внутри государства для купечества столь великое здание едва где имеется ль».

В январе 1744 года Неплюев выехал в Петербург доложить о всех оренбургских делах, осложняемых нехваткой ремесленников, купцов, строителей, а также фарисейским поведением Абул-Хаир-хана, якобы не ведавшего о бесчинствах, творимых его соплеменниками. На основе предложений Неплюева Сенат подготовил доклад, который 15 марта 1744 года императрица утвердила резолюцией: в вышеупомянутом городе Оренбурге быть губерний и именоваться Оренбургскою; и быть в ней губернатором тайному советнику Неплюеву.

Из Москвы домой Неплюев и Рычков возвращались на лошадях через Арзамас, где их задержала сильная распутица. Не дождавшись конца водополицы, первый оренбургский губернатор и его ближайший помощник, сменив санную повозку на колесный экипаж, выехали в Оренбург. Их поторапливали недобрые вести: вспыхнул конфликт между казачьим атаманом и старшинами Яицкого войска, заново всколыхнулась по весне башкирская вольница...

— Капризный народ, однако, — сказал Неплюев, рассуждая о башкирах. — Самоохотно подданство принял и сам же оное порочит. Что ему надобно?

— Степного коня на привязи долго не удержишь, — заметил Рычков.

— А кто держит? Узды на них никакой нет. Да и скакать от родных мест незачем.

— Яицкие казаки тоже весьма вольны, а распри, возмущения среди них не унимаются.

— Излишняя воля, говорят, и добрую жену портит, — заметил Неплюев. — О междоусобицах в Яицком войске давно я наслышан, но хочу сам побывать в нем. Чего бы делить яицким казакам: и земли, и воды не меряно.

— А разве малороссийские казаки дружнее живут?

— Малороссийские да и соседи их запорожские казаки в целом исправны в службе, но у них те же несовершенства и тяготы... Земледельцы всюду одинаковы: норовят они вольных казаков, приохоченных к земле, в своих подданных либо в крепостных превратить. А те жалобы, иски пишут, а то прямо за границу уходят, чем немалый вред

государству причиняют.

Намерение Неплюева разобраться в беспорядках, творящихся в Яицком городке, в войске яицких казаков совпало с поступившим из Военной коллегии поручением ответить на следующие вопросы: «1. На каком основании яицкие казаки поселены там, когда и кем изначалее даны им вольности и жалованные грамоты, и впредь как их содержать с собственной их пользой? 2. Когда и как оно (Яицкое войско) в здешних местах завелось и утвердилось, так как раньше никаких обстоятельных известий о том не бывало и нет?»

Неплюев понимал, что заниматься внутренним устройством новой губернии невозможно, не обезопасив ее от внешних врагов, то есть не укрепив казачье войско, которое охраняло ее юго-восточные границы.

Вскоре он и выехал в Яицкий городок, по обыкновению пригласив с собой Рычкова, знатока тамошних мест.

В дороге Иван Иванович много расспрашивал о казаках. Рычков располагал завидным багажом «обстоятельных известий» о них. К тому времени он вчерне уже закончил «Историю Оренбургскую», используя для ее написания древние летописи, предания, рассказы казаков-старожилов, личные наблюдения.

— Историки мнят, что донские и запорожские казаки в прошлом выходцы из беглых людей. Подобные же прародители, видимо, и у яицких казаков?

— Да, старинные летописи подтверждают, что предками наших тутошних казаков были вольные или беглые люди с Дона, — рассказывал Рычков. — В устье Яика и прикаспийских степях они впервые объявились еще в пятнадцатом веке, когда в здешних местах кочевали татары Золотой Орды... Что далее, то более людство их умножаться стало приходом с Дону и из других великороссийских городов... О сем у меня большой трактат написан...

Впоследствии Неплюев встретит в Петербурге книгу Рычкова «История Оренбургская» и найдет в ней сведения, которые ему помощник его сообщил, едучи пыльной дорогой в Яицкий городок.

По Рычкову, казаки для своего житья выбрали поначалу место при урочище, называемом Коловоротное, «от нынешнего их городка расстоянием вниз по Яику-реке шестьдесят верст. Туг наделали они для житья своего землянки, а для обороны от неприятелей небольшой ров. Оставшиеся от Золотой Орды татары, ненавидя, что они в их местах заселились, подъезжали к их кибиткам в ночные времена на лодках, кибитки их ломали, пожитки грабили, а жен и девок к себе увозили».

Казаки не могли противостоять многотысячным татарским ордам и, натерпевшись от них всяких бед, обратились к русскому царю Михаилу Федоровичу с просьбой, *«дабы он, великий государь, их, казаков, милостиво принял под царскую свою державу, обещаясь служить ему, великому государю, и наследникам его»*. Казаки отправили в Москву послов, *«объявив через них о всех своих обстоятельствах, просили у его царского величества милостивой защиты»*. Царь Михаил Федорович *«пожаловал им грамоту на реку Яик с находящимися при ней реками и протоками и со всякими угодьями, от вершин той реки до устья, и чтобы им на той реке жить и владеть, и великому государю служить казачью службу и набираться на житье вольными людьми»*.

Эту драгоценную грамоту казаки не сберегли, она сгорела при пожаре, поэтому от каждого русского царя, вступавшего на престол, они обычно просили новую грамоту, подтверждающую их права.

Рождение же Яицкого городка — столицы казачьего войска — Рычков по времени относит примерно к концу XVI века. На основе известий яицких старшин он повествует, что одна из основных казачьих общин произошла от бывших на Каспийском море удалых людей, предводительствовал которыми донской казак Нечай. Набрав восемьсот человек себе подобных, он с этой грозной ватагой спустился на судах вниз по Волге к морю, где долгое время промышлял грабежом караванов персидских и армянских купцов. Но однажды буря разбила многие суда казаков, а оставшиеся занесла в устье Яика. Нечай поднялся вверх по незнакомой реке и при впадении в нее степной речки Рубежная облюбовал удобное место, где в 1584 году застроил селение, что в сорока верстах выше будущего Яицкого городка.

Поотдохнув и собравшись с силами, Нечай вскоре повел свою дружину в далекую Хиву в надежде захватить там легкую добычу. Ему поначалу повезло: хивинский хан со всем своим войском находился в отлучке, ведя войну с бухарцами. Нечай быстро завладел городом Хива и его богатствами, взял себе в жены ханскую жену. Как пишет Рычков, *«Нечай и бывшие с ним казаки несколько времени жили в Хиве во всяких забавах и об опасности весьма мало думали; но та ханская жена, сильно полюбив его, Нечая, советовала ему: если он хочет живот свой спасти, то должен он со всеми своими людьми заблаговременно из города убираться, дабы хан с войском своим тут его не застал; и хотя он, Нечай, той ханской жены наконец и послушал, однако не весьма скоро из Хивы выступил, и в пути, будучи отягощен многочисленной и богатой добычей, скоро следовать не мог; а хан, вскоре потом возвратись из своего похода и*

видя, что город его Хива разграблен, нимало не мешкая со всем своим войском в погоню за ним, Нечаем, отправился, и через три дня достиг его на реке, именуемой Сырдарья, где казаки через горловину ее переправились, и напал на них с таким устремлением, что Нечай с казаками своими, хотя и храбро оборонялся и многих хивинцев побил, но напоследок со всеми имевшимися при нем людьми побит, кроме трех или четырех человек, которые, уйдя от того побоища, в войско яицкое возвратились и о его гибели рассказали... Несколько лет после того яицкие казаки селением своим перешли к устью реки Чаган, на то третье место, где ныне яицкий казачий город находится».

Войско представляло собой несколько общин древневечего устройства, где все, как в старину на вече, имели право голоса, хотя и было выборное начальство — атаман, которому дозволялось вести повседневные дела, суд и расправу над повинными казаками. Атаман и его помощники — старшины избирались из авторитетных казаков. Все важные дела решались сообща в Войсковом кругу. Определенного срока службы у казаков не было, недаром они называли себя вольными людьми.

Но такая их самостоятельность вредила общим задачам государства. Вот почему русское правительство с начала XVIII века стало ограничивать права и волю казаков, требовать повиновения самодержавной власти. Петр I, не желая видеть какую-либо часть государства независимой, удалившейся от центрального руководства, издал указ, по которому Яицкое войско с 10 марта 1721 года было передано в ведомство Военной коллегии с одновременным подчинением астраханскому губернатору. При образовании в 1744 году Оренбургской губернии яицкие казаки по всем внутренним делам и распоряжкам стали подчиняться непосредственно Неплюеву.

Военная коллегия стремилась пресечь казачье самоуправство, реорганизовать сам строй Яицкого войска и, объединив в нем все общины, превратить его в боевое подразделение русской регулярной армии. Казаки же слышать не хотели о солдатчине, уставных требованиях, которые бы нарушили их вольные обычаи и нравы. Особое возмущение у них вызвало намерение Военной коллегии произвести в общинах перепись населения, якобы ради общей пользы войска: жалованье отпускалось всего на 600 человек, хотя казаков было в несколько раз больше. Перепись помогла бы установить точную численность войска и соответственно увеличить сумму жалованья. Однако казаки всячески уклонялись от переписи, страшась того, что затеяна она ради введения рекрутчины. Их тревожило всякое административное вмешательство Москвы. Казаки просили не заселять их

земли самарскими и симбирскими дворянами, как предусмотрел в своем проекте Татищев. Они опротестовали этот проект в своей встречной просьбе к правительству. *«От такого заселения мы придем в крайнюю нищету и разорение и рыбные наши промыслы, от которых все свое содержание и пищу имеем, и службу отправляем, вовсе уничтожатся...»*

Противясь всякому нововведению, они упрямо твердили:

«Не можно сему быть, понеже войску Яицкому даровано от царя Михаила Федоровича право служить казачью службу по своему обыкновению» (то есть по-старому. — И. У.).

Или: «Не бывало сего при наших дедах и отцах, не бывать и у нас!»

Осуждая новые порядки, казаки, однако, видели, что вечевой строй их общин устарел. Козни и междоусобицы расшатывали войско. Казацкие старшины взимали с простых казаков немалые деньги за право рыбной лови, наживаясь за счет бесконтрольных поборов.

Не менее грабительским оказалось прибытие к яицким казакам в середине XVII века астраханских купцов Гурьевых. Эти предприимчивые «гости» перегородили реку «учугом», сколоченным из деревянных свай, шестов и плетней. Поднимаясь с моря вверх по течению для нереста, осетры, белуги, сазаны натывались на эту перегородку, теснились здесь большими стадами. Рыбу вычерпывали из воды специальными лопатами и сачками, Московское правительство, не вникнув в суть этого прибыльного способа рыболовства, опрометчиво выдало купцу Михайлу Гурьеву грамоту, говоря сегодняшним языком, патент на его изобретение и обязало построить на берегу защитный городок. В 1640 году он был построен и назван Гурьевым. Гурьевский учуг был своего рода огромным браконьерским сооружением, красная рыба не могла подняться в верховья на нерест, река за какие-то десятилетия заметно обезрыбела. Яицкие казаки, встревоженные и озадаченные, обратились прямо к императрице с жалобой на то, что «астраханские гости оголодали все войско».

Неплюев еще в 1743 году в своем донесении в Сенат вступился за казаков, признав их жалобы справедливыми. В итоге заселение дворянами земель по нижней части Яика отменили, а гурьевский учуг был отворен для прохождения рыбы из моря вверх по реке и передан в пользование казакам.

Военная коллегия же по-прежнему смотрела на Яицкое войско как на пограничную военную силу и искала всякие способы для дальнейших ограничений его самостоятельности. Не случайно она поручила Неплюеву заняться вопросами прямо-таки следственного характера.

Прибыв в Яицкий городок, Неплюев, по совету Рычкова, прежде чем чинить команды и распоряжения казакам, начал собирать мнения о всех

обстоятельствах их прошлой и настоящей жизни. Многое уяснил для себя первый оренбургский губернатор из бесед со старшинами, с войсковым атаманом Андреем Бородиным и с бывшим атаманом Ильей Меркурьевым, у которого отец, Григорий Меркурьев, тоже был атаманом и, дожив до ста лет, умер в 1741 году.

«Все оное войско, — писал Неплюев, — содержание и пропитание имеет, и к службе ее императорского величества надлежащую справу получает от рыбных в реке Яике ловель. И для того отъезжают они из городка в год по четырежды: 1. Весною в апреле и в мае месяцах, и продолжаются по июль, а оттоль прибывшие ходят за хлебом в Самару и в Сызрань, так как у них при Яицком городке пашен не бывало, и нет; да и быть едва возможно ль; ибо земля весьма сухая, глинистая, или песчаная, и к пашне видится неудобная. 2. Октября с 1 числа начинается у них называемая осенняя плавня, в которой бывают недели по четыре. 3. Ноября с 25 числа ловят неводами, и притом недели по три продолжаются. 4. Января с 1 начинают они так именуемое багренье, кое марта до 1 числа продолжается, а потом снова в помянутые города за хлебом и прочими надобностями отъезжают. Все эти ловли, начиная неподалеку от городка их (под которым для того, чтобы рыба вверх не уходила, сделан и всегда содержится учуг, то есть перебой, поперек всего Яика), производят вниз по реке Яику верст на 500 и более; и понеже будучи они на тех своих промыслах все с их оружием, находятся между форпостов, то оные их промыслы и к осторожности, если бы нужда позвала, способствуют. В городке же, во время отлучки их на те промыслы, для осторожности и караулов оставляют они из действительно служащих по 300 человек, кроме отставных и малолетних, и тех казаков, которые своевольно в домах остаются; сверх того из них же в осеннее время человек по 500 и более ходят на звероловство, и бьют в степных местах лисиц, волков, корсаков и кабанов, от чего также имеют свои доходы, а некоторые, ездя в Оренбург на ярмарку, по возможности торги и купечество производят».

Эти описания Неплюева Рычков дополнил в своей «Топографии Оренбургской» многими любопытными деталями и подробностями. Обойдя городок и его окрестности, он составил точное описание всего увиденного, произвел, так сказать, словесную съемку объектов. Рычков помнил наставления Татищева, что живая, основательная география — это описание явлений в их историческом развитии, это всеохватывающее уведомление о естественном, политическом и экономическом состоянии описываемой территории. Почти каждую страницу своих землеописаний Рычков насытил историческим содержанием и этнографическим

толкованием. Сообщив, что от Оренбурга до Яицкого городка 269 верст, что в нем около трех тысяч дворов, Рычков далее весьма зримо представляет читателю местоположение. *«Улицы в нем по большей части тесные и некоторые так узки, что двум телегам разъехаться почти невозможно. Что до укрепления принадлежит, то в 1744 году все жило с одной стороны от реки Чагана к старому течению Яика двойным плетнем обнесено, между которого насыпана земля и укреплено столбами, а снаружи весь тот плетень обмазан глиной, а вокруг всего сделан ров...»*

Еще во время прошлых наездов в городок Рычков описал и теперь передал Неплюеву табель численности и вооружения Яицкого войска, размеры денежного жалованья казаков, вполне обоснованно рассудив, что содержат они себя в основном рыбным промыслом, а не мизерным жалованьем.

Примечательно, что одни и те же сведения о яицких казаках Неплюев и Рычков излагали своеобразно. Первый как администратор — скупое, канцелярски-деловитое. У Рычкова обозреваемая картина как бы оживает в красках и деталях. Выше приведен отрывок из экстракта Неплюева о рыболовецком промысле яицких казаков. А вот как о том же писал Рычков: *«Великое множество рыб в реку Яик заходит из Каспийского моря, и предполагают, что они в Яике не плодятся, ибо никогда не случается, чтобы осетра или белугу в реке величиною меньше четверти аршина поймать... Белуга и осетры в реке Яике вкусом гораздо лучше волжских, но вверх по той реке до Оренбурга весьма мало их заходит, а ловят их яицкие казаки по большей части ниже Яицкого казачьего городка, летом неводами, что называется по их плавленье, а зимой баграми, отчего эту ловлю и именуют они багреньем. Оное чинится у них весьма особым образом, а именно: так как эта рыба на зимнее время ищет всегда глубоких мест, где ложится стадами и рядами, так что от самого дна до льда одна на другой стоит, и воды между рядами их не бывает более как на ладонь — и такими своими стадами занимает глубокие места или ямины, по версте и больше, которые места яицкие казаки, зная, присматривают. И узнав точно, где рыба лежит, в войске атаману и старшинам объявляют, а от них крепкое наблюдение чинится, чтобы в тех местах до уроненного времени никто не ловил и рыбы бы не тревожил.*

Когда же к багренью назначенный день придет (что обыкновенно бывает у них после Рождества Христова), то все яицкие действительно служащие и жалованные казаки (ибо отставных и неслужащих к багренью не допускают) собираются к войсковой канцелярии на лошадях,

запряженных в сани; и когда дается сигнал выстрелом из пушки, то каждый из всей мочи скачет на то место, где багренью быть, и, прискакав, пробив прорубь, багрит. А когда зацепит большого осетра или матерую белугу, и одному из воды вытащить невозможно, то в таком случае в помощь призывают ближних, которые, увеличив прорубь, помогают вытащить, и ту рыбу сообща продают». Свежую, соленую и вяленую рыбу казаки отправляли в Москву и в другие великороссийские города. Зимой, во время багренья, к ним наезжало много купцов и промышленников, прямо на берегу скупали рыбу или меняли ее на хлеб.

Казаки, живущие в городке, имели в его окрестностях хутора, где выращивали лошадей и разный скот. «Садов и всяких огородных овощей у них довольно, но и это гораздо бы могло размножено быть, если бы яицкие обыватели употребляли к тому лучшее и прилежнейшее старание, ибо климат у них гораздо теплее оренбургского. В лесах не только строевых, но и на дрова имеется там недостаток: и что принадлежит до строения, то потребное к тому достают из дальних мест, большей же частью из верховья Яика и Сакмары рек», — свидетельствовал Рычков.

Подробнее ознакомясь с бытом и служебной администрацией казацкого войска, Неплюев, как и Татищев в свое время, обнаружил «великие беспорядки». В войске не было штата, должностных лиц, не велось почти никакой письменной документации, все зависело от произвола выборных казаков, разделившихся на враждующие группы.

Неплюев определил штат, ввел строгую субординацию. Все войско было разделено на семь полков, по 500 человек в каждом полку (станции). Полку полагалось иметь знамя, полкового старшину или станичного атамана, есаула, пять сотников, писаря и табель-список казаков в двух экземплярах, один из которых должен находиться у войскового атамана. Полкам велено было строже нести службу по охране западных и юго-восточных границ губернии от нападения калмыков и киргизов, которые нередко проникали в ее глубины и чинили разбои. Неплюев приказал назначить казачьи разъезды по определенным маршрутам в виде встречного патрулирования от крепости до крепости, укрепить форпосты и редуты, снабдив их противопожарным инструментом. Войсковому атаману раз в год посылать в станции ревизора для контроля за расходованием жалованья. Занимаясь рыбным и охотничьим промыслами, казаки обязаны были блюсти высокую бдительность, держать оружие наготове, не пьянствовать в праздности, а приучать себя к хлебопашеству. За верную службу назначалось годовое жалованье: атаману 24 рубля, есаулу и писарю 12 рублей, казаку 1 рубль 50 копеек. Эго была все же некая прибавка к

казацким доходам от их личного подворья и промыслов, если учесть, что по тогдашним ценам пуд коровьего масла стоил 1 рубль 20 копеек, ведро вина — 1 рубль, ведро пива — 12 копеек, аршин сукна — 2 рубля, парчи — 4 рубля 50 копеек.

Возвращаясь из Яицкого городка в Оренбург, Неплюев и Рычков навестили илецких и самарских казаков, где сделали необходимые распоряжения с учетом особенностей их местожительства и обычаев. Дело в том, что Сакмарский казачий городок, как уведомляет Рычков, был сходцами из Сибири в 1720 году «построен на высоком и прекрасном месте» близ реки Сакмары. Жившие в нем казаки, помимо рыболовецкого промысла, знали земледелие и животноводство, оттого были намного покладистее и хозяйственнее яицких: о набегам на иноверцев не помышляли, обычно полагаясь на благополучие себе добывать прежде всего хлеборобским трудом.

— На здешних землях урожаи ячменя, овса и особенно ржи при настоящем рачении могут быть гораздо выше. Золото и серебро азиатских купцов нам сподручнее хлебом оплачивать, о чем еще великий император нас наставлял. — Во многих своих административных распоряжениях Неплюев Петру Первому следовал, зачастую ссылаясь на него как на образец благодеяния.

— Но ведь и Петр Великий хлеб велел за границу отпускать токмо тогда, когда его вдоволь и он дешев внутри России будет. Но полны ли наши закрома? — рассуждал Рычков.

— О том и речь, что земли тут много плодородной, но немалая ее часть впусте пребывает. Петр Алексеевич же взаправду одно время запрещал вывоз хлеба из державы, а после урожаев и улучшения землепашества опять в 1717 году дозволил хлеб за море вывозить, с пошлиною со ржи и ячменя по полуефимку с четверти...

Оглядывая строения в крепостях и селениях, Неплюев подчас сердито замечал:

— Все оное не из леса, а сподручнее из камня возводить. Извести, песка, глины, скального камня, речной гальки у нас тут повсюду видимо-невидимо, а мы из Башкирии лес возим да по берегам рек срубаем, великого Петра императора указы грубейше нарушаем. А ведь как он о лесах радел! Это при нем впервые стали не рубить, а пилить лес, да еще с таким замером, чтоб менее десяти сажен дерево не трогать. Тем самым он молодые леса от порубок берег. Заповедные места учинил. На дрова разрешал токмо еловый, осиновый лес рубить да валежник. А к дубу, ясеню, липе, вязу чтоб не прикасаться. Побывав на осмотре нижегородских

и казанских лесов, определил жестокое наказание за их рубку, штрафы, учредил штатных смотрителей за лесами. За самовольную порубку дубов, помню, одного мещанина едва не до смерти забили розгами, а муромского купца в тюрьму посадили.

— Строгость и правоту свою государь мог силою указа утвердить, но столько ли власти у нашей губернской канцелярии и у вас, губернатора?

— Не в силе бог, говорят, а в правде. Хотя как горька правда, но не таи перед ним, скажи как есть, и государь, сие по личному опыту знаю, завсегда оценивал открытую к нему душу.

— Счастию вашему всегда завидую, что видеть и слышать великого государя вам довелось, — признался Рычков.

— Человек он был такой, что каждая встреча с ним молода в памяти, — светлея лицом, рассказывал Неплюев. — Вот был случай, когда вместе с юными гардемаринами я из-за границы возвратился, где мореходному делу мы обучались. Государь Петр сам у нас экзамены принимал по приезде в Петербург. Подошла и моя очередь испытание пред ним держать за всю полученную в загранице науку. Спрашивает меня государь: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Многие норовили обходить государя ответами своими. А я вытянулся пред ним в струнку и говорю: «Всемиловейший Государь, прилежал я по всей моей возможности, но не могу похвастать, что всему научился, и прошу, как пред Богом, Вашей ко мне щедроты». Сказав так, пал я пред ним на колени. Государь дал поцеловать правую руку свою и, показав на ладонь, сказал мне: «Видишь, братец, хоть я и царь, да у меня на руках мозоли, а все оттого, что показать вам пример норовлю и достойных помощников и слуг Отечеству иметь желаю».

Неплюев не раз рассказывал Рычкову о том, как потрясла его смерть Петра Первого. Это «плачевное известие» он получил, находясь в качестве резидента в Константинополе, выразив душевное состояние в своих дневниковых «Записках»:

«Я омочил ту бумагу слезами, как по должности моем государе, так и по многим его ко мне милостям не лгу, что был более суток в безпамятстве; да иначе бы и мне и грешно было: сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими; научил узнавать, что и мы люди, одним словом, на что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут; а мне, собственно, сверх вышеописанного был государь и отец милосердный».

С РОССИЙЦАМИ ПОСВОЯСЬ

Дом согревает не очаг, а согласная жизнь.

Пословица

— Всех пальцев у человека не хватит, чтобы сосчитать народы, в нашем крае ныне проживающие. И каждый норовит поболее тепла и благ иметь, вот каждый и тащит на себя одеяло. Отчего обиды, распри тут часто случаются. Ну разве ж обижены в сравнении с другими башкиры, что сызнова возмущение затеяли? Как весна, то бунт у них, — негодовал Неплюев после встречи с башкирской делегацией, которая требовала отмены подушного налога, только что введенного императрицей Елизаветой Петровной.

— Но ведь и к русским землепашцам такой же закон применен. Вдобавок наши еще другие подати несут и от рекрутской повинности не освобождены в отличие от башкирцев, — недоумевал Рычков.

— Однако недовольны, депутацию прислали, мятежом грозят. Но уповаю, сие не от простого люда исходит, а от начальства их. И тут надлежит спокойствие нам проявить. Выехать в башкирские селения и разъяснить благотворящую суть указа нашей императрицы.

Из Оренбурга в Уфу вскоре был послан полуторатысячный отряд генерал-майора Штокмана и полковника Люткина. Сам Неплюев внезапно заболел, вместо него с отрядом поехал Петр Рычков.

— Обойтись без кровопролития, применяя силу слова, — наставлял Неплюев. — Ясак башкирцы должны уплатить по разумению и закону как подданные.

Без кровопролития все же не обошлось. В деревне Черемижской русских делегатов встретили четыреста вооруженных башкир. Отвергнув предложение о переговорах и приказ секунд-майора «Разойтись!», они атаковали русский отряд. В бою башкиры потеряли семьдесят человек убитыми и около ста ранеными.

Озадаченный Неплюев послал нарочного с приказом войску действовать не спеша, без применения оружия, рассылая по деревням увещательные грамоты. Постепенно башкиры поутихли, выплатили ясак, жизнь в крае вошла в мирное русло.

Послушать, почитать Неплюева, Рычкова, других русских

«колонистов», и сразу же поймешь, что никакими колонистами они не были, поскольку освоение степного края старались вести добром и миром. К этому, если вспомнить документы и поразмыслить, призывало и правительство, назначая управителями вновь приобретенных провинций и подданных народов в большинстве самых лучших людей империи — строгих, справедливых, образованных администраторов. Таких, как Кирилов, Татищев, Неплюев, Перовский, Муравьев-Амурский, Черняев...

А сколько было издано царских грамот и указов об охранительных мерах для аборигенов! Русские поселенцы органично вращались в иноплеменную среду, завязывали с башкирами, казаками, калмыками, татарами хозяйственные, дружеские и даже родственные отношения. Браки русских с инородцами казались привычным делом, приветствовались и одобрялись. Рычков, например, советовал русским парням жениться на туземных девушках, а туземным парням жениться на русских девушках, «ибо они (туземные жители), посвоившись с россиянами, к земледелию гораздо могут быть склоннее и полезнее как для себя, так и для общества».

То есть говорить об угнетении русской нацией других народов, о некоем «народе-господине» нет оснований. Хотя, конечно, взаимоотношения между русскими переселенцами и коренным населением складывались не без трудностей и противоречий, взаимных обид и злоупотреблений. Но виноваты в этих распрях и столкновениях меньше всего были русские переселенцы-хлебопашцы, откликнувшиеся на призыв ехать и занимать «свободные земли» на Урале и в Сибири: они ни в чем не стесняли кочевое население, земли всем хватало — и для посевов, и для пастбищ. Осложнения стали возникать позже, когда площади свободной земли начали уменьшаться, а цены на нее — повышаться. К тому же на смену талантливым и честным первоустроителям Оренбургского края прибывали алчные чиновники, хищные коммерсанты. Они скупали, а то и отбирали землю как у туземного населения, так и у русских колонистов и по спекулятивным ценам перепродавали ее. Крестьян, прибывавших из внутренних губерний на «свободные земли», повсюду настигало крепостничество, которое было несколько не легче колониального гнета. И все же словом «колонизаторы» нельзя характеризовать весь разнообразный контингент русских поселенцев в том смысле, в каком обычно оно применялось к колонизаторам вообще. Для сравнения вспомним, что до прихода англичан в Северную Америку там проживало более двух миллионов индейцев. К началу нынешнего столетия их осталось менее двухсот тысяч, оттесненных в малоудобные для жизни места. Да и как тут не вспомнить узаконенную охоту на индейцев, установленную цену за их

скальпы?! Туземцев истребляли, как зверей и птиц.

В Оренбургском крае, в целом на Урале, а также в Сибири, наоборот, XVIII и XIX века отмечены ускоренным ростом численности коренного населения. Если в начале XVIII века башкир насчитывалось примерно сорок тысяч, то к середине столетия эта цифра увеличилась в пять раз. Нуждаясь в людях — в хлебопашцах, воинах и рабочих, — Русское государство проводило по отношению к иноверцам охранительную политику, поощряло, правда, в меру и ненасильственно, крещение калмыков и татар, всячески старалось превратить своих вчерашних врагов в верноподданных слуг. После падения Казани, например, первому назначенному туда архиепископу наказывалось «страхом к крещению отнюдь не проводить, а проводить только лаской». Кстати, когда раздался призыв Минина и Пожарского освободить Москву от поляков, тысячи татар и марийцев добровольно влились в русское ополчение.

Петр Первый в воинском уставе предписывал своим военачальникам и солдатам: «Каковой ни есть веры или народа они суть, между собой христианскую любовь иметь». Татищев в Горном уставе подчеркивал необходимость обучения иноверцев не только профессиональному мастерству, но и русской грамоте, рекомендовав в школы и созданное им Екатеринбургское горное училище принимать всех наиболее способных юношей «несмотря его рода... равно как русских...» и «языка же всякого учиться не воспрещать, но паче к тому поохочивать». В Самаре Татищев создал первую татаро-калмыцкую школу, ее возглавили «студент калмыцкого языка» Иван Ерофеев и преподаватель восточных языков Махмуд Абдурахманов. Татищев советовал грамотных мурз приравнивать к русским дворянам, а простому народу «ласкою и толкованием» разъяснять хотя бы утилитарную пользу ученья: грамотного иноверца русский чиновник обмануть не сможет.

Свидетельства добрых взаимоотношений русских с инородцами приводятся и в «Топографии Оренбургской». Повествуя о том, как купец Твердышев основывал на башкирской земле Воскресенский медеплавильный завод, Рычков писал: *«По состоянию башкирского народа, который ничто столь много не уважает, как старинные свои вотчинные земли и отхожие, то есть лесные угодья, а больше всего тельные бортевые промыслы, беспристрастно можно сказать, что при первом заведении горных заводов, к которым на всякие строения, так же на дрова и уголье, множество лесов необходимо требуется, надобны были великая осмотрительность и всякая ласковость, справедливость и умеренность с башкирцами, чтобы от них, по их дикости и легкомыслию,*

от новости на землях таких затруднений не было и вновь бы беспокойство не отпрыгнуло. Но упомянутый Твердышев с компанейщиком его симбирским же купцом Иваном Мясниковым и с двумя родными своими братьями, не жалея труда, ни изжидения, так искусно и честно поступали, что башкирцы, полюбив их, почитали всегда хозяевами, и не только никаких помешательств и препятствий ни в чем им не чинили, но и сами, узнав свойство руд, из награждения им объявлять стали; а многие из платы и возкой на завод руды промышленять возохотились; и так познакомившись и подружившись с ними, могли они через одно почти лето первый свой медеплавильный завод в действие произвести, который, построив на реке Тор, впадающей в Белую, от Табынска в 90 верстах, именовали Воскресенским».

Татищев, а затем и Неплюев нередко вступались за беглых, невзирая на их национальные различия. Они не выдавали их, за что подчас получали выговора из Петербурга. Но кем было заселять край? Купцы и ремесленники в оренбургские степи ехали с большой неохотой, а если и приезжали, то долго не могли приспособиться к суровым условиям края, где одновременно нужно было быть ремесленником, торговцем, воином и землепашцем. Беглые люди — украинцы, русские, татары, раскольники, донские казаки — стекались на берега Яика, спасаясь от крепостного ига, от рекрутских повинностей. Помещики и заводчики внутренних губерний, лишаясь тяглового крестьянства, работников, жаловались правительству, требуя возврата беглых. Правительство издавало грозные указы и манифесты, но они не помогали ни окоротить, ни вернуть беглых.

В своем донесении в Сенат Неплюев настоял, чтобы в Оренбургском крае беглых не преследовать, поскольку надеяться только на одних ссыльных весьма опрометчиво: за счет преступников, воров и гулящих девок невозможно в новом крае упрочить гражданские и социально-нравственные устои жизни, выполнить благоустроительские проекты. По причине нехватки в губернии рабочих рук Неплюев не только не выдавал беглых, но зазывал в край всех, кто мог приехать. Как повествует Рычков, когда в Оренбуржье пожелали переехать казанские татары, «люди торговые и пожиточные», Неплюев не только не воспрепятствовал, но пошел навстречу их требованиям. Освободил татар от рекрутского набора, разрешил им построить мечеть, что, вообще-то говоря, тогда запрещалось. В итоге двести семей казанских татар в 1744 году поселились в восемнадцати километрах от Оренбурга на берегу Сакмары, назвав свою деревню Сеитовой слободой (ныне Татарская Каргала). Поселенцы занялись земледелием, построили водяные мельницы.

Сеитова слобода пригодилась Неплюеву при налаживании торговых связей со среднеазиатскими купцами: он приманивал их к Оренбургу, проводя разные торговые акции через посредничество татар. В 1749 году губернатор докладывал Сенату, что русские купцы получили в Оренбурге от азиатских купцов серебра персидскою монетою 71 пуд 13 фунтов; а с последней половины апреля текущего года прибыло несколько бухарских и хивинских караванов, в которых персидского серебра 418 пудов 22 фунта. Неплюев шлет письма в Москву и Казань, приглашая русских купцов везти свои товары в Оренбург, который в одиночку затрудняется отвечать на поставки азиатских торговцев потребным количеством опросных товаров.

Под знойным небом на оренбургском Меновом дворе в те годы можно было встретить и бухарского купца в белоснежной чалме, и ташкентца в причудливо вышитой тюбетейке, и туркмена в кожаных ичигах и плюшевом чекмене, и башкира в островерхой, с лисьей опушкой круглой шапке... Ржание застоявшихся на привязи коней, резкие вскрики ишаков, пофыркивание и мычание коров, шумное, утробное дыхание молчаливых, утомленных тысячеверстным переходом серо-рыжих верблюдов, разноязычный людской говор — каруселила, пестрила, суетилась, гомонила огромная ярмарка, шел обмен товаров, бурлила купля-продажа, люди общались жестами и словами, стараясь понять друг друга, познакомиться, завести дружбу. Некоторые оренбургские купцы звали в гости купцов из Бухары и Ташкента, а те приглашали, в свою очередь, к себе.

Английский историк лорд Керзон, побывавший у среднеазиатских подданных Российского государства, писал: «Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова... Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него легкой позицию невмешательства в чужие дела; и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности».

Даже своих недавних врагов Россия старалась использовать рационально, берегла людские ресурсы. Так, Иван Грозный, пленив рыцарей Ливонского крестоносного ордена, поселил их на плодородном побережье Оки. Через несколько лет они обрусели, за исправную службу царь не раз жаловал их наравне с московскими боярами. Как после Ливонской, так и после Северной войны многие пленные немцы и шведы пожелали навсегда остаться в России. Подобно графу Бонде, о котором

рассказано на предыдущих страницах, иностранцы в большинстве своем аккуратно несли военную и административную службу. Важно помнить и то, что в России «бесправие не было уделом только инородцев». Крепостное право в такой же мере являлось «привилегией» русских, украинцев, белоруссов. Русский народ разделял наравне с другими народами одну судьбу. Под одинаковым надзором и давлением находились, копя недовольство, яицкие казаки, башкиры, татары, киргизы и калмыки. Всякое их своеволие, стремление к полной независимости московское правительство пресекало как действия, ослабляющие власть и силу централизованного государства. Мечты о полной свободе толкали подданных к мятежам и восстаниям.

В 1755 году Оренбургский край с молниеносной быстротой охватило восстание башкир под руководством умного, образованного магометанина Батырши Алиева. Он разослал по всем башкирским селениям, а также по многим владениям магометанского Востока воззвания, в которых пророчил великие беды от нашествия на мусульман русского православия. Батыршу возмущало, что «неверные русские крестят мусульман в свою веру, от командиров и генералов никакой милости нет, и неизреченных тягостей терпеть больше нельзя, хуже что может ли быть, когда из настоящей веры в ложную обращают, ибо каждый человек свою веру любит. Русских, которые насильно из магометанства обращали и мечети разоряли, на весах разума справедливым золотником надобно судить так же, как и мусульман, которые бы христиан в свою веру привели и церкви разорили, ибо все мы рабы императрицы; когда же государынина милость к рабам неровна будет, то легкомысленные люди рассуждали, что впредь уже ожидать нечего: станем и мы веру их ругать и в свою обращать и имение грабить».

Батырша сетовал и на то, что башкирам «из гор и озер соль брать запретили, из городов покупать принудили. Когда некоторые старшины объявили, что из городов брать соль не желают, то командиры бранили их, по щекам били, за бороду таскали. В город ехать суда просить народ никакой уже надежды не имеет; которое дело можно было в один день кончить, месяц таскали, а которое в месяц можно было кончить, из взяток год продолжали. Некоторые злые старшины с народа взятки брали и, напившись пьяны, людей саблями рубили и много обижали, а когда на них суда просили, то не получали».

Возмущался Батырша и тем, что прежде «даром или за малые деньги можно было деготь доставать, который для выделки кож употребляли; теперь запретили употреблять деготь, велят из городов рыбий жир брать, а вместо двух рублей двадцать издерживаем».

Не все жалобы Батырши были насущны и справедливы, в чем он сам, будучи пойман, признался: «Начал я писать наставительные и разжигательные письма».

Духовные лица поддержали Батыршу, восстание грозило превратиться в крупное вооруженное выступление всего магометанского населения Поволжья, Башкирии и киргиз-кайсацких степей. Требовалось упредить, не дать иноверцам объединиться для борьбы. Неплюев приказал командирам крепостей готовиться к отражению бунтовщиков, послал донесение в Москву с просьбой прислать войско, написал калмыцкому хану прошение, предлагая немедленно двинуть тысячу всадников против киргизов, решивших присоединиться к башкирам. На подавление восстания были брошены три полка из Оренбурга, тысяча казаков из Яицкого городка, четыре полка спешили в Башкирию из Казани.

Опытный петровский дипломат Неплюев использовал в борьбе силу и хитрость. В Оренбурге жил один знаменитый магометанин. Неплюев попросил его обратиться с речью-письмом к татарам и киргизам, образумить их, отговорить от пособничества башкирам, которые ныне могут клясться в верноподданничестве на Коране, а завтра изменить своему же священному слову, а значит, и аллаху. По башкирским селениям были разосланы грамоты за подписью Неплюева, который требовал прекратить мятеж и обещал 1000 рублей за голову Батырши.

При вступлении в зону восстания армейских и казачьих полков и калмыцкой конницы башкиры со своими семьями 50-тысячным отрядом отступили за Яик, во владения Киргиз-кайсацкой орды. Неплюев послал в орду грамоту, требуя выдать или выгнать беглых башкир. При этом он, по обычаям того времени, разрешал киргизам забрать у бунтовщиков все их пожитки, жен и детей. Это требование оренбургского губернатора было незамедлительно исполнено. В стане иноверцев произошла страшная резня. Силы восставших были расчленены и рассеяны. Батыршу поймали его же ближайшие соратники и в августе 1755 года под сильным караулом доставили в Оренбург. После допроса он был отправлен в Петербург и посажен в Шлиссельбургскую крепость, откуда после пятилетнего заключения пробовал бежать, зарубив топором троих стражников, но при этом и сам был убит.

Восстание, как и все прежние, было подавлено сурово, с излишней жестокостью, что вызвало недовольство центральной власти. Майора Назарова и капитана Тимашева Военная коллегия отдала под суд за чрезмерные кровопролития, допущенные при усмирении бунтовщиков.

Несмотря на то, что все восстания заканчивались кровью и казнями

сотен и тысяч их участников, башкиры, как и другие подданные народы, не дали превратить себя в крепостных, сохранили вотчинное право на свои земли.

Заботясь о спокойствии на юго-восточных окраинах государства, Неплюев, желая обуздать безграничное своеволие башкир, киргизов и казахов, подчас сталкивал их друг с другом, как умело это учинил при усмирении мятежа Батырши. Сначала он дозволил киргизам напасть и разорить беглых башкир, а потом, когда мятежники вернулись в свои края и обратились к Неплюеву за разрешением отомстить киргизам, генерал-губернатор ответил: «Сие я не могу вам позволить, но если вы без спроса разобьете киргизов, то думаем, что взыску с вас не будет».

ОРЕЛ МУХ НЕ ЛОВИТ

Музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно. Оне кого хотят, того и полюбят.

М. Ломоносов

Петр Рычков и сам не предполагал, что многие его дневниковые записки, исторические экстракты, географические справки, этнографические и экономические заметки волею случая, а точнее сказать, насущной потребностью времени однажды сольются воедино и составят большое уникальное произведение. Приступая к написанию шестисотстраничной «Топографии Оренбургской», сорокалетний Рычков, конечно же, не помышлял, что сей труд принесет ему, в то время провинциальному коллежскому асессору, известность как в России, так и во всей Европе.

И хотя говорят, что счастливые случайности выпадают на долю подготовленных умов, ничего случайного не произошло: к своей книге Рычков готовился десятки лет. А началось все со скромного желания дать пояснения к географическим картам Оренбургской губернии, составленным геодезистом Иваном Красильниковым. И Кирилов, и Татищев, и Неплюев имели при себе геодезистов и картографов. При оренбургской канцелярии в 1741 году был учрежден Географический департамент, который занялся составлением генеральной ландкарты губернии.

Однако картографические работы шли очень медленно. И не только на Урале. Всюду не хватало опытных специалистов, техники. Еще в 1721 году по приглашению Петра Первого в Россию прибыл французский географ Гильон Делиль. «Россия является государством такого огромного протяжения, что, казалось бы, нет надежды на появление в ближайшем будущем точных карт столь обширного края, — писал он и тут же заявлял, что справится с неимоверно трудной задачей, если в его распоряжение передадут чертежи и карты, а также все старые, пусть даже несовершенные рукописные землеописания, потому как «лучше знать местность в общих чертах, чем не знать ее совсем».

Но Делиль вскоре умер. Его дело продолжил младший брат, академик-

астроном Иосиф Делиль, по отзывам его современников, человек огромной эрудиции и такого же огромного честолюбия. Прибыв 23 февраля 1726 года в Петербург, он с помощью привезенных с собой инструментов сразу же приступил к астрономическим наблюдениям. Вскоре Делиль предложил только что созданной Петербургской Академии наук свой обширный проект географических работ в России, потребовав обеспечить ему свободное пользование всеми географическими материалами, выделить специалистов и новую астрономическую технику. Но эти его требования и просьбы зачастую не выполнялись. И хотя в 1739 году был создан Географический департамент, возглавить который поручили Делилю, составление «Атласа Российской империи» затянулось на многие годы.

Академию наук в ту пору разрывали дразги и склоки между ее членами. По свидетельству Ломоносова, организаторами их были «всех профессоров гонитель, коварный и злохитростный приводите в несогласие и враждевание» советник академической канцелярии Шумахер и его зять «прегордый невежда, высокомысленный фарисей» Тауберт, для которых опасно было «произвождение в профессоры природных россиян»; в борьбе за власть они могли затравить, погубить всякого ученого. По мнению Ломоносова, академическая канцелярия с самого начала состояла из людей полуобразованных, которые распоряжались людьми умнейшими. Особенно позорно то, замечал он, что невежественные делопроизводители канцелярии, едва умеющие писать по-русски, дерзают притязать на право голоса в заседаниях этого учреждения... «Понимая, что в смысле ученой славы и заслуг они не могут равняться с академиками, и тем более превзойти, и являлись в то же время их начальством, они стремятся придать себе вес другим путем. Зная о возникающих среди академиков ученых спорах, которые при других условиях обычно дружески улаживаются, они из этих споров извлекают выгоду: разжигают взаимную вражду и в особенности восстанавливают младших против старших; раздувают споры и ссоры, ищут случая, чтобы распустить слухи, вредные для муз, и оговаривают чаще всего тех, кто в силу своих заслуг представляется им наиболее способным противостоять их наглости, а себя выдают за людей, безусловно необходимых для поддержания спокойствия в Академии».

Не каждый профессор выдерживал подобные интриги и утеснения, многие из них уезжали из России. Это Крафт, Гейнсиус, Вилде, Крузиус, Делиль... Работая в академии почти со дня ее основания, Делиль по справедливости искал первенства перед Шумахером и, служа двадцать лет на одном жалованье, просил себе прибавки, но получил отказ. Постепенно

от отошел от географических занятий в Академии наук и в 1747 году навсегда уехал во Францию. Шумахер лишь порадовался отъезду своего старого соперника.

Не смог Делиль закончить свое дело.

Не завершил многие географические труды и Василий Никитич Татищев. А ведь ему еще в 1719 году сам Петр Первый приказывал заняться «землемерием всего государства и сочинением обстоятельной географии Российской империи». Назначенный в 1734 году управителем сибирских и уральских заводов, он ревностно взялся исполнять данное ему предписание о том, что «многие обстоятельства, а особливо, что к пользе заводов касается, упущены, то есть много рек, гор и лесов не назначено и не описано». Татищев вознамерился написать географию Сибири, разослал во все провинции анкету с 92 вопросами. Получив ответы, он подготовил несколько глав объемного труда «Общее географическое описание всея Сибири», приложив к нему 17 ландкарт, составленных геодезистами Иваном и Василием Шиковыми. Но эта работа была прервана переводом Татищева в Оренбургский край на место умершего Кирилова. Однако и здесь, несмотря на большую занятость административными делами, он энергично взялся за составление географии Российского государства. Но вскоре по ложным доносам был арестован. Попытки возобновить географические занятия в Астрахани, куда он, как уже говорилось, был назначен губернатором, оказались безуспешными. В обстановке интриг, произвола, взяточничества, доносительства, ставших нормой жизни подавляющего большинства местного купечества и чиновничьей бюрократии, честному человеку трудно было не только заниматься наукой, но и просто жить. Однако с помощью группы геодезистов Татищев составил 75 чертежей и ландкарт Астраханской губернии и отправил их в Академию наук, но, как и прежде, не получил никакого ответа.

Заполненная шумахерами и таубертами разных мастей, Академия наук не спешила навстречу ценнейшим трудам и проектам Татищева, Кирилова, а впоследствии и Рычкова. Эти одаренные ученые загружались административными, хозяйственными и подчас военными поручениями, правительство не ценило их научную и просветительскую деятельность. Не потому ли Татищев так и не смог завершить ни одного крупного своего начинания в географической науке. «И я хоть много и трудился, — с горечью писал он, — но окончить не надеюсь, ибо того без помощи государя никак сделать не можно».

Не лучше судьба у видного русского географа Ивана Кирилловича Кирилова. Создав «Генеральную карту Российской империи» почти

наполовину за свой счет, а также предприняв первую попытку дать географическое описание всей страны в книге «Цветущее состояние Всероссийского государства», он вскоре убыл из Петербурга в Оренбургскую экспедицию и постепенно был оттеснен от руководства географическими делами в Академии наук.

В 1745 году трудами Географического департамента наконец-то был издан «Атлас Российской империи», состоящий из девятнадцати специальных карт. Он представил империю со всеми пограничными землями. По отзыву видного математика того времени Эйлера, издание было «не токмо гораздо исправнее всех прежних русских карт, но еще многие немецкие карты далеко превосходит».

Но даже этот атлас имел немалые погрешности, и о них вскоре высказались Делиль, Ломоносов да и сами составители его. В предисловии к атласу написано: «Впрочем, Академия наук признает, что такого состояния дело всегдашнему исправлению подлежит и многих особливых измерений требует, прежде нежели совершенное что издать можно. И того ради принуждены они были разные места пусты оставлять и сомнительно означать, о которых или совсем никакого или темное известие имели».

Президент Академии наук граф Кирилл Григорьевич Разумовский с позволения императрицы распорядился разослать атлас по губерниям и одновременно приступить к исправлению допущенных в нем погрешностей, то есть — к составлению нового атласа Российской империи. Эту работу поручили историографу, профессору Г. Миллеру. В картографии он был человек малосведующий, неумело руководил геодезистами и по истечении нескольких лет ничего существенного не сделал. Весной 1758 года Географический департамент возглавил Ломоносов и сразу же предложил составить «Атлас России» из пятидесяти карт, приложив к ним обстоятельное политическое и экономическое описание. Речь шла о создании долгожданной книги «География Российского государства». Определив маршруты нескольким академическим экспедициям в глубь страны, а также на северные и юго-восточные ее окраины, Ломоносов наметил все работы закончить за три года.

Но как ни старался, осуществить задуманного ему не удалось, потому что принужден он был «беспрестанно обороняться от недоброжелательных происков и претерпевать нападения» Шумахера, Тауберта и прочих лжеученых-бюрократов, не желавших терять своих влиятельных постов в академии, «не упускавших ни одного случая помешать тому, чтобы науки возросли и распространились в России».

Новый атлас государства при жизни Ломоносова так и не вышел, в обиходе по-прежнему находился старый атлас, изданный в 1745 году. Он и привлек внимание Рычкова, который решил делом откликнуться на обращение академиков-составителей вносить в атлас поправки и дополнения, заполнять пустые места.

Как уже было сказано, в Оренбургской губернии в то время действовал Географический департамент. Его силами в 1744 году был составлен атлас губернии. Но примитивный, несовершенный.

В 1752 году в Оренбург возвратился прапорщик геодезии Иван Красильников. Ему и было поручено на основе старых карт и тщательных географических обследований составить новый атлас губернии. Спустя три года нелегкий этот труд был исправно завершен. Рычков присоединил к атласу в качестве пояснительного текста подробнейшее описание — «Топографию Оренбургскую».

Рычков понимал, что ландшафтные карты и даже грандиозные атласы, с нанесенными на них обозначениями рек, гор, лесов, морей, населенных пунктов, — это еще не география, а поверхностный, астро-математический обмер территории. Важно же не только верное изображение страны, но и ее обстоятельное описание, ее экономико-географические и историко-этнографические характеристики, «чтоб видеть можно было, где что взять, ежели надобность потребует». Каждый квадратный километр земли, каждую реку, гору и пещеру, а также птиц, зверей, рыб, леса, города, села, крепости, население, его культуру, быт, ремесла... — все нужно было обозначить, впервые доподлинно описать.

Рычкову предстоял невообразимо кропотливейший труд: территория, описанная в «Топографии», занимала несколько миллионов квадратных километров, простиралась от Волги на западе до отрогов Алтая на востоке, от Камы на севере до гор Средней Азии на юге. Такая работа могла быть по силам лишь многочленной экспедиции географов. Рычков взялся за нее, по сути, один, добровольно, без какого-либо обещанного вознаграждения, не имея времени, которое поглощалось официальной службой в губернской канцелярии. Правда, это последнее, отягчающее творческую работу обстоятельство, имело и свою положительную сторону: в канцелярию стекались ценные сведения о крае и народах, населяющих его.

Ссылаясь впоследствии на использованные источники, Рычков замечал, что многое им «собрано в Оренбурге из разных описаний русских и иностранных, и по известиям в губернской канцелярии имеющимся». В работе использованы дневниковые записи геодезиста Ивана Муравина и Даниила Рукавкина, побывавших на Аральском море и в Хиве, летописи,

предания и, конечно же, собственные многолетние наблюдения за жизнью Оренбургского края.

Рычкову хотелось поскорее изучить, обустроить его, оказать конкретную помощь торговым и военным людям, администраторам, поселенцам. Цель и необходимость своего сочинения Рычков в «Предвещении» к первой части «Топографии» пояснил: *«Всякий командир, имея при себе ландкарту тех мест, кои ему в дирекцию и правление поручены, может из нее видеть, в которую сторону и сколь далеко простирается его команда, в какой ситуации и где находятся подчиненные ему города и жительства, где море или озеро, отколь и куда текут реки и пр. Военный командир с ландкарты видит... куда и сколь далеко ему маршировать... какие миновать или проходить ему народы и города, где нужно переправляться через реки, где лес, где степь»*. Помимо этого, командиру нужно знать *«народное и натуральное состояние подчиненных ему мест, где какое людство и на каком основании находится, что и где натура произвела и произвести может, которое место чем избытчивает или оскудевает, откуда, куда и как награждать недостатки и через что превозмогать имеющиеся и быть могущие затруднения и пр.»*.

И далее: *«А это все карта, даже самая совершенная, при самом тонком рассуждении командира, подсказать не может»*. Нужно детальное описание местности.

Но описывать не все подряд, а лишь то, что наиболее характерно для того или иного региона. Необходимы метод строгого отбора материала, свой взгляд на него, своя концепция.

Рычков считал, что география делится на математическую часть и историческую. Историческая же подразделяется на политическую (или народную) и физическую (или натуральную).

В политической географии, по мнению Рыčkова, *«обыкновенно сказывается о звании и ситуации земли, о великости, о границах и смежности оные, где суть моря, озера, реки, горы и другие знатнейшие урочища. Потом о начале и состоянии народов, городов, где какая вера, отменные обычаи, промыслы и особые учреждения. А во второй, т. е. в физической части, трактуется о качестве и свойствах земли и воды, древес и плодов, о металлах, о всяких животных и прочих естественных приключениях»*. Если по такому плану описывается весь мир, считает Рычков, это будет космография, или просто география, а если описывается одна или несколько провинций (регион), тогда именуется «топография».

В этих рассуждениях о географии Рычков во многом следовал

Татищеву. Однако при изложении материала «Топографии» он целиком занял свою позицию, определив предмет географии как средство изучения населения с его хозяйством в конкретных природных условиях. Это изучение важно вести в исторической динамике («где какое людство и на каком основании находится, что где натура произвела и произвести может»).

Рычков удачно разделил книгу на две части, включив в первую все, что свойственно губернии в целом, прочие же обстоятельства осветил во второй части. По тому времени такая композиция представляла большую новизну в деле страноведческих описаний, явилась прообразом составления сегодняшней общей и региональной географии нашей страны.

Первая часть «Топографии Оренбургской» начинается главой-рассказом о происхождении названия губернии и кратким экскурсом в ее историю. Во второй главе дана характеристика ее географического положения. Третья глава свидетельствует об административном делении, в четвертой описан состав населения, пятая посвящена характеристике природы, животного — растительного мира, полезным ископаемым. Завершает первую часть книги шестая глава, в которой анализируется развитие в крае торговли.

Во второй части «Топографии» двенадцать глав, они посвящены провинциям, а также описанию медеплавильных и других уральских металлургических заводов.

Рычков применил новаторский принцип отбора материала, оригинальную систему его изложения. Географа должно интересовать самое главное, характерное, а все другое, что есть в губернии, что делает ее похожей на другие, соседние, «это все для сокращения будет оставлено», то есть не включено в книгу. Такой подход к отбору материала основывался на глубоком понимании сущности географии, открывал *новый сравнительный метод* в топографической практике. Описания природы, естественных богатств, промышленности и земледелия, промыслов обширнейшего края Рычков вел в тесной связи с историей и экономикой его.

И хотя он не был ни натуралистом, ни этнографом, повествование обнаруживает дар зоркого естествоиспытателя, умеющего точным, самобытным словом запечатлеть различные явления из жизни природы и людей.

«В рассуждении же тепла и стужи, — пишет он, — надлежит знать, что Оренбургская губерния в том против прочих российских стран имеет немалые особенности, а именно: в летние месяцы по обеим сторонам Уральских гор, около Оренбурга и Орской крепости, которые из

всех прочих к полудню ближе, такие великие жары случаются, что босой ногой на песок ни ступить, и железо, если оно на солнце несколько часов лежало, в руках удержать невозможно. Но если в то же самое время случится ветер с севера со стороны Уральских гор, где в некоторых местах снег никогда не сходит, то великий тот жар того же дня в стужу превращается».

С простодушной любознательностью Рычков описывает ветры, которые в безлесных оренбургских степях *«нередко так сильно случаются, что едва на ногах можно устоять, и не по одни сутки продолжаются, особенно же зимой, в декабре и январе месяцах, бури, по тамошнему названию бураны, бывают со снегом и при самом жестоком морозе, что от того многие люди замерзают и пропадают... Бураны тем более опаснее, что иногда при весьма тихой и умеренной погоде в один час такая туча или буран наступит и такой шум причинит, что при сильном снеге и лежащий на земле несет, и тем весь воздух столько сгустит, что в трех саженьях ничего видеть невозможно».*

Именно один из таких буранов описал в «Капитанской дочке» А. С. Пушкин, никогда не бывавший в оренбургской зимней степи, зато с благодарностью прочитавший «Топографию» Рычкова.

«Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка. — Невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом».

Кроме зимних буранов, Рычков описал пыльные бури — *«круговые ветры»*, что бывают в ясные летние дни. И хотя людям опасности от них нет, *«но достойны примечания и удивления, потому что вдруг завертит пыль, или сор, подобно и с такой же скоростью, как мелет жерновой камень, и ту пыль, поднимая кверху, несет столбом, и что далее, то более окружности делает, забирая все легкие вещи вверх; притом бывает нередко, что и крыши с домов срывает»...*

Детальны, зримы описания рек. *«Течение ее близ трех тысяч верст, при котором, забрав в себя с обеих сторон многие реки, впала в Каспийское море»...* — пишет Рычков о Яике. С верховьев до самого устья внимательно прослеживает он течение реки Эмбы, которая *«что ниже, то*

глубже становится, течет по песку и бродов уже не имеет. Ширина ее сажень на тридцать, а где и шире. Рыбы в ней множество всяких родов, особливо сомы и сазаны весьма крупные, а у устья находятся белуги и осетры. Лес по ней — осокорь, ветла, тал, осина, джадовник, черемуха, жимолость, а местами есть и камыши. Киргиз-кайсаки Меньшой орды часто и многим числом по этой реке зимуют».

Рычков указывает места залегания алебаstra, извести, угля, разных глин, селитры, серы, нефти, медных и железных руд, пытается наметить способы их добычи. Уведомив, что неподалеку от Оренбурга, в набережном холме, много плитного камня, он рекомендует его для строительства *«по недостатку лесов около Оренбурга за великий и выгодный способ признавать надлежит. Ибо этот камень нетрудно добывать: при ломке из горы бывает мягок, а когда на воздухе побудет, то крепчает... и были бы тому искусные мастера, то хотя бы в несколько сажень без всяких трещин цельные штуки можно вырубать и к самым лучшим строениям употреблять на пьедесталы, карнизы и на прочие архитектурные украшения».*

Описав места залегания различных глин, *«которым внутри России в доброту подобные едва сыщутся ли»*, Рычков на этом не останавливается. Он поясняет, где и какую глину можно применять. Чебаркульская белая глина, найденная в Исетской провинции, оказалась пригодной для изготовления высшего качества фарфора, и ее обозами стали отправлять в Санкт-Петербург на специальную фабрику. Кизильскую глину использовали для беления печей и изб, в гончарном деле, ибо *«сделанные из нее горшки сильный огонь выдерживают».*

Рассказав о нефтяных ключах близ татарского села Сергеевка, Рычков сообщает, что нефть имеется и на самой южной оконечности Оренбургского края. *«На Заяицкой же степи, от Оренбурга в полуденную сторону верховой езды дней двенадцать, в вершинах Сагыз (которая впадает в реку Эмбу), на степи, в полуверсте от той речки, есть нефтяное место, которое по-тамошнему Смоляным называют, в длину сажень на полтора, а в ширину до ста сажень. Эта материя как бы постоянно кипит, но не горяча; и если верблюд или лошадь зайдет в это место, то так увязнет, что и вытащить не можно. Такой тяжелый тут дух, что никакая птица этого места перелететь не может».*

Как известно, нефтью в России серьезно интересовались задолго до Рычкова. Ее называли *«черным маслом земли», «горючей водой», «каменным маслом».* Петр Первый в своих указах требовал искать нефть во

всех губерниях и о находках докладывать ему незамедлительно. Нефть находили возле речки Ухты близ Печоры, где «из воды выделялся черный жир». Встречалась она и в Сибири. В 1702 году Петр I издал указ о пополнении государственных аптек медикаментами, в котором говорилось о доставке из Сибири «масла каменного». Нефть использовали для лечебных целей, но в основном для смазки телег, для иллюминации и в войсках как долгогорящее вещество.

В 1719 и в 1721 годах Петр I направил две экспедиции для обследования нефтяных залежей на Апшеронском полуострове и западном побережье Каспийского моря. Вскоре лично побывал в этих местах во время известного персидского похода. Из нефтяных колодцев близ Дербента он велел набрать несколько пудов «земляного масла» и, привезя в Москву, несколько бочек с нефтью отправил за границу, желая выяснить, «не можно ли начать оною с иностранцами торговать».

В нефти нуждались и в России. Правда, поначалу применялась она не совсем по назначению. Русские императрицы пристрастились к проведению пышных празднеств в столице, сопровождающихся зрелищными иллюминациями и фейерверками. По сообщению очевидца, на работах по подготовке новогодней иллюминации круглосуточно целую неделю трудилось более тысячи человек, а в иллюминационных площадках во время торжества сжигалось до 500 пудов топленого говяжьего сала и немало других горючих веществ. Нефть требовалась не только для праздничных иллюминаций, ее использовали и в военных целях.

Рычков первый обратил внимание правительства на нефтяные залежи Волжско-Уральского региона, подробно описал их признаки, указал координаты, побывав на западных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Как показало время, он не ошибся в своих предположениях. В апреле 1929 года геологи именно в этих местах обнаружили громадные запасы нефти и газа. Ныне в Татарии добывается сто миллионов тонн нефти в год.

В своих описаниях Рычков использовал лишь достоверные источники, относясь к ним осторожно, критически. *«О свинцовых рудах, — пишет он, сказывается, что в Уральских горах на разных местах много их... и бывший тогда пробователь Яспер о доброте их хотя и уверял, и о некоторых сказывал, якобы по пробе и серебро содержат, но так как он прежде того был серебряного дела мастер, человек престарелый, и в пробах незнание его неоднократно замечено, то утвердиться в том не можно, а надлежит искусными людьми достовернее осмотреть и проверить».*

Говоря о Губерлинских горах, он так же приглашает осмотреть их сведущими в геологии людьми, хотя, будучи в экспедиции Кирилова, сам не раз бывал в тех горах вместе с ботаником Гейнцельманом и находил признаки месторождения асбеста и цветных камней, кварца. «Но все то поныне остается без надлежащего испытания».

Приступая к рассказу о природе Оренбургского края — «поверхности и внутренности земли», он замечает, что такое обстоятельное описание требует достаточного знания в физике и в вещах натуральных, «и если все то подробно описать, то одно это может составить особую и немалую книгу». Поэтому специальные исследования он оставляет более «искусным в физике», а сам пишет только о том, что хорошо познал. Ему чужда всякая поверхностная компиляция, добытчиком географических сведений он стремится быть сам. Подчас ему не удается дать исчерпывающей характеристики тех или иных явлений, глубоко вскрыть их причинные связи, зато всюду чувствуется первичность лично добытой и пережитой информации. Он, например, не дает полную энциклопедическую классификацию животных и птиц, населяющих Оренбургский край, а выбирает наиболее интересные, хорошо им изученные типы и описывает их рукой дотошного натуралиста.

«Бобр есть такое животное, — пишет он, — которое живет на сухом пути и в воде, видом несколько похож на свинью, только имеет шерсть костистую и вместо хвоста лопатку с чешуею. Гнездо обыкновенно делают они в берегу, так чтобы всегда сквозь воду в него проходить; а если вода обмелеет, то деревьями и хворостом подпруживают воду, чтобы вход в нору всегда был под водою».

«Норка, зверок водяной, схожа на куницу, только длиннее и шерстью хороша, малым чем плоше соболя. В Башкирии и во многих степных реках ловят их собаками и лучками и продают от тридцати до сорока копеек...»

Рассказывая о красных и черно-бурых лисицах, Рычков восхищается их сказочной многочисленностью, оттого и дешевизной этого рода пушнины. *«Киргизы ловят их беркутами и, гоняясь на лошадях, бьют так много, что в Оренбурге и в Троицкой крепости во время ярмарки каждое лето бывает их в привозе и продаже русским купцам от тридцати до сорока тысяч и более. По оренбургскому тарифу каждая шкурка ценится по восьмидесяти копеек».*

Как свидетельствует Рычков, меховая шкура росوماхи по тогдашним ценам стоила рубль, медвежья — от двух до трех рублей, заячья — пять копеек, бобра — полтора рубля...

Описывая насекомых, Рычков прежде всего называет пчел, радуется их

обилию. «Домашние или ульевые пчелы по большей части у русских, а бортевых премножество в Башкирии, к чему содержатели их выдалбливают наподобие ульев сосны, дубы и другие толстые деревья, отчего оным деревьям никакого вреда не делается, и к тому времени, как роятся пчелы, вычищают, а к зиме их закрывают, чтоб мокрота и снег не вредили. Башкирцы, у которых лесные места, от сих бортевых пчел получают себе великий доход; и в размножении оных так искусны, что много таких, из которых у одного по несколько тысяч бортевых деревьев имеется, и потому почти целые бортевые леса у них находятся, и на одном дереве бывает по два, а иногда и по три борта с пчелами. Они более никакого смотрения не требуют, как только того, чтобы для молодых пчел всегда новые и чистые борты находились...»

Бесчисленными стадами бродили в оренбургских степях быстроногие дикие козы, так называемые сайгаки. Рычков не раз встречал их в холмистых местах по левобережью Яика, в отрогах общего сырта, в Губерлинских горах. Дикие козы так резвы, что никакая собака догнать их не может, разве что по снежному насту, по которому собака бежит легко, а коза копытами снег проламывает. «Но казаки и киргизы умеют искусно к ним подкрадываться и бьют их на пищу из ружей. Мясо их, хотя не жирно, но вкус имеет изрядный. Величиною они не больше домашней козы, только тонки, и ноги имеют длинные и сухие, шерсть на всех желтовата или светло-рыжая. Молодые ягнята в домах легко привыкают и так ручными делаются, что и выращенный не уходит, хотя б и на степь выпущен был».

Сурки, суслики, волки, медведи, кабаны, лоси, маралы, куницы, корсаки, горностаи, соколы, кречеты, ремезы, лебеди — тысячи их, десятки тысяч жили рядом с человеком, не ущемляя, а обогащая и веселя его жизнь. Но человек объявил многих из них своими врагами и начал беспощадно истреблять. Невежество и безумная алчность вытесняли из человека человека...

Но вот пришло время, и, оскудевший душой, он начал осознавать преступное свое легкомыслие как причину приближающейся своей гибели. Почувствовал вдруг, увидел, что живая природа, изуродованная им, задыхающаяся, может увлечь за собой в могилу и его, своего губителя. Эгоистически-трусливо всполошился, пытаясь спасти себя спасением своих младших братьев, завел «Красную книгу» — охранную грамоту для них...

Зверей и животных, что вольными стадами и стаями бродили по оренбургским и казахстанским степям, теперь уже нет. Их извели,

истребили. Гордостью степей были тарпаны — красивые дикие лошади. *«Киргиз-кайсаки, собираясь человек по двадцать о-дву-конь, их ловят и привязывают к своим лошадям за шеи арканами, и так привязанных держат по месяцу и более, и тем приобыча их, употребляют к езде, как и своих лошадей».*

Разновидность тарпанов — куланы. По Рычкову, ростом они выше тарпанов, поджарые, уши имеют длинные, стоячие, гривы небольшие, шерсть на них густая и немалая. Ходят великими табунами в Заяицкой степи. Киргизы стреляют их и употребляют в пищу.

Увы, от тех великих табунов нынче почти ничего не осталось. Есть слухи, что несколько куланов охотники встречали однажды в южном районе Туркмении.

Человек извел не только диких животных, но и домашних, тысячелетиями служивших ему первой опорой в труде и в бою. Для Рычкова лошадь была единственным транспортным средством. В кибитке и в седле он проехал тысячи верст, оттого, видимо, описания лошадей у него особо содержательны. *«Лошади башкирские, — пишет он, — издавна в России за крепких лошадей почитаются, между которыми резвые иноходцы бывают... Башкирцы как зимою, так и летом все свои табуны содержат в степи; ибо как бы ни глубока была зима, однако лошади его привыкли разгребать и так подснежную траву, имея на себе от лета довольно жиру, содержатся; только для немногих лошадей, которых башкирцы в зимние времена для езды употребляют, заготавливают они сено, потому что степная лошадь с виду хотя и кажется не тоща, однако же, будучи употреблена к езде дальней или тяжелой, вскоре слабеет. Напротив того, киргизские лошади, в киргизских руках будучи, сена не знают, ибо киргизцы никогда его не запасают, а содержат лошадей своих... на степях, и для того на зимние свои кочевья избирают они места теплые и где меньше снегов... Киргизцы лошадьми так достаточны, что нередко у одного есть тысячи по две. Лошади их крупнее башкирских и видом статнее и легче, потому они к драгунской службе, когда привыкнут к русскому содержанию, почитаются весьма способными. Они же ружейной пальбы не боятся. Их во время ярмарки в Оренбурге и в Троицкой крепости киргиз-кайсаки на надобные им российские товары променивают от десяти до пятнадцати тысяч лошадей, и годную под драгуна лошадь от пятнадцати до восемнадцати рублей купить можно»...*

Первая часть «Топографии» заканчивается главой «О внутренних и внешних обстоятельствах коммерции прежней, нынешней и впредь быть могущей». В торговле Рычков видит главное средство для укрепления и

развития губернии и всей державы. «Здоровое это и основательное рассуждение, — пишет он в начале главы, — возбуждало всегда народы спознавать самые отдаленные места; превозмогать в том великие трудности и убытки по крайней своей возможности; утверждать не только с окрестными, но и с дальними народами союзы и мир, населять колонии, учреждать порты, ярмарки и все то, что могло способствовать возвращению и умножению коммерции. Читая истории, довольно из них видим, каким образом для удобнейшего произведения коммерции в разных местах сочинялись многие и сильные общества, обогатились и прославились тем великие государства; не только европейские области одна с другой, но и все четыре части мира вступили для того между собою в коммуникацию и в заимство, и где чего нет или оскудевает, то одна другой сообщает...»

Рычков утверждает, что во все времена торговые отношения зависели прежде всего от того, война или мир на земле. Торговля на Руси, например, надолго пришла в упадок под татаро-монгольским игом. И только с того времени, когда российские государи, «превозмогли всю татарскую силу, самодержавие свое снова утвердили, коммерция тамошняя вновь возрастать начала; особенно же умножилась она совершенным завоеванием трех царств: Казанского, Астраханского и Сибирского. Но при всем том никаких знаков не находится, чтобы она в тамошней стороне и через те места в Азию и оттуда в Россию в славе была».

И лишь с учреждением Оренбургской губернии, крупных меновых дворов, ярмарок в ней, коммерция с азиатскими странами начала процветать. В губернии росла сумма казенных доходов за счет пошлин, взимаемых с русских и иноземных купцов. Доходы эти могли быть больше, если бы пошлина бралась с серебра и золота, которые привозили азиатские купцы. Но Россия в то время очень нуждалась в драгоценных металлах и камнях, поэтому пошлина на них была отменена. Помимо золота и серебра, в Оренбург из Средней Азии и Бадахшана поставлялись хлопчатобумажные, шелковые и парчовые полотна, занавесы, ковры, овичны, женские украшения. Со стороны россиян в продажу и мену азиатским купцам шли разное сукно, краски, медные и чугунные котлы, сахар, соль, мех, бархат, лошади, соленая и вяленая рыба. Русским запрещалось продавать и обменивать ружья, золото и серебро в деньгах, свинец, сталь, железо в чистом виде.

Подробное описание того, что может производить Оренбургская губерния, Рычков намеривался дать во второй части «Топографии», но выполнить исчерпывающим образом эту задачу ему не удалось. Чтобы

судить о производственном потенциале такого обширного края, нужно было иметь справки центральных правительственных ведомств, учреждений, доступ к которым Рычкову был затруднен. В предисловии ко второй части «Топографии» он извинительно заявляет: *«Должен объявить здесь и признаться, что она, как новая и самая первая, а больше по недостаткам моим не только от совершенства, но и от надлежащей исправности весьма еще далеко отстоит, и служит только к тому, чтобы подать повод и некоторые способы искуснейшим в истории и географии описание здешней губернии когда-нибудь сделать исправное и совершенное. В этом состоит настоящее мое намерение!»*

В своей книге Рычков видит прежде всего пособие для изучения и благоустройства края.

«Дай боже, — заключает он предисловие, — чтобы главные правители здешних дел и народов... всегда просвещаемы были совершенным знанием всего того, что внутри и вне этой обширной губернии для государственных интересов надобно и полезно».

В первой главе второй части «Топографии» Рычков, стараясь словно бы освежить в памяти читателя полученные им в первой части сведения о происхождении Оренбургской губернии, дает более точные ее координаты, сообщает расстояния между населенными пунктами, характеризует социальный и национальный состав жителей. Но все чаще сквозь эти экономико-географические справки прорывается голос публициста, рачительного администратора петровской школы. *«Я не могу удержаться, — пишет он, — чтобы в рассуждении Оренбурга не объявить здесь и сего моего примечания, что для столь великого города, который год от году жителями и строениями умножается, в получении не только строевого леса, но и дров оказываются трудности...»* Подсчитав, сколько леса тратится в год на отопление трех тысяч городских домов и на строительство новых, Рычков призывает ради экономии дефицитного материала запретить деревянные строения и повсеместно использовать кирпич и плитный камень. Низкие и водопоемные места он предлагает занять лесонасаждениями, при этом *«ни труда, ни изжидения жалеть не нужно, но должно иметь благовременное к тому начало и старание».*

В последующих главах второй части «Топографии» Рычков детально описал города, станицы, крепости, построенные на оренбургской, башкирской и казахстанской землях. Рассказывая, как расширились, *«умножились домами и людьми»* заложенные еще Кириловым и Татищевым крепости Нижне-Озерная, Чернореченская, Самарская, Борская, Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская, он описал

также и крепости Закамской линии, сооруженные прежде оренбургских, но утратившие свое первоначальное значение. *«Такие и подобные покинутые строения, — поясняет Рычков, — как бы они в свое время велики и знатны ни были, ежели не останется о них описания, быв долговременно впусе, они оставляют по себе малые только знаки и руины, а наконец и совсем разрушаясь, приходят в забвение, отчего в истории причиняются многие затруднения и несходства».*

Как историк, Рычков понимает, что память людских поколений живет век, лишь закрепленная в слове летописца. Ничто не вечно под луной, «и мы... в неизмеримую пучину вечности зайдём и так удалимся, что и наше, то есть нынешнее время, за древнее будут признавать». Свидетель своего времени, Рычков спешит запечатлеть вокруг себя все, что есть, и то, что было. Легенды, предания, рассказы еще живых старожилов — все нужно, все пригодится для истории.

Описывая Бузулукскую крепость, Рычков замечает, что на этой дистанции встречаются разные признаки старинных жительство. В вершине речки Боровки виден большой земляной вал и развалины кирпичных строений. По преданию, тут был татарский город Аулган, названный так именем жившего в нем Аулган-хана. В самом Бузулуке в разных местах Рычков находил развалины мечетей, откуда бузулукские жители для хозяйственных нужд брали строительный камень. Верстах в тридцати от Бузулука он обнаружил еще одну полуразвалившуюся мечеть и возле нее прекрасные лесные и сенокосные, к хлебопашеству пригодные места. Рычков выражает сожаление, что такие уголья никем не используются и «поныне остаются впусе».

Внимательным взглядом историка и археолога вглядывается он и в останки древних, занесенных пылью столетий селений и городов. По крохам собирает сведения об истории и культуре исчезнувших народов, и мало-помалу выясняется, что, например, близ устья Сырдарьи, где она впадает в Аральское море, стоял город Джанкент. По преданию, жители его постепенно были вытеснены змеями и бобрами (туранскими тиграми), что в несметном числе обитали в прибрежных камышах.

Любопытно сообщение Рыčkова о великом городе Сарачике, стоявшем некогда на берегу Яика в пятидесяти восьми верстах «не доезжая до Гурьева, где ныне яицких казаков форпост». По сведениям казаков-старейшин, город принадлежал когда-то ногайским татарам, о чем свидетельствует и кладбище, где захоронения велись по татарскому обычаю. Для особо знатных людей строились кирпичные палатки, усыпальницы-мавзолеи. Казаки брали из тех полузаваленных земель

сооружений крепкий кирпич для кладки жилищ и печей.

По свидетельству Рычкова, около Уйской линии, как на киргизской, так и на башкирской стороне реки Уя, в разных местах находятся развалины каменных строений, «из которых некоторые поныне еще в цельности». Татагай, Джуван-Ана, Белян-Ана... От этих городов остались лишь торчащие из земли каменные фундаменты.

Понимая, как трудно одному найти и описать все достопримечательности огромного края, Рычков предлагал всем, кто отправляется по служебным надобностям в дальние поездки по губернии, вменить в обязанность вести подробные описания тех мест, то есть доставлять «письменные известия», собрав которые в одну книгу, можно будет со временем создать «полное и достопамятное описание губернии». Проще говоря, Рычков впервые высказывал мысль о том, что историю и географию своей страны должны писать не только ученые, но и простые жители земли, народ.

В пример он приводит служащего губернской канцелярии Якова Гуляева, который, побывав в киргиз-кайсацких степях, помимо служебного доклада, привез еще и описания малоизвестных поселений и останков древних городищ. Примерно в эти же места в 1750 году посылался инженер-подпоручик Ригельман. Осмотрев ханское кочевье на реке Кирасу, что в 150 верстах к югу от Оренбурга, он срисовал там большие каменные строения, наподобие пирамид, которые киргизы называли астанами. В них, по рассказам старожилов, некогда были погребены знатные ханы, одного из которых звали Байтан.

В «Топографии Оренбургской» Рычков описал около двухсот наиболее крупных сел, крепостей, городов, указал точное расстояние между ними, назвал количество домов, церквей, торговых и промышленных учреждений в них, число войск, их охранявших, сословный и национальный состав населения, его основные ремесла, приметы и залежи полезных ископаемых, птиц, зверей, рыб, дороги, реки, горы... Тысячи цифр, сотни названий... Чтобы иметь представление об описательной методике Рычкова, обратимся к его рассказу, например, о Челябинской крепости, которая со всеми прилегающими провинциями входила в состав Оренбургской губернии.

«Челябинская крепость не только между новопостроенными крепостями, но и во всей Исетской провинции есть главнейшее место, ибо тут... находится воевода и провинциальная канцелярия, подушный сбор, духовное правление. Она построена на реке Миас, по течению ее на правой стороне, а ныне на другой стороне дворов со сто построено. Укрепление

ее внутри жила замок, или небольшая крепостца, рубленая с двумя башнями, а вокруг всего жила по обеим сторонам реки обнесено заплотом, рогатками и надолбами, с тремя проезжими башнями. Служивых казаков состоит здесь 354, при которых... войсковой атаман да восемь старшин жительствоуют. Сверх их вместо рассыльщиков канцелярия имеет особую роту. Купечества и записных в цехи по ревизии числится 192 души, крестьян и дворовых людей 196 душ. Церквей две: одна деревянная во имя Николая Чудотворца, другая каменная... Расстояние до настоящей Челябинской крепости от Оренбурга по почтовой дороге 527 версты...»

При описании Уфимской провинции Рычков высказывает любопытное предположение, что много веков назад на месте нынешней Уфы стоял большой город, принадлежащий ногайским татарам. Он тоже назывался Уфой, но по каким-то причинам разрушился, оставив после себя едва заметные следы. Чтобы потомки впредь не затрудняли себя догадками о древних и темных местах истории, важно вести подробные описания здешних мест, остерегаясь того, чтобы «не передать в публику ничего несправедливого и невероятного».

«Топография Оренбургская» заканчивается описанием 28 медеплавильных и железных уральских заводов. С особым уважением Рычков рассказывает о талантливом предпринимателе сибирском купце Иване Твердышеве, который «был тогда невеликий капиталист, но по справедливым и честным его поступкам везде имел кредит довольный», выплавляя на своих заводах по двадцати пяти тысяч пудов чистой меди в год.

Впервые «Топография» была опубликована в 1762 году в журнале Академии наук «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». Затем дважды издавалась в переводе на немецкий язык: в 1771 году в пятом и шестом номерах берлинского журнала Бюшинга «Магазин» и в следующем году — отдельной книгой в Риге. В предисловии к этому изданию «Топография» была оценена «как сочинение, отличающееся превосходными достоинствами», а ее автор «как усердный желатель раскрытия истины». Книга вызвала добрые отклики Палласа, Ломоносова, Шлёцера, Миллера, других ученых, издателей, журналистов.

Но почему же столь ценный, нужный мировой науке новаторский труд много лет пылился в канцелярии Императорской Академии наук, а затем шестнадцать лет пробивался к зарубежному читателю?

Как известно, первую часть «Топографии» (331 стр.) в качестве пояснительного текста Рычков приложил к атласу Оренбургской губернии и 2 февраля 1755 года отправил прямо Ломоносову, с которым незадолго до

этого познакомился при встрече в Петербурге. В сопроводительном письме он просил посмотреть рукопись и «удостоить меня Вашим наставлением, как впредь в продолжении сей первой и при сочинении второй части поступать, чему я по возможности следовать не премину».

Сочинение Рычкова и приложенные к нему ландкарты были рассмотрены на академических заседаниях 31 июля и 2 августа 1755 года в присутствии Ломоносова и рекомендованы к печати. Высоко оценив «Топографию», Ломоносов сообщал Рычкову, «что она от всего академического собрания апробована», и что «приятели и неприятели согласились, дабы ее напечатать, а карты вырезать на меди».

Рычков ответил Ломоносову благодарственным письмом, выразив свою готовность и впредь сотрудничать с Академией наук: *«Весьма я рад буду, ежели найдусь когда-нибудь в состоянии по Вашему, милостивого государя моего, желанию какими-нибудь натуралиями услужить, и не премину то со временем исполнить, чтоб засвидетельствовать Вам искренность и благодарность мою».*

Однако русское издание «Топографии» затянулось почти на семь лет. Основная причина тому — нездоровая обстановка в Академии наук, заполненной иностранцами. По мнению Ломоносова, они всячески препятствовали тому, чтобы в знатные ученые вышли природные россияне. «Какое же может быть усердие у россиян, учащих в Академии, когда видят, что самый первый из них, уже через нации в отечестве и в Европе знаемость заслуживающий и самым высочайшим особам не безызвестный, — писал Ломоносов, имея в виду себя, — принужден беспрестанно обороняться от недоброжелательных происков и претерпевать нападения почти даже до самого конечного своего опровержения и истребления?»

Время шло, но Рычков не терял его попусту. Пока рукопись «Топографии» лежала без движения в Петербурге, он в 1760 году написал вторую часть этой книги и послал ее в Академию наук. Наконец обе части, как уже сказано, были опубликованы в десяти номерах «Ежемесячных сочинений» за 1762 год.

Произведение вышло в свет раньше трудов академических экспедиций 1768–1774 годов в восточные и азиатские регионы страны. Некоторые ученые, участники этих экспедиций (Лепехин, Фальк), с благодарностью отозвались о сочинении Рычкова, во многом облегчившем их работу. Доктор медицины профессор естественной истории, член Российской Академии наук и Римской императорской естествоиспытательной академии Петр Паллас, совершив путешествие по Восточной России и Сибири вплоть до китайской границы, издал 775-страничную книгу: «Физическое

путешествие по разным провинциям Российской империи, бывшее в 1768–1769 гг.». В предисловии к ней Паллас писал: «Мои труды не будут включены в число излишних и бесплодных сочинений, хотя бы еще и больше недоставало в оных трудах красивого слога и другого совершенства... ибо главным свойством описания путешествий почитается достоверность; и я старался по возможности наблюдать оную, не отступая нигде от истины».

И далее: «Вообще должен объявить, что не хотел тратить времени на описание лежащих ближе к главному городу мест, ибо я был бы принужден повторять по большей части известные вещи. По той же причине в описании некоторых стран Оренбургской губернии иногда ссылаясь на достохвальную г. статским советником Рычковым сочиненную Оренбургскую топографию, которая по справедливости достойна быть переведена на другие языки для сведения иностранным...»

Для зарубежных и русских географов «Топография Оренбургская» несколько десятилетий служила образцом при страноведческих работах. Да и ныне действует все тот же сравнительный метод отбора и генерализации фактического материала, который Рычков впервые применил при географических описаниях еще в середине XVIII века.

В предисловии к «Топографии» он скромно заявлял, что поскольку его труд первый в своем роде, то и «от надлежащей исправности весьма еще далеко отстоит». Его мнение о том, что географию страны можно создать, лишь имея обстоятельное описание ее регионов, получит отклик и развитие в суждениях ученых последующих столетий. Так, в 1840 году известный географ и зоолог Эдуард Александрович Эверсманн в книге «Естественная история Оренбургского края» писал: «Покуда не будет у нас издана порознь естественная история разных частей огромной Русской империи, дотоле нельзя и ожидать подобного творения в отношении к целому государству. Да принесет каждый, что у него есть, что успел собрать: я приношу свое. Кому труд мой покажется слишком малым, тот покинь его; надобно было кому-нибудь приступить к началу, каждое же начало несовершенно, и мое, вероятно, также; но оно может быть полезно для появления другого, более полного и совершенного сочинения».

Подобные же мысли выскажет уже в нашем веке видный русский геолог, географ-ландшафтовед Сергей Семенович Неустроев, создатель известных трудов по изучению естественных районов Южного Урала. В 1918 году он писал: «Природа страны, ее естественные условия определяют собой хозяйственную жизнь человека, а через это накладывают отпечаток и на его духовную жизнь. Понять жизнь народа невозможно без

знания природы страны, где он обитает. Это знание дает нам прежде всего географическое описание страны, представляющее сводку всех явлений на земной поверхности в их взаимной связи и причинности. Есть и другая сторона в географическом изучении земли, в настоящее время никто уже не сомневается, что наиболее разумное и плодотворное использование сил природы и победа над ее неблагоприятными сторонами возможны только при тесном знакомстве с нею. Нельзя вести хозяйство, не зная частей, из которых оно состоит...»

Дав высокую оценку сочинению Рычкова, профессор Императорской Академии наук историограф Герард Миллер подчеркнул, что достоверная история и география России создана будет только тогда, когда во всякой губернии найдется человек, прилежанием и искусством подобный Рычкову. Он рекомендовал ученым при страноведческих описаниях пользоваться «Оренбургской топографией» в качестве эталона, ибо в подобных сочинениях она «верною и достаточною предводительницею служить может».

Конечно, Рычкову не всегда удавалось вскрыть причинные связи описываемых историко-географических явлений. Он шел неторенным путем. Свой труд создавал в ту пору, когда географическая наука только зарождалась, когда многие «белые пятна» в ней заполнялись неточными, недостоверными, а подчас просто абсурдными сведениями. Например, в кратком учебнике по географии, вышедшем в 1742 году, разделение Европы пояснялось до смешного упрощенно. «Как разделяется Европа? Наподобие сидящей девицы, у которой: 1. Фонтаж есть Португалия, 2. Лицо Гишпания, 3. Грудь Франция...» Известный ученый Бюшинг в руководстве по географии европейских стран считал, например, что «чем больше земля населяется, тем стужа в ней уменьшается». Подобные толкования о причинных связях в природе наполняли в те времена и книги, и умы людей.

Кстати сказать, в дореволюционной русской науке долгое время бытовало мнение, что до Антона Фридриха Бюшинга в физической географии не применялись описания естественного, промышленного и политического состояния страны. Однако «Топография» Петра Рычкова и «Описание земли Камчатки» Семена Крашенинникова появились намного раньше трудов Бюшинга, прогрессивнее их как в теоретическом отношении, так и в части методики построения, а также органичной связью в них географии с историей, науки с практикой, что опровергает ошибочное мнение о приоритете иностранного географа. Более подробно пишут об этом в своих монографиях советские ученые географы Ф. Мильков и П. Лярский, считая, что «Топография Оренбургская» на протяжении целого

столетия служила непревзойденным образцом для страноведческих работ. Ею пользовались и поныне пользуются ученые, историки, географы, краеведы, писатели, составители различных энциклопедий.

ХВАЛА И ХУЛА

Чем более велик художник, тем сильнее он должен желать чинов и орденов, служащих ему защитой.

Стендаль

Еще до выхода «Топографии» российский читатель знал Рычкова по большим проблемным статьям «Письма о коммерции» и «Письма о земледельстве в Казанской и Оренбургской губерниях», опубликованным в журнале «Ежемесячные сочинения...». В 1759 году в этом же журнале из номера в номер с января по декабрь Рычков печатает свою «Историю Оренбургскую», с похвалою встреченную в читательской публике и особенно в кругах ученых Москвы и Петербурга.

Редактор этого первого в России научно-литературного журнала академик Герард Миллер, он же конференц-секретарь Академии наук, доброй рецензией поддержал первые печатные труды Рычкова и завязал с ним переписку. Чуть раньше Миллер сам выступил в журнале со статьей «Предложение, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве», где он, словно подзадоривая Рычкова, отмечал, что для русских уже наступило время, когда им надобно самим, своими сочинениями опровергнуть ошибки и неверности иностранных писателей о России и что прежде всего необходимо составить по крайней мере краткую русскую историю и географию.

В письме к Рычкову Миллер советовал взяться за составление такой географии, начав ее с описания Оренбургской губернии со всеми ее обстоятельствами. Однако Рычков строже оценивал свои силы и возможности. При его одаренности, знаниях и творческой энергии он, пожалуй, мог бы создать этот капитальный труд. Но у него не было доступа к различного рода географическим материалам, хранящимся в центральных правительственных учреждениях. Сказывались также удаленность от научных центров страны, ежедневная служебная занятость, неодобрительное отношение к его творческим занятиям и успехам оренбургской чиновничьей знати.

Рычкову постоянно напоминали, что наука и литература находятся вне сферы его служебных обязанностей, что занимается он не своим, не

относящимся к канцелярии, а потому-де ненужным делом. Не случайно в своих письмах в Академию наук Рычков неоднократно просил помощи и защиты.

«Критика и негодование, — писал он, — которым новые дела часто подвержены бывают, и у нас в тех моих стараниях нередко самые лучшие случаи из рук у меня отнимают, ибо почитается то иногда за ненадобное, а иногда к должности моей непринадлежащее».

Рычков попросил Академию наук, чтобы она дала знать оренбургскому губернскому начальству, что он выполняет ее научные поручения. «Тем не только б подались мне лучшие и удобные способы все то свободно и охотно исполнять, но и от всякого нареkania и негодования совершенно б уже свободен я был».

Еще Татищев ходатайствовал о приеме Петра Рычкова в почетные члены Академии наук. В 1741 году он хлопотал о награждении его серебряной медалью, а в 1749-м, послав в академию сочинение Рычкова «Краткое известие о татарах», просил принять талантливого историографа в семью петербургских академиков. Но все попытки Татищева оказались тщетными, возможно, потому, что сам он почти всегда находился в правительственной опале.

30 марта 1758 года Миллер на имя президента Академии наук представил прошение, в котором свидетельствовал, что Рычков — «человек такой, от которого Академия вперед может иметь не малую пользу». Но прошение осталось без ответа.

В ту пору положение в свете зачастую определялось не талантом и реальными заслугами человека, а знатностью предков и величиною богатства У Рычкова не было ни того, ни другого. В письме к нему Миллер писал: «Им кажется, что надлежит прежде почтить сим званием некоторых из первейших господ здешних...»

К Рычкову академическая канцелярия имела неписанные, но обговоренные в кулуарах претензии такого толка, что он, мол, не получил систематического образования, значит, латинского языка, философии основательно знать не может. И кому было ведать, с каким упорством и неутоленностью Рычков занимался самообразованием, насколько широк был диапазон его творческих пристрастий. Он имел крупнейшую по тем временам домашнюю библиотеку, состоящую почти из тысячи томов. В ней были книги древнегреческих и византийских писателей, русские и иностранные сочинения по географии, истории и естествознанию, древнерусские летописи. Рычков получал не только отечественные, но и зарубежные периодические издания и, владея голландским, немецким,

латинскими языками, читал корреспонденцию в оригинале, был в курсе международной политической и научной жизни. Он вел обширную переписку со многими учеными, путешественниками, государственными деятелями, такими, как Татищев, Ломоносов, Панин, Миллер, Крафт, ежегодно бывал в Москве и Петербурге.

Так что тень провинциальности, якобы лежащей на творческой деятельности Рычкова, — сплетня, выдумка высокомерных столичных мужей от науки, украшающих ее не столько делами своими, сколько пышными речами, шумным присутствием в ее официальной жизни. Рычков же свою географическую удаленность от научного центра компенсировал неусыпным трудом каждого дня, непрерывно творил и учился. Кое-кто из столичных академиков даже завидовал его насыщенной и сосредоточенной работе в далеком «диком краю». «Имей я клочок земли, которая могла бы меня прокормить, как бы скоро бежал я треволнений здешних», — писал Петру Ивановичу в Спасское академик Миллер.

В ноябре 1758 года академическая канцелярия подготовила повторный доклад о Рычкове. По инициативе Ломоносова при Академии наук впервые было учреждено звание «член-корреспондент», о чем академическая канцелярия торжественно объявила 28 января 1759 года, заметив, что «оним корреспондентам давать дипломы, и начать сие учреждение принятием в такие члены-корреспонденты коллежского советника Петра Рычкова».

Рычков был первым и долгое время единственным членом-корреспондентом Российской Академии наук.

Посылая ему академический диплом, Миллер в сопроводительном письме подчеркивал, что такой высокой почести Рычков удостоен за имеющиеся труды и за то, что впредь будет активно сотрудничать с Академией наук, которая персонально его пока не знает, но приняла в свои члены благодаря ходатайству его, Миллера. Академик умолчал о том, что избрание Рычкова в члены-корреспонденты произошло во многом по инициативе Ломоносова, который, кстати сказать, персонально знал Рычкова и переписывался с ним.

В связи с этим фактом хотелось бы пояснить, что между Ломоносовым и Миллером отношения были довольно сложные. Герард Миллер приехал в Россию юношей и поступил в только что открытую Петербургскую Академию наук. По окончании ее преподавал в академической гимназии, вскоре благодаря протекции И. Шумахера получил звание профессора и стал конференц-секретарем академической канцелярии. Шумахер заведовал канцелярией и типографией Академии наук, имел в ней

огромную власть, хотя, по словам Ломоносова, «будучи в науках скуден и оставив вовсе упражнения в оных, старался» поддерживать свой авторитет при дворе исключительно за счет частных услуг, интриг, разжиганием вражды и розни среди академиков. Поначалу он приласкал молодого и трудолюбивого профессора Миллера, затем оттолкнул, хотя продолжал использовать его для травли Ломоносова. К чести Миллера следует сказать, что он почти девять лет путешествовал в Восточной Сибири, написал «Сибирскую историю», которую академическая канцелярия встретила без особого одобрения: «Большая часть книги не что иное есть, как только копия с дел канцелярских». Не повезло Миллеру и с его речью-диссертацией «О происхождении народа и имени руссов». Его упрекали в том, что «во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может...». Против Миллера выступил и Ломоносов, сказав, что «оной диссертации никоим образом в свет выпустить не надлежит, ибо... многие явные между собою борющиеся прекословные мнения и нескладные затеи Академии бесславию сделать могут...».

Конечно, не все труды Миллера получили такую оценку. Он был по-немецки аккуратным и покладистым тружеником в академической канцелярии, вел обширную переписку со многими русскими и зарубежными учеными, протоколы академических заседаний, способствовал изданию научных трудов своих коллег. Не случайно именно ему было поручено редактирование созданного в 1755 году при Академии наук первого учено-литературного журнала на русском языке «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», к сотрудничеству в котором он привлек многих ученых, в том числе и Петра Рычкова.

Ломоносов критически взирал на некоторые позиции этого журнала, и когда по неосведомленности Рычков прислал ему свою статью «Письма о коммерции» с просьбой опубликовать ее в «Ежемесячных сочинениях», полагая, что журнал редактирует Ломоносов, то Михайло Васильевич пришел в досаду. Он посоветовал Рычкову заниматься не анализом коммерческих проблем, а изучением натуральной истории и все интересные сведения передавать Академии наук.

Из девятилетней переписки сохранились только два письма Рычкова к Ломоносову и четыре письма Ломоносова к Рычкову. С Миллером же Петр Иванович переписывался почти двадцать лет. Миллер писал зачастую на немецком языке, оставляя у себя копии. Бережно хранил он в своем архиве и письма Рычкова, в них содержалась ценная научная информация по

истории, географии и этнографии. Некоторые эти сведения Миллер использовал в своих научных трудах, хотя в целом бережно относился ко всем рукописям Рычкова, охотно предоставляя им страницы журнала. Однако каких-либо дружеских симпатий, показывающих духовное родство этих ученых, в переписке не обнаруживается, поэтому и рассматривать ее следует как деловую переписку Рычкова с конференц-секретарем Академии наук.

Чуть забегаая вперед, хотелось бы заметить, что из оренбургских губернаторов, при которых работал Рычков, благосклоннее всех относился к нему Иван Иванович Неплюев, губернаторствовавший с 1742 по 1758 год. Это было самое плодотворное в творческой жизни Рычкова время. Неплюева и Рычкова объединяли преданность государственным интересам, энтузиазм мироустроителя, любовь к просвещению, хозяйская мудрость. Неплюев всячески поддерживал научные и просветительские устремления Рычкова, уважал в нем разносторонний талант ученого, не предпринимал ни одного важного решения по обустройству края, не посоветовавшись с ним. Не раз приглашал его в поездки в Москву и Петербург, где знакомил с важными государственными лицами и учеными. За усердную службу Неплюев в 1744 году выхлопотал Рычкову землю для поместья, а в 1751 году — чин коллежского советника. С получением этого чина его поздравили при встрече в Петербурге государственный канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и сенатор граф Михаил Ларионович Воронцов.

Радостным возвратился Рычков в Оренбург, где его поджидало огромное горе: в возрасте 39 лет скоропостижно скончалась при родах его любимая жена Анисья Прокофьевна, оставив ему четверых детей. Самому старшему из них, Андрею, было 13 лет. Всего же за восемнадцать лет супружеской жизни у Рычковых народилось одиннадцать детей. Но смерть, как хорек в курятник, повадилась в их дом: за довольно короткое время Петр Иванович проводил на погост семь маленьких гробов. Особенно горько переживал смерть Анисьи Прокофьевны. «Внезапною ее кончиною такую беду и тяжкую печаль я возчувствовал, какой по сие время я во всю мою жизнь не имел, — писал он в своих «Записках». — Она была... добросердечна и весьма человеколюбива, беспомощным и бедным в нуждах по возможности своей помогать всегда старалась. О доме имела попечение всегда лучшее и большее, нежели я, и подлинно за все то, что по смерти ее в доме у себя возымел, ее старанию одолжен, которое все мое о доме нерадение навешала».

Без хозяйки в большом доме с оравой малых детей да при ежедневной службе Петру Ивановичу было невмогуту, и в следующем, 1752 году он

женился на 20-летней дочери капитана-поручика Преображенского полка Дениса Никитича Чирикова. Как покажет время, брак оказался удачным. Несмотря на свою молодость, Алена Денисьевна была хорошей хозяйкой, заботливой матерью, искусной рукодельницей. Она родит восьмерых детей, но, кроме двух девочек и мальчика, все поумирают в младенческом возрасте. Рычков умалчивает о причинах такой высокой детской смертности, только раз называет крапивную горячку. Можно лишь предполагать, что виною всему были инфекционные болезни, против которых медицина того столетия была бессильна.

На дарственной земле Рычков основал в 15 верстах от Бугульмы село Спасское, построив там дом, а затем в 1757 году каменную церковь. Но поскольку основная служба его проходила в губернской канцелярии, то еще в апреле 1753 года он заложил в Оренбурге большой каменный дом, «потому как деревянное строение тут по скудности лесу неспособно и непрочно». 12 декабря того же года губернатор Неплюев на несколько недель уехал из Оренбурга по служебным делам, возложив на своего помощника правление губернской канцелярией и все секретные и заграничные дела, рапортом известив об этом Правительствующий Сенат. «Итак я в сем году имел честь несколько времени всею Оренбургскою губерниєю с подчиненными провинциями один правителем быть», — не без гордой шутки замечает Рычков в своих «Записках».

Из этой же семейной хроники узнаем достоверно о многогранных заботах и интересах его, радостях и горестях, о потерях и удачах. Отцовской болью пронизаны строки внезапной смерти любимого, не прожившего и трех лет сына Ферапонта, который «подавал мне великое утешение и надежду, что будет из него человек достойный... В лице его казалось всегда нечто важное; нередко случалось мне, что я разговаривал с ним и, усматривая в нем смысл и догадку выше его лет и удивительные от него вопросы, радостные слезы имел». Рычков сообщает о женитьбе старшего сына Андрея, о поездке с женой и сыном Василием в Москву, о рождении и смерти дочерей Наташи и Елизаветы... Вереница дней. Частная хроника, за которой почти не прослеживается творческая и научная работа, хотя именно в пятидесятые годы Рычков создает основные свои произведения.

Сверхпредельное напряжение на службе и в творческой работе, следующие одна за другой семейные утраты пошатнули крепкое от природы его здоровье. «Еще в исходе прошлого и в начале сего 1759 года, — пишет Рычков, — от многих канцелярских трудов и беспокойств почувствовал я в здоровье моем против прежних лет великую перемену, и

такую болезнь, каких прежде во мне не было». Рычкова мучили головные боли, флюсы, перепады кровяного давления.

Доктор Андрей Андреевич Риндер вместо каких-либо лекарств предписал ему покой, посоветовал на некоторое время от всех дел упраздниться и пожить в деревне. Докторскую аттестацию Рычков приложил к своей челобитной и послал в Правительствующий Сенат. Вскоре пришла резолюция: Рычкова от заведования Оренбургской канцелярией освободить на один год.

ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ

Хорошая работа всякую должность возвышает.

Башкирская пословица

С надеждой поправить здоровье, отдаться любимым занятиям, подальше удалиться от интриг и злословия недоброжелателей Петр Иванович весной 1760 года вместе с женой и детьми выехал из Оренбурга в Спасское.

Село располагалось в живописнейшем месте. Однако вести праздную жизнь на лоне природы Рычков не мог, не умел. В Спасском он развернул бурную деятельность: выстроил мельницу, пасеку, винокуренный заводик, по разрешению Государственной берг-коллегии неподалеку от села соорудил два ручных горна для выплавки железа и две медеплавильные печи, где начал проводить разные опыты. В декабре состоялась пробная плавка. За девять дней выплавили двадцать пудов черной меди. Цифра, конечно, мизерная. Такое производство могло лишь разорить, а не обогатить хозяина. Но Рычков и не помышлял о нажитках. Ему важно было иметь под рукой базу для проведения экспериментов.

Ни дня не сидит он на месте, в кругу семьи. Ездит, ходит, изучая окрестности, стараясь найти залежи «медных руд и способные под заводы места». По рекам, ущельям и оврагам он собирает различные минералы и отправляет в Академию наук, часть камней опробует на месте, в своих печах. Многие образцы минералов к нему, по его просьбе, приносили крестьяне и приказчики близлежащих деревень. Чуть позже Рычков написал статью «О медных рудах и минералах, находящихся в Оренбургской губернии» и опубликовал ее в Трудах Вольного экономического общества. В ней он призывал исследовать рудные месторождения по своим приметам, потому что иностранные описания «с состоянием здешних мест не во всем сходственны».

Рычков приглашал специалистов осмотреть Уральские горы, Башкирию, «наполненную всяких таинств», а именно — медью, нефтью, каменным углем, газом. Он осуждал рудоискателей, действующих по наитию, по сомнительным приметам, считающих, например, что на рудных местах трава не растет. «Но и таких мест много, — замечал Рычков, — где и травы нет и руды нет». Оспаривал он и тех рудознатцев, что залежи руды

советовали определять по камням на берегах рек, хотя действию текущих вод придавал серьезное значение. Под действием наземных и подземных вод происходят многие удивительные превращения. *«Особливого примечания достойно то, — пишет он, — что в Уральских горах с обеих сторон и в отдалении от них верст на 20 все руды положение свое имеют понурое, склоняясь к горам, из чего есть физическая причина мнить, не бывали ль сии гористые места когда-нибудь плоского и ровного положения и не пришли ль они в нынешнее состояние по случаю землетрясения, которое бывшую ту плоскую поверхность в середине вспучило и подняло кверху, чего вероятность видимое ныне с обеих сторон положение руд подтверждает».*

Это был смелый по тем временам взгляд на природу, поскольку земной ландшафт считали вечным, существовавшим с начала жизни на Земле абсолютно неизменным, раз и навсегда сотворенным Богом. В статье «О медных рудах и минералах» Рычков развил материалистическую идею Ломоносова о том, что мир природы находится в постоянном движении, что дно морское может стать возвышенной горою, а кратер вулкана — дном озера.

Ломоносов с одобрением отзывался об этой крупной работе Рычкова, однако письмо не сохранилось, но содержание известно: Рычков пересказал его в письме к Миллеру. Да и сам Миллер писал ему о добром отзыве Ломоносова, слышанном лично из его уст.

Рычкова не случайно влекли южные отроги Уральских гор, увалы, ущелья и степные речки близ Орской крепости. Именно здесь он чаще всего находил выразительные признаки залегания в земных недрах «великих богатств» и пророчески писал о ближайшем будущем, когда их начнут добывать и использовать. Его разведочные работы могли идти успешнее, имея он специальные инструменты и приборы, которыми вооружены сегодняшние геологи. Но даже располагая примитивной оснасткой, свой поиск Рычков вел все же в точном направлении. Спустя десятилетия именно в этих местах геологи обнаружили крупнейшие залежи медной руды, железа, никеля, нефти и газа. Именно близ Орска сооружены и действуют ныне комбинат Южуралникель, Орско-Халиловский металлургический и Гайский горно-обогачительный комбинаты...

Вслушиваясь в рассказы башкирских старожил, Рычков старался лично перепроверить услышанное. Как-то до него донесся слух о Каповой пещере, находящейся возле реки Белой. И вот однажды морозным январским днем 1760 года Петр Иванович решил осмотреть ее, невзирая на то, что к ней по реке Белой и нигде окрест никакой дороги тогда не было.

«Склонив тутошних башкирцев ласкою и угощением, чтоб верховною своею ездою по глубокому снегу путь мне сделали», Рычков отправился в этот нелегкий путь. Сопровождали его также несколько солдат и заводских служителей. Короток зимний день, маленький отряд торопился. Наконец в тридцати саженьях от берега реки Белой перед ними предстал величественный грот, окруженный со всех сторон высокими горами и утесами, в пологих местах покрытыми сосновым лесом. Вход в пещеру напоминал высокие ворота и был настолько просторен, что позволял продвигаться, не слезая с коней. Навстречу путникам по известковым камням струилась мелкая и узкая речка. Чем дальше отряд углублялся в пещеру, тем речка становилась шире, а свод выше. В одном месте он достиг 18 сажень высоты. Каменный коридор подразделялся как бы на отсеки, большие камеры. Описывая одно из таких подземных помещений, Рычков замечает, «что можно почесть его за такое место, в котором для нужной обороны не одна тысяча вооруженных людей способно стоять может».

Со сводов капала вода, свисали кое-где огромные, толщиной с бревно, прозрачные сосульки. Чем дальше от входа, тем теплее и темнее становилось в пещере. Рычков и его спутники скинули с плеч шубы, слезли с коней, так как путь преградили завалы камней. Зажгли факелы. В одной кругловатой пещере они увидели сухую человеческую голову и много летучих мышей, которые сидели на стенах, «но большее число, как бы прицепившись, висели». Проходы все сужались, и наконец путники подошли к пролазу, одолеть его можно было только ползком. Пролаз вывел к маленькой, тесной камере, своды ее были «облиты каменным соком», всюду капала вода.

Шагами Рычков измерил все пещерные отсеки, описал, из какого грунта они состоят, набрал разных камней, чтобы послать в Академию наук для обследования. О происхождении пещеры Рычков спрашивал у башкирцев, и те отвечали ему, что она творение божье. «Но сие башкирское мнение основано на их невежестве», — заключал Рычков, считая, что в создании пещеры, помимо самой природы, есть доля участия и людей, которые в былые времена не могли не пользоваться таким удобным жилищем, «потому что в нем и в самую жесточайшую стужу такая натуральная теплота, какой в топленых зданиях не бывает, а летом, как сказывают, никакая воздушная жара там не беспокоит». Во время башкирских восстаний пещера действительно становилась надежным убежищем для мятежников, там они укрывались вместе с женами, детьми и даже скотом, благо что в ней имелась чистая вода и свежий воздух.

Творческие занятия всецело захватывают Рычкова, мысль о

возвращении в губернскую канцелярию уже не занимает его. Привыкший выкладываться на государственной службе во всю силу, он откровенно признается, что «с таким прилежанием и успехами, как прежде, службу мою продолжать не в состоянии, поэтому прошу от дел отставки и увольнения вовсе».

По убеждению Петра Ивановича, служить нужно честно, отлично и никак иначе. Но он не был узколобым чиновником, у которого обычно вся сила и авторитет — в служебном кресле. Стоит такому креслу потерять, и сразу же он как бы выбывает из жизни, хотя физически продолжает существовать. Но никому не интересен как человек, ибо без служебного портфеля он пуст, безлик, бессилён. Такова судьба всякого стоящего у власти чиновника, администратора-обывателя. Иное дело — человек одаренный, творческий. Авторитет его держится на широте и глубине ума, доброте поступков, на умении толково работать. Ему прежде всего нужна свобода.

Чтобы не разрываться между канцелярской службой и наукой, Рычков в январе 1760 года едет в Петербург и подает в Сенат челобитную, в которой перечисляет все трудные этапы своей почти 30-летней службы и просит уволить его по состоянию здоровья навсегда.

Домочадцы по-разному расценили намерение Петра Ивановича порвать с канцелярской службой. Жена, Алена Денисьевна, заботясь более о здоровье мужа, нежели о материальном достатке семьи, одобрила его решение. Старший сын Андрей, являсь на побывку, с горячностью молодого офицера возражал:

— Вы завсегда напутствовали нас, дабы мы службой себя показывали, ибо честь и слава не от природы даются. Отойдя от службы, чем вы, отец, полезны Отечеству станете?

— Нынешняя служба моя Отечеству менее ценна, нежели мои сочинения. Мой старый наставитель, недавно почивший Василий Никитич Татищев, побыв во многих чинах и рангах, лишь душу и здоровье расстроил. В пример мне ставил он Петра Первого, который великолепие свое единственно делами показывал, а разных придворных чиновников презирал за их лень, сплетни, косность и за то, что угодничеством ищут свое благополучие приобрести. Красит ли человека такая нынешняя служба?

— Но именно за усердие в службе пожалован я в офицеры, хотя породой своей мало знатен.

— Тебе, сын, воинская служба весьма кстати, поскольку иными занятиями ты не обременен. Что же до знатности нашей породы, то лишь

та знатность, по разумению моему, предпочтения достойна, которая с заслугами. Отечеству, с достоинством и добродетелями соединена... Вам, дрожайшие мои дети, предками своими тщеславиться нельзя и не должно, однакож, и стыдиться причины нет, хотя бы кто по неведению подлостью вас попрекнул. Меня и самого тем безрассудные люди попрекали, но вскоре же, устыдясь, отходили. И теперь, уповаю я, учеными занятиями своими больше пользы Отечеству принесу, нежели суетными хлопотами в канцелярии.

Отпустить добросовестного, энергичного администратора, хорошо осведомленного во всех делах и истории громадного степного края, Сенат посчитал нецелесообразным. И хотя на руках у Рычкова имелось заключение оренбургских врачей, его повторно обследовали петербургские доктора медицинской канцелярии и подписали аттестат, коим службу по общему для всех регламенту признали его неспособным продолжать. Но и после этого освидетельствования Рычков 15 февраля был представлен на смотр Правительствующему сенату, где некоторые господа сенаторы высказывались за то, чтобы вместо окончательной отставки уволить Рычкова лишь на некоторое время для поправки здоровья. Другие предлагали оставить его при Сенате в Комиссии по торговым и дипломатическим делам, обещая за это высокое материальное пособие.

Рычков стоял на своем. *«Видя, как в том, так и в другом по моим обстоятельствам крайнюю неспособность и не желая быть в высших чинах, всячески старался оное отвратить, предпочитая полезнейшим для себя то, что служивши сие время безпорочно и благополучно получить от всех дел точное увольнение... И так с немалым трудом и прошением едва оное превозмог и довел до того, что 21 числа сего же февраля определено отставить меня от всех дел, а за службу мою о награждении меня чином статского советника подать Ея Императорскому Величеству доклад и требовать на то всемилостивейшего указа»*, — писал он в автобиографической хронике.

Обращаясь к своему петербургскому коллеге, Петр Иванович сообщал, что уволился со службы сначала для рекреации и излечения болезней на год, а затем и вовсе, «чем не мало порадован, ибо, с одной стороны, здоровье мое подлинно слабо, а с другой — желалось мне от сует и хлопот поотдалиться и пожить с покоем, а затем и в Санкт-Петербурге побывать... и полезную корреспонденцию продолжать, но доставлять ее еще и лучшим способом...».

Рычков желал сосредоточить силы для более высокой по уровню литературной и научной работы. Для чего нужны были несуетные дни,

уединение, тишина в сердце.

ОБОДРЯТЬ ПУБЛИЧНО ПОХВАЛОЮ

Без хозяина земля круглая сирота.

Народная пословица

— Торговля — главное дело людей во всяком государстве, — эту мысль не раз Рычков утверждал в беседах и в своих ранних статьях о коммерции.

Теперь же он начинает размышлять иначе.

В своих широко популярных в то время «Письмах о земледельчестве в Казанской и Оренбургской губерниях», он основным двигателем экономической жизни называет хлебопашество.

«Для крестьянства и для всего общества никакой промысел и никакое ремесло столь полезно и прибыточно быть не может, как земледелие, ибо оно против употребленного капитала не только вдвое, втрое, впятеро, но иногда и вдесятеро прибыли приносит, с той токмо разностью, что бываемая при земледелии работа против других промыслов и ремесел несравненно труднее и тяжелее, и сие то часто бывает у нас причиною, что многие из крестьян, а особливо склонные к праздности и лености, удаляясь от земледелия, вступают в торги и ремесла, от которых им весьма мало пользы, а обществу никакой прибыли нет».

С укором смотрит Рычков на сельских жителей, которые не только зимою, но и летом под предлогом разных пустых занятий уклоняются от земледельческого труда, то ли пробавляются рыбной ловлей, то ли за гроши скоморошничают на ярмарках, то ли ищут большого заработка на рудниках. С досадой и огорчением Рычков пишет о нерадивых крестьянах, неисправимых лентяях и тунеядцах. Особо зlostных он советует ссылать на поселение в отдаленные места, а рачительных, трудолюбивых всячески поощрять. «Отменного прилежания людей к землепашеству и скотоводству должно принимать с ласкою пред прочими, и таковых крестьян, которые в оном искуснее и трудолюбивее, ободрять публично похвалою... и в случае рекрутских наборов детей и братьев их отнюдь не отдавать, хотя бы за их домом и очередь была».

Рычкова возмущала уравниловка в оценке труда землепашцев, «когда бедные или, справедливо назвать, ленивые не заплатят государственную подать, то оную собирают с исправных, и тем самым добрые поселяне

огорчаются, а ленивым дают повод больше лениться».

Мудры и укорны вопросы Рычкова: *«Когда неоспоримые опыты всех веков, когда примеры всех народов, когда повествования всех государств научат нас, что наивеличайшие прибитки происходили всегда от доброго земледелия?»* И сам ищет на них ответ: *«Не возможно, чтоб всяк, усердствующий о пользе своего Отечества, не старался ублажать земледельцев и землю»*. Добрые урожаи она способна давать лишь при усердной заботе о ней. Как бы хороша земля ни была, но *«выпахиваясь, лишается растительной силы»* и нуждается в удобрениях. Рычков дает обстоятельные рекомендации, где лучше сеять хлеб: *«К распашке и плодородию почитаются места ровные и небольшой скат, или склонение к полудню имеющие, однакож, и в дубравах, на высоких местах, т. е. перелесков, посеянный хлеб часто удаётся, а паче в те годы, когда дождей мало случается. К тому же в таких местах и от морозов бывает он безопаснее»*.

По мнению Рычкова, бережного отношения требует не только земля, но и сами хлебопашцы. Между тем, замечает он, есть такие строгие приказчики, *«что крестьянам своим одного дня на себя работать не дают... а употребляют их без изъятия на господские работы повседневно»*. Заботой о простых людях села продиктовано и такое предложение Рычкова: *«У нас в крестьянстве издавна и во многих местах есть обычай малолетних робят женить на возрастных девках»*. Такие свадьбы, кроме вреда, ничего принести не могут, поэтому допускать их не следует. Надо присматривать также за тем, чтобы молодые люди в возрасте свыше 20 лет холостыми не шатались. При этом Рычков делает такое примечание: *«Но понадобится оженить кого из бедных, такого на сей праздник для варения пива ссужать господским солодом, ежели ж для пашни и для конных работ нет лошади, то надлежит ему дать господскую лошадь, можно и корову с овцой, чтобы он в состоянии был господские и свои работы... исправлять и с женою своею пропитание иметь победное»*.

При благосклонном отношении к своим крестьянам Рычков по положению оставался помещиком-крепостником. Однако это не мешало ему критически оценивать представителей своего сословия. Он с симпатией вспоминает о помещиках петровского времени: те несли обязательную государственную службу, одновременно исправно занимаясь земледелием. Теперешние же поместные дворяне, особенно молодые, хозяйствуют на земле без усердия, каждый считает за честь построить в деревне большой дом, оснастить его богатой мебелью, набрать побольше прислуги и вести праздную жизнь, безмерно угнетая своих крепостных

людей.

Помещики продавали и покупали целые семьи крестьян, хотя еще Петр Первый незадолго до своей смерти высказал пожелание внести в закон статью, запрещающую розничную продажу людей, «яко скотов, чего во всем свете не водится».

Однако все осталось по-старому: на своих крепостных помещик смотрел как на товар, как на живой инвентарь своего хозяйства. Пределы власти земледельцев-управителей над своими управляемыми хотя и устанавливались указами и законами, но все они не ущемляли, а, наоборот, расширяли права душевладельцев. В старом Уложении, составленном при Петре Первом, говорилось, что помещик, который «сам накажет своего крепостного за разбой, не представив его на губной суд», лишается поместья или подвергается наказанию кнутом. Там же записан был закон о том, что помещика, от побоев которого причинится смерть крестьянину, надлежит предать смертной казни. Но история крепостничества почти не оставила свидетельств таких казней. Известен лишь пример с помещицей Дарьей Салтычихой, привлеченной к ответу за то, что в своем подмосковном селе Троицком она устроила для крепостных людей настоящую тюрьму, где зверски мучила их. Умертвив 38 человек, Салтычиха двадцать раз предавалась суду, но откупалась взятками. Наконец по указу императрицы эта «мучительница и душегубица» была посажена в подземную темницу женского монастыря.

Крестьян до смерти забивали розгами, отдавали в солдаты, ссылали на каторгу. Не вынося кабалы и насилия, крепостные люди бунтовали, а чаще всего бежали с родных мест. Бежали семьями и даже целыми деревнями. Суды были завалены исками о беглых, указами о новых и новых устрашающих наказаниях за побеги.

В правительстве, однако, не могли не понимать, что ни кнут, ни каторга не усмирят задавленных барщиной крепостных крестьян, что превращение их в рабочий скот несет государству только вред, ибо дело доходит до того, как выразился один министр, что скоро «взять будет не с кого ни податей, ни рекрутов, что если без армии государству стоять невозможно, то о крестьянах надобно иметь попечение, потому что солдат с крестьянином связан, как душа с телом, и если крестьянина не будет, то не будет и солдата».

В Правительствующем сенате, конечно же, тревожились не о судьбах крепостных, а более о существенном уроне, наносимом земледелию от их нерадения и частых побегов, отчего «земля впусте пропадала». Но правительство страшилось дать крестьянам свободу, хоть в какой-то мере

раскрепостить их.

22 августа 1767 года Екатерина II издала указ, который гласил, что если кто «недозволенные на помещиков своих челобитные наипаче ее величеству в собственные руки подавать отважится», то и челобитники, и составители челобитных будут наказаны кнутом и сосланы в Нерчинск на вечную каторгу.

Указ лишал крестьянина права жаловаться на помещика ни при каких обстоятельствах.

Крепостное право развращало и самих дворян и помещиков, подрывало их землевладельческое положение. В петровское время свои привилегии и разные преимущества они как бы оплачивали многолетней военной и гражданской службой, для чего обязаны были приобретать необходимые для этого юридические, экономические, политические, военные познания, учить тому же своих детей. У дворян и помещиков были строго регламентированные обязанности перед государством. Освободившись же в начале царствования Екатерины II от обязательной службы, они почувствовали себя на таком бессрочном досуге, стараясь заполнить его, по замечанию одного историка, плодами чужих умственных и нравственных усилий, цветками заимствованной культуры. Повзрослел спрос на изящные украшения быта, на эстетические развлечения. И если вступление на престол императрицы Елизаветы было концом немецкого владычества при русском дворе, то при Екатерине II расцвело влияние французское.

Повсюду стали внедряться французские костюмы, манеры, вкусы, моды, литература, театр и язык, увеличился наплыв французских учителей — гувернеров. По воспоминаниям смоленского дворянина, бывшего воспитанника губернского пансиона, «всего успешнее преподавался французский язык, потому что воспитанникам строго запрещено было говорить по-русски; за каждое русское слово, произнесенное воспитанником, его обзывали ферулой из подошвенной кожи».

Упал престиж технического и вообще научного образования. Открытые Петром Великим в Москве и Петербурге две навигационные академические школы, куда по строгому указу о воинской повинности набирались дети помещиков и дворян, потеряли свое прежнее значение и влачили жалкое существование, ибо поступать в них было некому: дворяне не желали давать своим детям навигационного и артиллерийского образования, все воспитание возложили на домашних педагогов-иностранцев.

Печальную картину являли собой и основные высшие

общеобразовательные и просветительные учебные заведения, такие, как Академия наук, Московский и Петербургский университеты, где, по словам, Ломоносова, «ни образа, ни подобия университетского не видно». Преподавание шло на низком уровне, лекции читались на французском или латинском языке. В столичном обществе в ту пору наиболее популярным типом великосветского кавалера был молодой человек без определенных занятий и цели, воспитанный по-французски, презиравший все русское, в том числе науки, гражданское и техническое образование, изящный и ловкий ухажер, постигший, что по светским законам в танцующем кавалере ума не полагается.

В январе 1763 года Рычков, находясь в Москве по делам, «имел счастье быть у руки Ея Величества», видеть блеск и роскошь царского двора. Не только сенаторы, придворные вельможи, но и многочисленные слуги были облачены в дорогую, сшитую по французской моде, одежду. Мужчины носили льняные белые рубашки, шелковые или атласные камзолы, парчовые либо бархатные кафтаны, белоснежные батистовые галстуки, повязанные вокруг шеи, короткие узкие штаны, белые чулки и кожаные башмаки на высокой подошве. Благодаря корсажам женщины имели осиные талии, носили пышные куполообразные юбки, распашные платья, кружева. Прическу делали высокую, из собственных или искусственных волос. Для мужчин был обязателен парик, как и шпага, выглядывавшая из бокового разреза левой полы кафтана. На дамах, сравнительно даже невысокого звания, бывало брильянтов и золота тысяч на десять-двенадцать. Одежда иных царедворцев ослепляла блеском золота, серебра и драгоценных камней.

Дорогими украшениями блистали экипажи, упряжи лошадей; внутренние стены дворцов и домов отделывались шелковыми или позолоченными обоями, обставлялись заграничной мебелью, множеством зеркал. Вельможи состязались в роскоши своих жилищ и нарядов, более почитаемыми в обществе оставались те, у кого эти уборы были богаче.

Теми же канонами жила и армия. Генеральские и офицерские мундиры шили из дорогих и красивых тканей. Старший сын Рычкова, Андрей, пожалованный чином капитана за храбрость при взятии русской армией Берлина, в дни отпуска рассказал отцу о том, с каким блеском проводятся военные парады, как роскошно обставляют военачальники даже свой походный быт. Личный обоз генерала обычно насчитывает более пятидесяти подвод. Русская армия в 80 тысяч человек во время похода имела 90 тысяч повозок обоза.

В своих «Записках» Петр Иванович засвидетельствовал, что 1 февраля 1763 года он с женою «имел случай быть при дворе в маскараде». Об этих еженедельных балах-маскарадах он был наслышан, знал, что проводятся они в огромном зале, где при сиянии десяти тысяч свечей одновременно танцуют более тысячи гостей, императрицей лично приглашенных. По заведенному еще при Елизавете обычаю молодые мужчины переодевались в женское платье, а женщины — в мужское. Пожилые люди пользовались лишь масками. Подобные балы-маскарады устраивались и в Оренбурге, бывать на которых вечно занятый Рычков особо-то не стремился. На придворном маскараде он участвовал впервые, потешая в основном свое честолюбие и огромное любопытство своей молодой жены, Алены Денисьевны. Рычков скупно отзывался о маскараде, который, видимо, не понравился ему. Он увидел людей, для которых досуг, времяпрепровождение стало самоцелью, а не отдохновением после серьезного труда.

Екатерина II в своих «Записках» словно бы предварила его мысли. *«Москва — столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого, — писала она незадолго до своего Восшествия на престол. — Дворянству, которое собралось в этом месте, там нравится; это неудивительно; но с самой ранней молодости оно принимает там тон и приемы праздности и роскоши... Они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскаться целый день в карете шестериком, раззолоченной не в меру и очень непрочной сработанной, этой эмблеме плохо понимаемой роскоши, которая там царит и скрывает от глаз толпы нечистоплотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью и всякими нечистотами, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащат шесть скверных кляч в грязной упряжи, с нечесаными лакеями в очень красивой ливрее, которую они безобразят своею неуклюжею внешностью. Вообще и мужчины, и женщины изнеживаются в этом большом городе, они там видят только пустышки и занимаются лишь пустышками, которые могут опошлить и самого выдающегося и гениального человека».*

Досаду, недоумение и разочарование вызывали в Рычкове поведение многих помещиков соседних усадеб, их общественное безделье, полное безразличие к земледелию, праздность, пышные балы, гулянья, кавалькады... В своих статьях он напоминает о добрых традициях, когда земледелие процветало и «самые лучшие люди считали за честь умножать оное, поощрять к тому крестьян, а притом и жили в деревнях своих

умеренно и бережно».

Крепостное право же отбило у помещиков охоту заниматься земледелием, улучшать способы обработки почв, радеть о прибылях, копить оборотный капитал, потому что все материальные потребности они могли удовлетворить и за счет барщины и оброка.

Правительство, однако, не желало признавать, что крепостное право — тормоз в развитии народного хозяйства, хотя и искало причины этого торможения. В 1765 году в Петербурге во главе с князем Григорием Орловым образовалось Вольное экономическое общество, решившее изучить сельское хозяйство и посодействовать его оздоровлению. Оно имело свое издание, так называемые «Труды». Общество начало свою работу с того, что разослало во все губернии специальную анкету из 65 вопросов и вскоре получило отклики-ответы ученых, чиновников, губернаторов...

В седьмой части «Трудов» за 1767 год была опубликована 100-страничная статья Рычкова под названием «Ответы на экономические вопросы, касающиеся до земледелия Оренбургской губернии». В ней он описывает зоны наиболее плодородных земель Восточной России, дает сравнительные данные черноземного слоя в разных провинциях, сведения об урожайности яровых и озимых культур.

На третий вопрос анкеты: «Много ли сеется пшеницы и для каких причин земледелец не прилежит к размножению оной?» — Рычков отвечает, что пшеницы сеют меньше, нежели ржи и овса, потому как рожь нужнее всякого другого хлеба, прочнее в зернах и муке. *«Ржаной хлеб пред пшеничным почитают они (местные жители) за здоровейший. Уважают еще и то, что рожь в солоде годится лучше, нежели пшеница, и варение пива и квасов без ржаного солода хорошо и здорово быть не может; да и на винокуренных заводах ржаной солод и ржаной хлеб за самый лучший почитается».* Пшеница же требует от земледельца двойного труда и присмотра. Землю под посев пшеницы нужно дважды обрабатывать: пахать и бороновать. К тому же для сева пшеницы нужна новая распашная земля, ибо по снятии трех или четырех урожаев поле начинает зарастать сорняками, а зерно становится хуже. *«По сим обстоятельствам, — заключает Рычков, — не трудно понять: может ли у нас пшеничный сев размножен быть сверх нынешнего без оскудения в другом, хотя б и на всяком месте удобность к нему была?»*

Для получения высокого урожая, по его мнению, нужно прежде всего старание и любовь землепашца, умелое пользование посевными площадями, умеренный их полив, подкормка органическими удобрениями,

в основном навозом. Рычков приводит пример: один хозяин добился на своих полях богатых урожаев за счет того, что скотину в кардах держал на поле — по четыре дня в каждой, потом ограждение переносил на новое место, и так все поле удобрил, даже не вывозя на него специальную подкормку.

На вопросы о том, как живут сельские люди, какие, кроме земледелия, имеют промыслы, чем заняты в зимнее время, каких нравов и обычаев придерживаются, Рычков дал такие обстоятельные ответы, что и через двести с лишним лет читаются ныне с неослабным интересом.

Этот интерес объясняется, пожалуй, тем, что о быте и нравах некоторых народностей и национальных меньшинств, населяющих наше государство, мы имеем смутные или ординарные представления: одна республика от другой отличается такими-то географическими и историческими достопримечательностями, таким-то земледельческим и промышленным профилем, такими-то достижениями в экономике, литературе и искусстве, такими-то промыслами и т. д. Но мы приучены избегать конкретных дифференцированных характеристик представителей той или иной национальности, видимо, из-за деликатности или из-за опасения, как бы не унизить национальных достоинств одного народа и не превознести достоинства другого. И если сегодня спросить у вполне образованного человека, чем, к примеру, татарин отличается от калмыка, мордвин от чуваша, грузин от азербайджанца, то от многих вряд ли услышишь вразумительный ответ. Скорее всего прозвучит какой-нибудь анекдот или встречный недоуменный вопрос: «А зачем и кому это надо?.. У нас все народы равны между собой, все одинаково трудолюбивы и талантливы, поэтому и нечего выяснять, кто есть кто».

В иные же времена, когда русское государство только еще формировалось путем слияния множества разных народов, гражданское, социальное, этническое и военное любопытство их друг к другу было острее и ярче нынешнего. Серьезное, дотошное внимание, к примеру, русских к инородцам, подчас критическая оценка некоторых их обычаев заключали в себе куда меньше неумышленного шовинизма, нежели наше сегодняшнее казенно-поверхностное, невилированное, в рамках конституционных сентенций представление об этих народах-братьях.

Репортажная достоверность, добрая любознательность, историческая объективность, с которыми Рычков описал жизнь многонационального края, малая осведомленность об этих его сочинениях современного читателя предполагают дополнительное цитирование их. Вот как, например, рассказывает он о киргизах: *«От натуры они гораздо*

смышленнее и острее, нежели башкирцы; соблюдают опрятность и самое щегольство в своих нарядах... В пище очень они умерены: самая лучшая их еда — мелкорубленное баранье мясо; пьют воду и молоко, а летом больше кумыс, делаемый из кобыльего молока. Прежде никакой хлебной пищи они не знали, но ныне на зимнее время запасают просо, пшеничную муку и пшеницу, которую варят и жарят в масле. По сей их привычке и по склонностям их в жизни можно надеяться, что со временем они гораздо полюбуют и прежнюю дикость (кочевание. — И. У.) оставят. Болезней в них случается очень мало: многие доживают до глубокой старости, не имев никакой почти болезни. В 70, в 80 и в 90 лет старики не редко у них случаются, которых по наружному их виду за столь старых почесть не можно. Может быть, причиною тому самая легкая и умеренная их пища».

Рассказывая о башкирцах, Рычков находит, что «разность натур и нравов их с киргизцами легко можно заметить, когда те и другие в одном месте случаются. Киргизец, будучи лаком, старается получить подарок сукном, или чем другим, а иногда и с бесстыдством того просит. Но башкирец довольствуется хорошим приемом... и похвалою его службы. Что же до житья их надлежит, то большая часть из них живет гнусно. Пища их самая простая и худая: питаются больше мясною похлебкою, в которую малое число круп положено: а летом пьют кумыс, с которого бывают они весьма жирны, и живут в великой праздности. Многолетних стариков между башкирцами не столь много, как в киргизцах: они хотя и моложавы бывают с виду, но весьма мало у них таких, кои свыше 70 лет живут».

Ценнейшие наблюдения Рычкова о служивых, торговых и ясачных татарах, составляющих значительную долю населения Южного Урала и Поволжья. Татары не менее честолобивы, чем башкирцы, дорожат похвалою в свой адрес, но в отличие от последних живут и содержат себя гораздо чище и богаче. Для выезда в город, на базар, в гости имеют крытые коляски или простые тележки-таратайки. Платье носят из хорошего сукна, а на голову надевают легкие колпаки, украшенные старыми серебряными копейками. В разговорах смелы, дерзки и чвановаты, но не всегда и не со всеми. К знатым людям они ласкательны и приветны. Татары не очень крепки на слово: пообещав, могут не исполнить. Они весьма сведущи и проворны в земледелии и торговле, тянутся к грамоте. Почти в каждой татарской деревне дети, мальчики и девочки, обучаются татарской грамоте, собираясь в каком-нибудь доме. Более состоятельные родители отдают своих детей в русские школы. Весной, по окончании сева, татары отмечают традиционный праздник сабантуй, разнообразно веселятся, устраивая

конные состязания, соревнования по борьбе, поют, танцуют и пляшут. «И хоть есть между ними такие, кои пьют горячее вино, но весьма редко к пьянству склонные у них находятся».

Чуваши, черемисы, мордва, вотяки представлены Рычковым как умелые земледельцы, хотя некоторые из них отмечены недоброй склонностью бросать землю и уходить на заработки в города или на заводы, в рудники. «До употребления вина как мужики, так и бабы великие охотники, а особливо тогда, когда уберут они с поля хлеб, то варят весьма крепкое пиво, ездят один к другому и продолжают то почти во всю осень».

Рычков не без одобрения отмечает, что хотя сельские люди много работают, живут в постоянной нужде, однако умеют при случае хорошо повеселиться. Не только каждое село, но и всякая деревня имеет свой собственный праздник, находя для него всякий повод. Люди съезжаются из нескольких деревень и гуляют по два-три дня кряду. *«Есть у них еще и попойка, но с делом сопряженная, называемая помочь, коя обыкновенно делается между ними во время жнитва, к чему крестьянин, изготовя пиво и всякого съестного, зазывает на свои десятины соседей, которые во весь день на него работают, помогая ему в жнитве. Случаются здесь такие помочи, что человек 50 и больше на одной бывает. Обедом кормят хозяева всех досыта, а поят столько, чтоб не очень опьянились. Но под вечер обыкновенно ж по захождении солнца придя со жнитва к хозяину на двор, сперва ужинают, а потом пьют пиво, кто сколько хочет, пляшут и веселятся по желанию»*, — пишет Рычков, одобряя артельный труд, советуя жителям сельским и впредь таким способом взаимовыручки помогать друг другу, особенно в малочисленных семьях.

Как известно, Москва была окружена непроходимыми лесами, а Петр Первый издавал указ за указом о сбережении лесов. В 1701 году он отдал распоряжение «О нечистке под пашню лесов по рекам». Указом от 1705 года он запрещал «рубить заповедные леса без челобития», то есть без особого разрешения правительства, в 1713 году издал указ «О делании поташа из сучьев деревьев, негодных на корабельное строение». Ради сбережения леса Петр Первый пресекал даже непререкаемую по закону и набожному чувству волю русских покойников, любивших ложиться на вечный покой в цельных выдолбленных гробах, дубовых или сосновых.

«Всяк удобно видит и понимает, что от недостатку лесов жизнь наша подвержена будет великим трудностям, а в случае неимения их и самым бедственным приключениям», — пишет Рычков в своей обширной статье «О сбережении и размножении лесов». Он предлагает поставить лесоведение на научную основу и конкретно подсказывает, как это сделать.

Прежде всего нужно собрать сведения о семенах каждого дерева, о том, как и где оно растет, о его вредителях и болезнях, изучить возможности каждой древесной породы, дать ей биологические и деловые характеристики. То есть составить пособие для лесовода и разослать по всем губерниям. Рычков подробно описывает наиболее ценные лесные породы, такие, как дуб, сосна, ель, липа, береза, вяз, ветла, осокорь, называет способы борьбы с лесными пожарами, чистки и охраны леса. В степной местности он предлагает разводить ветлу, клен, березу, тополь как наиболее неприхотливые, хорошо переносящие мороз и засуху деревья. «Весьма б хорошо и полезно было, — подсказывает он, — ежели б крестьяне наши сей скоро принимающийся лес приучены были сажать около своих домов и огородов, который, усилившись в росту, может служить защитой и готовым прутьем к деланию плетневых загоронок вместо нынешних заборов, на что у нас великое множество всякого леса употребляется».

Хозяйский взгляд Рычкова примечает, например, что лапти, изготавливаемые крестьянами из липового лыка, менее выгодны как обувь, нежели изделия из кожи. Он ссылается на башкирцев, которые лаптей не носят, а употребляют обувь кожаную сырую или самой простой выделки, наподобие сапогов, «и всякая кожа, то есть коровья и конская, на то у них годится. Сия их простая обувь гораздо крепче, покойнее и зимой теплее, нежели лапти». Рычков с огорчением замечает, что говяжья, козья и овечья кожи в домашнем хозяйстве крестьянина зачастую пропадают. В то же время крестьяне едут в лес и с сотен деревьев дерут на лапти лыко.

Рычков называет и волосенки из конского волоса — дешевый и экономичный вид обуви, который «везде есть и за неупотреблением втуне остается». Он сетует на то, что население с трудом отлучается от привычных своих ремесел, «застарелых обыкновений» и неохотно переходит к новым способам труда и быта.

Хозяйственность, бережливость Рычкова нынешнему читателю покажутся, пожалуй, излишне щепетильными: даже лыко на лапти ему, видите ли, жалко! Поглядеть бы рачительному Рычкову на сегодняшнюю нашу бесхозяйственность: тысячи кубометров древесины гниют в лесных завалах, на дне рек, заражая воду, потому как валят леса намного больше того, что успевают убрать, сплавить, переработать. Непонятным, неслыханным преступлением объявил бы он действия удалых строителей-бамовцев, сжегших миллионы сосен при прокладке в нехоженой тайге известной железнодорожной трассы. А как бы оценил он, будь жив, закосневшую на целое столетие практику использования деревянных шпал на тысячекилометровых рельсовых дорогах мира?..

Особенно волновали Рычкова малолесные степные районы, где он советовал сажать лесополосы и полностью отказаться от каких-либо лесозаготовок. Он требовал также запретить степные палы, к которым деревенские жители пристрастились. Для улучшения почвы и пастбищ крестьяне в весенние и осенние дни поджигали степь, и когда такая сушь сильным огнем разгорится, «обыкновенно почти наступает ветер, который, усилившись, по сухой траве огонь раздувая, столь сильно гонит, что и на лошади скачущий человек убраться от него не может, и на степях иного почти спасения нет, как разве прямо через огонь перескочив, оставить его позади себя... От таких пожаров часто целые деревни, великие леса, а иногда и люди, идущие по небольшим дорогам, сгорают». Во времена Рычкова дорог в степи и тем более пашен было мало, и степной пожар, не встречая на пути никаких преград, действительно представлял грозную опасность. Подчас он обнимал весь видимый горизонт, шел огненным валом шириною в 20–30 километров, уничтожая в степи рощицы, перелески, травы и всю наземную живность. Рычков настаивает, чтоб «онное зажигание запретить; для улучшения ж земли помышлять о других способах». Он ссылается на крестьян своего имения, у которых и без употребления палов «хлеб родится не хуже других мест, и в травах оскудевания не бывает». Точку зрения Рычкова на палы, как на примитивный способ улучшения плодородия почв, впоследствии разделили советские ученые Л. Родин и Е. Лавриенко, отметив, что «палы являются, несомненно, весьма экстенсивной формой улучшения степных пастбищ», что применять их можно лишь с крайней осторожностью и не повсеместно, а выборочно: если для казахстанских степей палы иногда, в определенных регионах, допустимы, то в лесостепной зоне они могут принести только вред.

В 1745 году Рычков предложил засеять южные знойные равнины близ Оренбурга хлопчатником. Ранние осенние заморозки погубили посевы. Следующим летом Рычков раздобыл семена хлопчатника и поручил одному садоводу посадить их на опытном участке. Опыт не удался. Зная, что родина хлопка — жаркая Индия, Рычков тем не менее считал, что в южных зонах Оренбургского края не менее жарко. Значит, дело не в климате, утверждал он, а в неопытности садовника. Рычков приглашает из Средней Азии специалистов-хлопкоробов и опыты по акклиматизации хлопчатника советует повторить в южных провинциях губернии. Не вдруг земледельцы Южного Урала кинулись распространять теплолюбивое растение, но практический интерес к нему проявили, особенно садоводы Прикаспийской низменности. Мало-помалу хлопчатники вскоре прижились

в Крыму и по южным границам Ставрополя.

Весной 1748 года Рычков возле татарской деревни Тонкино, что в тридцати верстах от села Спасского, обнаружил залежи каменного угля. Слоеватая материя с виду была похожа на уголь, хорошо горела на огне. Лежала та черная материя пластами аршина на три под поверхностью земли. Набрав ее около десяти пудов и доставив на телегах в свое имение, Рычков самолично начал испытывать ее на огне, смешав с древесным углем. «По выгорании чернота ее пропадает, и оказывается на ней легкий шлак с желтоватыми и трухлыми слойками». Свой опыт Рычков описал в статье «О горючей угольной земле». Это сочинение вместе с образцами найденной черной материи послал на рассмотрение ученого собрания Вольного экономического общества. Статья была незамедлительно напечатана. «Ведая, какая великая государственная польза из того может происходить, когда б у нас в империи, особливо ж в здешней малолесной стороне, сыскались каменные угли или хотя такие земли и растения, кои сколько-нибудь замены в дровах делали», — писал он в ее начале. Заканчивал так: «К рассмотрению при сем посылаю и почту награжденным за труд мой то, когда по лучшим испытаниям в какое-нибудь употребление окажется она годною».

Не имея специального образования в геологии и географии, Рычков своими находками и открытиями нередко восхищал и располагал к себе многих ученых. Причину его успехов некоторые объясняли тем, что он-де ближе других ученых стоял к действительности, к народу, к его труду и быту, жил и работал в отдаленном маловедомом крае несчетных богатств, что само по себе уже давало много материала для открытий и творчества. Но если сказать точнее, то эти обстоятельства лишь помогали проявиться таланту ученого-самородка, его страсти искателя. Добро и пользу он находил там, где равнодушный ум ничего не замечал.

«Общее экономическое правило: не бросать ничего того, что в домостроительстве какую-нибудь пользу и надобность произвести может, — писал он в статье «О травяном пухе и о домашнем его употреблении». Рычков имел в виду кипрейник, крестьяне называли эту траву молочаем. Цветет он в середине лета, после чего из продолговатых его стручков вылупляются щеточки пуха, похожие на хлопок. Вот этот пух Рычков с помощью своих дворовых ребяташек стал собирать, очищать от кострики, сушить и делать белую нежную пряжу, из которой его жена связала носки, шарфик и платок. Эти вещи Рычков послал в собрание Вольного экономического общества с просьбой рассмотреть новое и весьма дешевое природное сырье, которого повсюду превеликое множество растет.

«Когда собирание пуха сего войдет у нас в обычай и умножится», — пишет он, то употреблять его можно будет с большой пользою вместо гусиного и лебяжьего пуха и привозного азиатского хлопка. В примечании к этой статье он сожалел, что «люди наши к новым делам весьма малое речение прилагают; словом сказать, что делается у нас по старинным обыкновениям, то как бы худо и бесполезно оно ни было, покинуть того не хотят, а что новое, то сколь бы полезно ни казалось, за то охотно не принимаются, и почти всегда надобно к тому принуждать». Из цветков кипрейника Рычков делает краску, окрашивает ею несколько хлопчатобумажных и шерстяных изделий и посылает их в Академию наук.

В феврале 1770 года из Вольного экономического общества, куда он направил несколько таких изделий, связанных его женой и крестьянками села Спасского, он получил письмо, где торжественно уведомлялось, что «Собрание слушав, определило с общего согласия изъявить вам письменное свое удовольствие за труды ваши в изобретении способов в сельском домостроительстве, пользу приносящих, а супруге вашей посылает в знак своей благодарности за оказанное усердие нашему обществу сообщением как прежнего, так и нынешнего нового рода рукоделия медаль золотую с вырезанием ее имени, желая, чтобы подражали сему похвальному ее старанию и прочие благородные жены Российского государства. 20 января 1770 года в Петербурге».

В ноябре того же года Золотой медали Вольного экономического общества был удостоен и Петр Иванович Рычков за сочинения, способствующие улучшению российского земледелия. Поздравляя его с наградой, один из высокопоставленных членов общества писал: «Теперь уповаю, вы перестанете завидовать любезной вашей супруге».

Алена Денисьевна вязала платки и из козьего пуха. И коль речь зашла о знаменитом пуховом платке, то нельзя не сказать, что своим рождением этот ныне всемирно известный народный промысел во многом обязан Рычкову. Конечно, и до него казахи и калмыки отчасти использовали козью шерсть и подшерсток — пух — для разных хозяйственных нужд, но пуховязальный промысел не существовал. Рычков первым привлек внимание уральского населения к козам — домашним и диким — как к поставщикам уникального сырья, предложив извлекать из них «еще новую выгоду» — вычесывать пух и вязать из него предметы одежды. В специальном докладе Академии наук, опубликованном во второй части «Трудов Вольного экономического общества за 1766 год» под названием «Опыт о козьей шерсти», он подчеркивал, что козы в России используются в основном только на мясо, богатая же их шерсть «почти вся за негодную

почитаются и по снятии кож оную ни во что другое не употребляют, как только к набойке седел и тюфяков, в войлоки и на подстилку». И совсем почти не используется самое драгоценное, чем знатна оренбургская коза, — ее уникальный пух. О пухе Рычков читал кое-что, а также от домашних своих слышал, что козы под наружную шерстью имеют у себя другую, мягкую, называемую пухом, или подсадом. Эти рассказы крестьян Рычков решил подтвердить опытом. Он попросил обыкновенным гребнем вычесать коз и очистить пух от волосков. Из него женщины изготовили пряжу, сровтив ее для крепости с хлопчатобумажной ниткой. Пряжа получилась такой нежной и тонкой, что ей ни в какое сравнение не годилась обычная пряжа из овечьей и козьей шерсти. Рычков предложил женщинам, и прежде всего своей жене Алене Денисьевне, что-нибудь связать из нее. Так начали появляться первые мастерицы-пуховязальщицы, создатели оренбургского песенного платка. Слава о них быстро распространилась не только в России, но и за ее пределами.

Иностранные купцы поначалу охотно скупали на российских ярмарках изделия из пуха, но их дороговизна побудила некоторых предпринимателей создать по примеру оренбургского пуховязального промысла свой такой же. Французская фирма «Боднер», закупив в начале прошлого века пух оренбургских коз, начала выпускать красивые шали под названием «каша». В это же время английская фирма «Липнер» наладила выпуск пуховых платков «имитация под Оренбург». Однако заготовка и перевозка пуха за тысячи километров показалась бизнесменам слишком накладной. И они решили: чем возить пух, лучше привезти коз, то есть приблизить к себе сырьевую базу. Оренбургских коз начинают скупать и увозить в Англию, Францию, Южную Америку, Австралию...

По поручению французских предпринимателей за оренбургскими козами в 1818 году отправился известный востоковед профессор турецкого языка в Париже Жубер. Он закупил 1300 животных. Отара была пригнана в Крым и на корабле отправлена в Марсель. Довезти удалось только четыреста коз и несколько козлов, тем не менее французы энергично взялись за дело. За новоселами был налажен заботливый уход. Однако козы стали терять свои выдающиеся пуховые качества и в течение нескольких лет превратились в обычных. То же самое произошло с оренбургскими козами, завезенными в Англию и Южную Америку. В наше время пуховых коз из Оренбуржья переселяли на Северный Кавказ, полагая, что нагорные луга Домбая не хуже губерлинских. Прошло три года — и оренбургские козы «потеряли» пух. Так влажный воздух Кавказа отразился на животных.

Все эти опыты с оренбургскими козами подсказали ученым вывод: для

созревания пуха нужны не только благодатные луга, но и особый климат. Высококачественный пух коза приобретает в основном в Губерлинских горах. Летом там прекрасные пастбища, продуваемые сухими ветрами. Зимой — яркое солнце, ядреный морозный воздух, студёные метели. И должно быть, в защиту от лютого зимнего холода и немилосердной жары растёт на козах подшерсток, пух — то самое сказочное руно, из которого вяжется знаменитый оренбургский платок.

«Ежели в обычай будет введено, — писал Рычков в 1766 году, — и к чесанию коз лучшие гребни или другие инструменты сыщутся, то гораздо более станем получать пуха... Как с коз, так и с козлов. Поэтому старинная наша пословица «От козла ни шерсти ни молока» не во всем справедлива».

В статье «О мануфактурах из хлопчатой бумаги и верблюжьей шерсти» Рычков осуждает очевидную бесхозяйственность в работе российских торговых ведомств, позволяющих англичанам, французам и голландцам скупать у нас огромное количество верблюжьей шерсти, изготавливать из нее многие предметы одежды и продавать россиянам же по высокой цене. Зачем же отдавать добро заморским коммерсантам, когда пряжу из верблюжьей шерсти можно делать самим? — с укором спрашивает Рычков и подсказывает, как создать такой промысел.

Глазами строгого экономиста смотрит он даже на такую второстепенную заботу людей, как пивоварение и виноделие. «Всяк знает, какой великий расход у нас в империи ржаному хлебу на рождение солодов для курения вина, на варение пива, — пишет он в статье «Способ к винному курению на домашний расход». А ведь хмельные напитки сельчане и горожане могли бы изготавливать более экономичными способами, сберегающими хлеб. Он описывает несколько таких способов, которые опробовал сам. К винной сидке пригодны некоторые травяные корешки и семена, а также березовый сок. «Не нужно быть при том искусным физиком и ботаником, довольно и одного прилежания, соединенного с историческим опытом», — подчеркивает он и детально описывает способ приготовления вина из березового сока.

Сотни тысяч пудов ржи могли бы сберечь крестьяне, делай они вино не из одного хлеба, а с добавкой «березовой воды». Рычков при том напоминает, что сок нужно добывать аккуратно, надрезать стволы берез не следует. Скважины можно проделывать тонким буравчиком, а после взятия сока дырочку заколотить колышком.

Посланные им в лес дворовые ребяташки только за один день добыли несколько ведер сока.

ТЩЕСЛАВИТЬСЯ НЕ ВЕЛЮ И ЗАПРЕЩАЮ

Муравей не по себе ношу тащит, да никто ему спасибо не скажет, а пчела по искорке носит, да Богу и людям угождает.

Народная пословица

Однажды в пору осеннего благоденствия в Спасское заехал молодой путешественник и натуралист, доктор Иван Иванович Лепехин. Рычкова он застал на пасеке за излюбленным занятием: тот сидел перед ульем и через застекленные окошечки наблюдал за пчелами. Живо, с детским изумлением Петр Иванович начал рассказывать академику о том, что происходит в жилище этих «чудных мух».

— Ни умом не возьму, ни глазом не услежу, как оные рождаются? — недоумевал Рычков. — Русских книг о пчелах нет, а в сочинениях иностранцев много разностей и странных мнений, и трудно узнать, кто из них справедливее и на чьем мнении основываться надобно.

— А вы читали труды французского натуралиста Антуана Реомюра? — спросил Лепехин.

— Читал. Однако сей изобретатель сам себя оговаривает: то пчелки из своего же праха происходят, то якобы из червей... Иное я у древнеримского ученого Вергилия прочитал: пчелы, мол, к любовным делам никакой охоты не имеют и сами от себя ни яиц, ни червей не родят, а будто влажную материю матка в порожные пчелиные гнезда напускает и другие пчелы свою влажность туда же присовокупляют — и так молодые пчелы высиживаются.

— Реомюр сию теорию бредом назвал.

— Но и сам никакой ясности не вносит...

Проведя у Рычковых три сентябрьских дня, Лепехин уехал. В своих «Дневных записках» от первого и четвертого сентября 1768 года отметил: «По приезде нашем в Спасское село г. статский советник Петр Иванович Рычков принял меня с особенною благосклонностию и ласкою, где между разговорами о моем путешествии советовал мне предпринять возвратный путь к Волге по Соку, которая река по самой середине провинции

протекает. Но чтоб оный путь с большим успехом мог быть совершен, советовал истребовать из Бугульминского ведомства отставного вахмистра Василия Кривцова и новокрещеного мордвина Айткуля, которых он сам прежде употреблял для поиска медной руды по Соку».

Проводив гостя, Рычков вернулся к пчелам.

Желая досконально познать их жизнь, он обращается к опыту деревенских жителей. «Однако не мог я ни одного сыскать такого пчеляка и содержателя пчельников, который бы пчельную матку или пчел видал совокупляющихся одну с другой по обыкновению простых мух. Все ответствовали на сей вопрос: что один Бог весть; они же не видывали и не знают».

Рычков недоумевает: как это так — пчеловоды, а не ведают, каким способом пчелы продолжают свой род? Он подмечает, что пчелы в улье, находясь в непрестанном движении, в тесных проходах трутся друг о друга, одна по другой ползают, «одна к другой духом и телом ежечасное имеет прикосновение». И Рычков строит догадки: «А не способствует ли сие иногда к плодородию их?» Для подтверждения своих домыслов он едет к известному пчеловоду бугульминскому воеводе майору Хирьякову, затем к живущему в соседней слободе раскольнику Нестору Яковлеву, у которого отец и дед — белгородские купцы — имели пчельники. И опять слышит противоречивые мнения. Ближе к истине, на его взгляд, то, что пчелы своих зародышей заводят из хлебины, которую они в ульи приносят на ножках в виде крохотных горошин желтоватой липкой материи. Пчел с таким грузом встречают у входа в улей рабочие пчелы и начинают «разгружать», снимая с ее ног те мелкие желтоватые крупички, и носят в улей, в ячейки, где матка опрыскивает эту хлебину своею влажною материею.

Рычков замечает, что всею жизнью пчел в улье руководит матка, поддерживающая во всем образец самодержавного правления. Все пчелы ее любят и слушают, без нее никакой улей жить не может. Двух маток пчелы не терпят, одну убивают и остаются при той, которая им полюбится. Если эта матка пропадает, то все пчелы рассеиваются по соседним ульям, где есть матки, или погибают.

За медом сама матка не летает, разве что два или три раза в начале лета, когда задумает выводить детку или семена. Все остальное время она проводит в улье, как бы надзирая работу пчел. В полете она тем приметна, что летает невысоко, тяжеломерно, всегда в сопровождении двухсот или трехсот пчел, которые вокруг нее то вверх, то вниз увиваются, охраняя ее от хищных птиц. Когда матка хворает, то и все пчелы приходят в такую слабость, что и летать уже не могут. И наоборот, когда она здорова, то и

пчелы веселы и работающи.

Рычкову, однако, долгое время не удавалось описать матку, осмыслить ее действия, весь механизм ее руководства десятками тысяч пчел. «Не могу похвалиться, — пишет он, — чтоб матка, управляющая всеми их делами, в глаза мои попадалась, а видел ее только однажды вышедшею на должен)». Нельзя не подивиться тому, с каким любовным вниманием и дотошностью Рычков описывает наружность «предводительницы пчел». Внешне матка мало чем отличается от обыкновенных пчел, только крупнее их. «Корпус ея самой легкий, круглодолговатый и гибкий на все стороны. На передней ея части и под шейкой значится небольшой пух, а задняя часть с перехватом гладкая и несколько с лоском, на которой от пяти до шести сложенных наподобие круглых вороночек; шея весьма тонкая, а притом и короткая, из коей выходит головка несколько мохната, поперек ея наверху хохолок наподобие гребешка из пуху же; лицо сверху схожо на широковатый треугольник, где плоский, но раздвоенный лоб и широковатый нос, а под ним к самому концу личика востроватый рот наподобие сложенных ножниц значится. Внизу борода и усики, а в подлобье маленькие глазки, над коими вместо бровей тонкие два рожка».

Дав такой зримый «портрет» пчелы-матки», Рычков, однако, извиняется за то, что не имеет микроскопа, а то бы лучше, «с подробнейшими примечаниями описал бы ее».

Великой труженице, пчеле-предводительнице, противопоставлен другой вид пчел — трутни. Внешность у них солидная, начальственная, некоторые в размере больше самой матки, да только нет от трутней никакой пользы. И хотя они выходят на полеты вместе с пчелами, но мед не собирают, наоборот — питаются тем медом, что добудут рабочие пчелы. «Токмо жизнь их коротка, — замечает Рычков, — ибо пчелы, для сбережения своей пищи, к осени у всех их ноги и крылья подъедают, свергая их на низ улья, отчего они, будучи без всякой пищи, помирают; да и сами пчеляки, умертвляя их, выбрасывают их улья вон, как тунеядцев и непотребных».

Изо дня в день, не только летом, но и зимой, занеся опытный улей с застекленными оконцами к себе в спальню, Рычков скрупулезно, «с немалым удовольствием» изучает жизнь пчел. И ему открываются все новые и новые тайны этих удивительных существ, на которых он взирает не только как на добытчиков меда, обогащающих хозяйство, но и как на новейший маловеданный предмет науки.

Для Рыčkова пчела — чудесное, самое полезнейшее на земле насекомое, а пчеловодство — тонкое, мудрое ремесло, научного

осмысления которого люди еще не сделали. Он не раз откровенно выражает растерянность в своей поисковой работе, которую ведет в одиночку, не имея приборов, какой-либо лаборатории, по крупицам собирает народный опыт пчеловодства, перепроверяя рассказы пчеляков собственной практикой. Целодневно пребывает он на пасеке. Но проследить за всеми циклами работы пчел ему все же не удастся. Великое их число и непрестанные движения тому причиной, что почти не можно рассмотреть, что и с каким намерением у них делается; к чему, конечно, большой труд и долговременная практика и почти неотрывное внимание надобно», — пишет он.

В 1767-м и в следующем году в «Трудах Вольного экономического общества» он публикует несколько крупных статей «О содержании пчел», в которых призывает поставить пчеловодство как доходную отрасль на научную основу, «ибо нигде столько не содержится ныне пчел, как у нас в России». Причем вести эту науку нужно предоставить русским пчеловодам, так как печатавшиеся сочинения о пчелах иностранных авторов наполнены вымыслами и неточностями. 24 мая 1767 года он пишет академику Штелину в Петербург: «Господин Тауберт советовал мне, чтоб я сочинение мое о пчелах согласил с описанием Реомюровым и других иностранных писателей. Но мне рассудилось наперед то описать, как сие содержание у нас производится. Другие могут описать иностранные примечания. Я же собственными моими опытами нашел, что оные описания с натурою наших пчел не во всем сходны...»

Рычков не желает по указке Тауберта, всемогущего в Академии наук человека, основного редактора «Трудов Вольного экономического общества» согласовывать свои выводы с мнением иностранных специалистов. Зарубежным авторам-пчеловодам он противопоставляет результаты своих опытов. Как первый автор сочинения о русском пчеловодстве, Рычков выступил против пренебрежительного отношения к опыту простых людей-пчеляков: «не только в сельской экономике, но и во многих нужных вещах, не дошли бы искусные и просвещенные люди до такого совершенства, о коем ныне ведаем», если бы не прислушивались к «сказаниям простых деревенских жителей».

Мало-помалу Рычков сделался таким знатоком пчел, что к нему за советом и помощью стали обращаться опытные пчеловоды. К ульям он подходил открыто, без марлевых и сетчатых масок. Пчелы не жалили его. Люди удивлялись этому, считали даже, что тут не обходится без «колдовства и очарования». В своих сочинениях Рычков по этому поводу писал, что «добрые пчелы не только хозяев своих, но и всякой их скот

знают и без причины их не жалют». Злые пчелы вместо того, чтобы собственным трудом добывать мед, уносят его из других ульев, беспричинно нападают на людей, а особенно на слабых, тощих пчел. Злая пчела обнаруживает себя тем, что, выйдя из своего улья, устремляясь в полет за медом, кружит возле соседнего улья, будто высматривая, как в него забраться. Подлетев к скважинке, ныряет в нее, тут же выскакивает, снова вползает. Суется, делает неуверенные движения. Тут обычно воришку подстерегает стража, завязывается драка Пчелы одного улья хорошо знают своих пчел, чужую встречают боем.

Рычков описывает несколько способов усмирения и воспитания злых пчел, пчел-воришек. Улей с такими пчелами переворачивают дном кверху, сыпят в него горсть отрубей, проса или пшена, засоряя соты, то есть загружают хулиганистых пчел дополнительной работой, выполняя которую они «забывают свое воровство и отстают от оног».

Вообще-то, пчела очень доброе существо, ее поведение зачастую определяется поведением окружающих людей. Пчелы не переносят запаха водки, табака, чеснока, пота, могут изжалить пьяницу, если тот даже без всякой угрозы и шума приблизится к улью. Пчела любит чистоту в самом улье и возле пчельника, который нужно ставить подальше от сараев, нечистот и захламленных мест, пыльных и шумных дорог. Не терпят, когда в улье сыро, тесно, грязно. Если весной хозяин недобросовестно почистит его, небрежно проведет санитарную обработку после перенесенной пчелиным семейством какой-либо болезни, пчелы покидают улей. Роятся и улетают.

Тихие солнечные дни — самое благодатное время для медосбора При сильных холодных ветрах и долгом ненастье пчелы не только отказываются от полетов, но даже не выползают из ульев. Они очень точно предвидят непогоду и заранее замуровывают восковыми нитями вход в улей.

Рычков подробно описал и диких бортовых пчел, которые не нуждаются в такой заботе, какая необходима домашним. Дупло в дереве, сухой гротик в скале или неглубокая нора в отвесном берегу, выдолбленная ниша в пне или дереве — вот их обычное пристанище. Бортовое пчеловодство — древнее ремесло. Оно в пору Рычкова было особенно распространено в Башкирии. Среди башкирцев, замечает он, много «таких семейств, у коих бортей по пяти сот, а у иных и более тысячи, от которых они медом и воском немалый себе доход получают. В хороший медоносный год из одного бортя пуда два и больше меду и воску вынимается». Нужно всегда иметь в запасе чистые и сухие борти, где новые рои могли бы гнездиться. От вредителей и зверей необходимо их защищать.

Медведь — главный разоритель бортовых ульев. Как бы высоко ни помещался на дереве борт, медведь все равно влезет и разрушит его. На пути к лакомству он встречает ожесточенное сопротивление пчел и порой, не выдержав сотни укусов, падает с дерева и с ревом валяется по земле или бежит к реке и бросается в воду.

Башкирцы применяют многие способы борьбы с медведями-грабителями. Ставят капканы, пугала, устраивают засады. На подступах к борту подвешивают на суку тяжелый чурбан. Он мешает медведю отворить крышку и лапой проникнуть внутрь борта. Медведь отпихивает чурбан в сторону, тот с разгону ударяет по нему. Рассердясь, медведь с большой силой отталкивает от себя чурбан. Отлетев подальше, тот возвращается к нему и бьет его еще сильнее. Взревев от ярости и боли, от укусов сотен атакующих пчел, медведь еще злее отталкивает чурбан, а тот на обратном пути набирает такую ударную силу, что сбивает медведя с дерева. Он падает с высоты на загодя расставленные пчеляками-башкирцами заостренные колья в земле и погибает или, искалеченный, ползет подальше от злчного места, истекая кровью.

Пчелиный рой, найденный в дупле, можно перенести на пасеку и поселить в обыкновенный улей, для чего нужно выпилить борт вместе с дуплом, обернуть холстиной и отвезти домой.

На пасеке Рычкова дни выемки меда сопровождались праздничным многолудьем. Деревенские ребятишки в разноцветных рубашонках облепляли ограду пасеки и ждали угощения. Кому доставались янтарные дольки сотового меда, а кому его наливали в чашки. Таков обычай: чем щедрее пчеляк угостит соседей, тем больше меда вынет в следующий раз. Рычков замечает, что для выемки меда важно выбрать безветренный солнечный полдень, точно определить также, поспел, созрел ли мед или жидковат, все ли соты им заполнены. Важно и то, сколько взять меду, сколько оставить пчелам на пропитание. Горшки или кадушки с медом нужно ставить в сухие прохладные погреба, а пол посыпать золою, чтобы муравьи не напозли.

Из всех статей о пчелах, написанных и опубликованных Рычковым, внимательный редактор мог бы составить прекрасную энциклопедическую книгу о русском пчеловодстве. К сожалению, она не составлена до сих пор. В 1951 году один из «Календарей пчеловода» открывался портретом Петра Ивановича Рычкова с подписью, что он первым в России начал изучать пчел и публиковать научные статьи об отечественном пчеловодстве. Однако ценнейшие труды его по этой теме не издавались с тех далеких времен ни разу.

Жизнь Петра Ивановича в деревне во многом была схожа с жизнью рабочей пчелы. Как та без устали собирает со множества цветов мед и носит в улей, так и Рычков старается из каждого явления и факта сельского быта извлечь пользу: много ездит, ходит, наблюдает, общается с крестьянами, ведет записи их рассказов, изучает местную природу, в своих медеплавильных печках проводит опытные плавки, на винокуренном заводике опробывает новые, более экономичные, «без транжирения хлеба», способы получения спирта, на пасеке наблюдает жизнь пчел... Хозяин имения, помещик по состоянию, он весь день в работе. Крестьяне видят его то с косой, то с лопатой, то с топором в руках. Рычков не чурается никакого физического труда, считает, что ручная работа полезна, просто необходима человеку, в каком бы чине он ни находился. Даже самым знатным помещикам он советует ежедневно какой-нибудь работою тело в движение приводить. «Думаю, что довольно на то прохаживания и езды верхом или в коляске. Однако работа с легким потом здоровее».

За обеденный стол Рычков обычно садился с многочисленным своим семейством, но редкий день проходил, по его словам, без того, чтобы «проезжего не случилось, ибо живу на большой дороге и имею у себя приятелей».

Особенно радостно бывало в просторном доме Рычковых, когда приезжали на побывку сыновья. Быстрым своим взрослением они как бы напоминали отцу о скоротечности жизни, умножая в нем и без того высокую отдачу своим научным занятиям.

Совсем недавно, кажется, провожал Петр Иванович старшего сына Андрея на военную службу, давая напутствия «о беспристрастном почтении своих командиров и о нелестном к ним послушании». Андрею шел тогда двадцать первый год. В отличие от своих знакомых сверстников — сыновей оренбургских помещиков и чиновников — он презрел праздную жизнь в отцовском имении и подал челобитную в Государственную комиссию направить его в действующую армию. В апреле 1760 года Андрей выехал из Спасского в Петербург, откуда с командой был послан за границу в армию генерал-фельдмаршала Александра Борисовича Бутурлина.

«От меня отправлен он, как от отца, в слезах моих с усердным объятием и с благословением, — свидетельствует в своих «Записках» Петр Иванович и через несколько месяцев там же с радостью сообщает о том, что «сын мой Андрей, будучи в армии, Августа 1-го, за отличность его при атаке и взятии города Берлина и за неоднократную курьерскую езду из армии в С.-Петербург и в армию, пожалован капитаном».

Через некоторое время Андрей в звании секунд-майора был направлен в Оренбургский гарнизон, откуда затем был переведен в Симбирск.

Второй сын Рычкова, Василий, после окончания Московского университета служил в Казанском полку, где и средний сын Иван. Четвертый сын, Николай, находился в Пензенском пехотном полку.

Рычков прилагает немалые усилия, выискивает все средства для образования детей. «Мое желание в рассуждении вас, — пишет он, обращаясь к сыновьям, — всегда состояло в том, дабы вас в добром воспитании и учении содержать, к чему крайнюю мою возможность употреблял и употребляю».

Петр Иванович вспоминает при этом своих родителей, которые были бедны, не оставили ему в наследство никакого богатства. «Однако то выше всякого богатства почитаю, — замечает Рычков, — что они о воспитании моем крайне прилежали и в те самые времена, когда недостатки и бедствия их угнетали».

Рычков обыкновенно откладывал все свои дела, когда дети нуждались в его помощи и внимании. Не мешкая, бросался он в дальнюю дорогу в Москву либо Петербург, где хлопотал за них, никогда не допуская при этом каких-либо поблажек для них, строго советуя им «не нажитков и богатства искать, а простирались в честности и добродетели исполнением должностей по званию вашему; в том-то на свете истинное и совершенное благополучие, також и в спокойствии духа состоит».

Бывая почти каждый год в Москве и Петербурге, брал с собой кого-нибудь из своих детей или жену. Поездка отнимала у него два-три месяца, но Петр Иванович в Спасское возвращался обычно удовлетворенным: и свои дела успевал уладить, и за детей похлопотать. «Декабря 8-го числа выехал я из села Спасское в Москву с детьми моими Иваном и Николаем, чтоб по вышеописанным заводским делам, а особливо о напрасно чиненных от Исетской провинциальной канцелярии вычетах, в Государственную камер-коллегию произвести просьбу, да и о помянутых моих детях для способности к их содержанию из Троицкого драгунского переписать в Ревельский драгунский полк...»

В автобиографических «Записках» Рычков отмечает наиболее важные события в жизни своих детей, радуется и огорчается вместе с ними, всегда измеряя деяния каждого величиною пользы, принесенной Отечеству. Он против того, чтобы дети не сами, а за счет авторитета отца добивались в жизни благ. «Вам мною тщеславиться не велю и весьма запрещаю», — дает Рычков наказ.

НАША ДОЛЯ — НЕВОЛЯ

Ничто столько не ослабляет силу законов, как их неисполнение.

И. Лопухин, сенатор.

16 августа 1760 года Елизавета Петровна издала указ, в котором попыталась беспристрастно оценить положение в стране.

«С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что установленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою незаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают, — говорилось в указе. — Сенату нашему, яко первому государственному месту, по своей должности и по данной власти давно б надлежало истребить многие по подчиненным ему местам непорядки, без всякого помешательства умножающиеся, к великому вреду государства... Всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о происходящем вреде в государстве и о беззакониях, ему известных, без всякого пристрастия, дабы тем злым пощады, а невинным напрасной беды не принести... подозрительных судей сменять и исследовать и паче всего изыскивать причины к достижению правды...»

Для такой государственной службы людей с чистой совестью найти было нелегко. Императрица вспомнила про знаменитого оренбургского губернатора Ивана Ивановича Неплюева, которого хорошо знала еще по отзывам своего отца Петра Первого. Вскоре же она пригласила его в Петербург, назначив сенатором и конференц-министром.

С отъездом Неплюева из Оренбургского края Рычков лишился поддержки влиятельного, авторитетного администратора и дипломата, мудрого человека, склонного к наукам, просвещению и землеустройству.

В Оренбург прибыл новый губернатор Давыдов, который не нашел к себе расположения не только оренбургского общества, но и самой императрицы. Вскоре Екатерина II сменила его, послав в Оренбургский край губернаторствовать тайного советника, известного при дворе Дмитрия Васильевича Волкова, «облекая его полною своею доверенностью». Недавний конференц-секретарь, президент Мануфактур-коллегии Волков не очень-то обрадовался такому назначению, пытался подсказать, что такая

должность сподручнее генерал-майору Тевкелеву, магометанину, превосходно знавшему Оренбургский край.

Но императрица не приняла отговорку, и Волков вынужден был ехать в Оренбург.

Когда от него потребовали отчет о работе Илецкого соляного рудника, он сообщил, что эта соль самая лучшая в мире. Однако комиссия Главной соляной конторы сделала заключение, что хотя илецкая соль взаправду хороша, но доставляется перемешанною с пылью и грязью, отчего промысел несет убытки. Волкову было велено выехать в Илецкий городок, неподалеку от которого располагался рудник, осмотреть его и составить экстракт о соли: «В каком она состоянии, сама ли собою нечиста или дурной вид ее произошел на пути от небрежения».

У Рычкова к тому времени имелись описания илецкой соли, которые он использовал в «Топографии Оренбургской», но с сочинениями местного ученого новый губернатор решил не знакомиться.

В своих «Записках» о Давыдове и Волкове почти не упоминает, видимо, по той причине, что в шестидесятые годы он, получив освобождение от должности заведующего губернской канцелярией, находился, что называется, на вольной творческой работе и не общался с новыми губернаторами. Те, в свою очередь, не жаловали его своим вниманием. Об этом можно догадываться, читая письма Рычкова к Миллеру, в которых он просит прислать ему из Академии наук формальную бумагу, которая помогала бы ему исполнять ученые поручения.

На повторное предложение Миллера взяться за написание географии России Рычков весной 1763 года ответил, что для такого огромного труда потребуется множество материалов, доступ к которым у него ограничен; к тому же собирать их местные власти ему не помогают. «Ныне в Оренбурге обретающийся вице-губернатором, не чаю, чтобы он мне со своей стороны доставлял к тому хорошие способы, хотя он мне весьма знаком». Когда Рычков послал Волкову письмо и только что опубликованную в журнале «Оренбургскую топографию» с автографом, тот даже не прочитал ее, а на письмо не ответил.

В целом же Рычков был доволен свободой, тем, что порвал с канцелярской службой. «Я наслаждаюсь и пользуюсь деревенским житьем, — писал он Миллеру. — Домашняя моя экономия дает мне столько упражнений, как и канцелярия, но беспокойства здесь такого, как в городе, не вижу».

Но это время счастливого труда и покоя продолжалось недолго. Не прошло и двух лет такого несуетного деревенского житья Петра Ивановича,

как опять навалились на него разные беды. В декабре 1761 года в Спасском случился пожар, и дом Рычковых «весь до подошвы выгорел». Пуще всего Рычков скорбел о книгах: «Главный мой убыток состоит в книгах моих, коих у меня 800 было. Хотя их большую часть выбросили в окна, но в таком ужасном случае с надлежащим бережением не могли то делать, да и бросали их в мокрый снег и на разные стороны, как кому удалось, то, надеюсь, многие испортились и передраны. Сей убыток почитаю я невозвратным...» Резюме этого письма петербургскому коллеге печально: «...и я принужден теперь трудиться, чтобы как-нибудь на зиму обьюртоваться, а летом новый дом строить».

Чуть позже два пожара уничтожат медеплавильные печи Рычкова, которые он называл заводами. Для их восстановления нужны были крупные средства. Небольшое поместное хозяйство позволяло многочисленному семейству Рычковых едва сводить концы с концами. И несмотря на то, что старший сын Андрей в чине секунд-майора служил в Пензенском пехотном полку, Иван и Николай сержантами служили там же, а Василий учился в Московском университете, на иждивении Рычкова-отца находилось еще шестеро детей. Гонораров за свои сочинения он не получал, лишь в конце жизни будет вознагражден деньгами. Вообще, гонорар как таковой в середине восемнадцатого столетия никому не платили, хотя врачи, художники, писатели, юристы, музыканты могли быть иногда поощрены императрицей или знатными вельможами. Во взглядах на гонорар придерживались старых, чуть ли не древнеримских понятий. Деньгами в Риме, как известно, оплачивали только физический труд, которым занимались рабы и ремесленники. Умственный же труд считался уделом лиц свободных профессий, не нуждавшихся в заработке. Оплата нематериальных услуг деньгами в то древнее время считалась позорящей имя писателя, поэта, юриста или художника, она приближала их к ремесленникам, работавшим за кусок хлеба или за деньги. Вместо гонорара в обиходе приняты были подарки, которые считались не платой за труд, а знаком признательности.

Приглашая Рычкова сотрудничать, Академия наук, Московский университет, Вольное экономическое общество, имевшие свои издательства, ни словом не обмолвились насчет материальной поддержки своего автора. В ноябре 1765 года в Спасское пришло от тайного советника, петербургского сенатора А. В. Алсуфьева, уведомление о том, что Петр Иванович Рычков единогласно избран в члены Вольного экономического общества. К уведомлению была приложена копия письма Екатерины II, в котором императрица приветствовала рождение такого полезного общества

как свидетельство истинного усердия и любви к Отечеству его почетных членов, труд которых «с божиею помощью наградиться вам и потомкам вашим собственною вашею пользою, а мы по мере тщания вашего умножать не оставим наше к вам благословение». О каком-либо материальном поощрении членов общества нигде, как видим, не сказано ни слова.

И хотя чтение книг и журналов в век Рычкова было одним из главных занятий образованных людей в часы досуга, литературный труд был уделом лиц свободных профессий, так сказать, вольной привилегией талантливых или мнящих себя таковыми персон. Понятие «творческий труд» в обиходе не существовало. Короче говоря, географические, экономические, исторические и литературные сочинения не давали Рычкову какого-либо заработка, создавались им по душевной потребности. Наградой ему был сам труд.

Несмотря на скромные доходы, получаемые от поместного хозяйства, и отсутствие служебного жалования, Рычков в шестидесятые годы живет широко, деятельно, много ездит, много пишет, исследуя южноуральские нивы и недра. В Академию наук он шлет одно за другим свои научные сочинения, образцы различных минералов. Годы в Спасском оказались для него самыми плодотворными. Он завершил двухсотстраничную книгу «Опыт Казанской истории древних и средних времен», начал семейную хронику под названием «Записки Петра Рычкова», написал и опубликовал в «Трудах Вольного экономического общества» более тридцати крупных статей. Некоторые тома «Трудов» почти наполовину состояли из его сочинений. Так, девятый том за 1768 год занимают два объемных произведения о земледелии. Одно написано Рычковым, другое — тульским энциклопедистом, агрономом, известным просветителем Андреем Тимофеевичем Болотовым.

Вольное экономическое общество награждает Рычкова золотой и тремя серебряными медалями.

В эти годы его озадачивает прежде всего то, как поднять пришедшее в упадок земледелие страны. Экономические воззрения его претерпевают большие изменения. Прежде главным рычагом государственного развития и процветания он считал торговлю. Еще в 1755 году в своей первой статье «Переписка между двумя приятелями о коммерции», опубликованной в «Ежемесячных сочинениях», он писал, что принципом экономической жизни и политики страны должна быть «генеральная о коммерции идея, ибо умножением мануфактур и заводов умножается всякое государство».

Рычков отстаивал идеи, внедряемые Петром Первым еще в начале

века, когда Россия, став крупнейшей державой, продолжала расширять свои границы, возводить новые города, судостроительные и медеплавильные заводы, фабрики и мануфактуры. Земледелие же отставало.

Отмечая, как упадок земледелия повышает цены на продукты, как с году на год «поднимает хлебную дороговизну, Рычков делает вывод: далее развивать промышленность невозможно без упрочения сельского хозяйства: «Никакое ремесло столь прибыточно быть не может, как земледелие».

Отчего же он противоречит себе, прежним своим взглядам?

Не только Рычков, но в самом правительстве не сразу и не все поняли и признали, что идей петровского меркантилизма уже сыграли свою роль в развитии державного хозяйства, исчерпав себя на определенном историческом этапе. Нужны были новые идеи и реформы. *«Не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом, всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит, и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться не может, что другой у него отнимет»,* — писала в своем «Наказе» Екатерина II, пытаясь определить причины нерадения крестьян на помещичьей земле и их побегов. — *«Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтобы они с большим рассмотрением полагали свои поборы и те бы поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дома и семейства: тем бы распространилось больше земледелие и число бы народа в государстве умножилось. Где люди не для иного чего убоги, как только что живут под тяжкими законами и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за предлог к удручению, в таких местах народ не размножается».*

Судьба земледельца начинает занимать сенаторов, помещиков, купцов. Но помыслы их были направлены не на то, как облегчить жизнь и труд крепостных, а на то, какими мерами поднять уровень земледелия. Как дворяне и помещики, купцы тоже требовали права владеть людьми, покупать крепостных для различных своих промыслов, заводчики и фабриканты также скупали крестьян, причем с условием, чтобы они оставались крепостными и в случае смерти отца к станку становился его сын.

По мнению Рычкова, оздоравливать сельское хозяйство нужно начинать с улучшения быта и труда рядового землепашца, который при барщинно-оброчной системе не имел возможности быть ни хозяином земли, ни плательщиком государственных податей. Он раб, приставленный

к подневольной работе. Он бесправный человек, задавленный жестокой эксплуатацией и наказаниями. В России насчитывалось тысячи беглых крестьян, часть которых уходила за границу или на вольные земли в Сибирь, часть бродяжничала и разбойничала в лесах и на больших дорогах. Оттого участились грабежи, бунты в губерниях и в самой столице. Фельдмаршал Миних 20 ноября 1762 года докладывал императрице, что в Петербурге происходят такие грабительства и разбои, что ночью без конвоя никто из своей квартиры отлучиться не может.

Новгородский губернатор Яков Сивере доносил Екатерине II: «Число бродяг так увеличивается, что тюрьмы ими переполнены как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег... Ружье или Оренбург были бы для них лучше». Клинский и звенигородский воеводы доносили, что крестьяне по недостатку хлеба примешивают к нему отруби, мякину, коноплю, некоторые же разбрелись просить милостыню или ушли в леса и занялись разбоем.

«Если не согласимся на уменьшение жестокостей и умерение человеческого роду нестерпимого положения, то и против нашей воли сами оную возьмут рано или поздно», — писала Екатерина II генерал-прокурору А. А. Вяземскому. Она решает составить новое законодательное Уложение, надеясь, что при его подготовке будут задействованы все государственные учреждения, учтены мнения представителей разных сословий и таким образом выявится все «умоначертание народа», вскроются причины, тормозящие развитие земледелия в стране. В 1766 году из всех губерний России, от всех слоев населения были избраны 460 депутатов с правом совещательного голоса, создана авторитетная комиссия для сочинения проекта нового Уложения. Перед началом ее работы Екатерина обратилась к депутатам со своим «Наказом», изложив в нем свои пожелания и советы, которых депутаты обязаны были придерживаться.

«Наше первое желание, — писала императрица в «Наказе», — видеть наш народ столь счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастье и довольствие могут на сей земле простираться». Далее она объявила, что суть законов в том, чтобы каждый гражданин наслаждался собственной безопасностью, а чтобы «люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов».

Екатерина II предлагала отменить при судебных следствиях пытки: «Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою, чтоб он мог говорить правду... Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали... Посему пытка есть надежное средство

осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного, на свои силы и крепость уповающего». Екатерина II, как и ее предшественница на престоле, категорически высказалась против применения смертной казни, потому что «частое употребление казней никогда людей не сделали лучшими». Насильственной смерти придать человека можно лишь в том случае, когда он, будучи изолирован от общества тюрьмою, имеет еще способ и силу возмущать народное спокойствие.

Екатерининский «Наказ» состоял из многих добрых предложений и благих намерений, увещевал составителей нового Уложения, чтобы «благоразумно предостерегаться, сколь возможно, от того несчастья, чтоб не сделать законы страшные и ужасные, ибо несчастливо то правление, в котором принуждены устанавливать жестокие законы».

30 июля 1767 года «Наказ» был опубликован, и в тот же день в Москве в Чудовом монастыре депутаты начали свою работу. Присягая восседавшей здесь же на троне императрице, они клялись приложить чистосердечное старание в великом деле сочинения проекта нового Уложения.

Заседания депутатов проходили очень бурно. Жаркие споры вскипели по вопросу «Кого по закону следует считать истинным дворянином?». Одни утверждали, что этот титул передается как бы по наследству, другие склонялись к петровской оценке этого звания, уверяя, что достоинство дворянина приобретается добродетелью и честной службой отечеству. То есть каждый недворянского происхождения гражданин за свои заслуги может быть пожалован дворянином с принадлежавшими этому званию привилегиями. Родовитые дворяне, однако, не хотели делить авторитет и господство с дворянами, приобретшими это звание усердной воинской и штатской службой. Депутаты от высокородного дворянства всячески отстаивали свои привилегии, требовали для себя неограниченных прав владеть крестьянами.

Многие депутаты сетовали на то, что дворяне и помещики к земледелию не относятся без надлежащего прилежания и усердия. «Теперь в России многие земледельцы вместо того, чтобы умножать хлебопашество, покидают вовсе земледелие и вступают в торговые дела, но по незнанию своему тонкости коммерческих опытов, поторговавшись, приходят в банкротство и, скрываясь от долгов, уходят в города, но и в деревню уж не возвращаются. Поэтому надо повелеть земледельцам для пользы всего государства заниматься единственно хлебопашеством и ни в какую торговлю не вступать», — предлагал рыбинский депутат А. Попов.

Именно к этому, как известно, призывал земледельцев и Рычков,

только десятью годами раньше, в статьях «Письмо о упражнении в деревенском житии» и «Письма о земледельстве в Казанской и Оренбургской губерниях».

Среди депутатов был, к сожалению, всего один представитель от помещичьего крестьянства, однако крестьянский вопрос затрагивался почти в каждом докладе. Несмотря на стремление как-то смягчить, сгладить выводы о тяжелом положении трудового народа, депутаты вынуждены были, помня о присяге, констатировать правду. Князь М. Щербатов, вступаясь за купцов, тем не менее заявил, что купленные ими крестьяне для работы на фабриках и заводах, «содержатся почти как невольники».

Другой депутат пояснил, что крестьяне отлучаются от земли и идут торговать не ради прихоти, а для добывания разными промыслами и работами денег на уплату государственных податей. Что к бунтам и побегам их толкают долги, оброки, жестокое обхождение хозяев. Большинство же депутатов от купцов, помещиков и дворян резко возражали против какого-либо послабления для крестьян. Как справедливо заметил историк С. М. Соловьев, русское общество тогда жило в том периоде, где рабство составляло обычное явление: «Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царственным положением, искупавшим всякие другие политические и общественные неудобства, которым потому не хотелось делиться со многими и, таким образом, ронять его цену. Право было так драгоценно, положение так почетно и выгодно, что и лучшие люди закрывали глаза на страшные злоупотребления, которые естественно и необходимо истекали из этого права и положения».

Вышеупомянутая депутатская комиссия так и не смогла принять новое законодательное Уложение: помешала начавшаяся война с Турцией. Но основной помехой было то, что правящая верхушка России еще не созрела для решения вопроса о крестьянской свободе и собственности. Меж тем барщинно-оброчная система хозяйствования, дух крепостничества, проникли во все сферы жизни страны, отложились на духовном облике русского крестьянина.

Глеб Успенский метко охарактеризовал то наследие, какое оставило после себя крепостничество. *«Мало-помалу, однако, оказывается, — писал он, — что хотя все, что заключается в многозначительном слове «барщина», и действительно дело прошлое, но что и теперь следы этого прошлого далеко не изглажены... что в современной деревне нет такого явления, нет в характере деревенских людей ни одной существенной черты, нет даже ни одного обычая, которые бы вполне не объяснялись*

барщиной... В самом деле, что такое была эта крепостная барщина? В общих чертах — это была никогда, никем и никому не объяснимая работа целой деревни на один господский дом. Без отговорок, без возражений деревня должна была работать изо дня в день, из года в год. Барин, которому принадлежала деревня, мог меняться, быть то злым, то добрым, но для деревни все эти перемены ничего не значили: работы одинаково требовали все — и консерваторы, и либералы, и даже радикалы, словом — всевозможные сорта людей, поселявшихся в господском доме. Кто бы там ни жил, от деревни требовалось одно — работа, заполнявшая часть дня, года, всей жизни, — работа **не для себя**».

Благие намерения Екатерины сделать народ «счастливым и довольным» так и остались неосуществленными. Более того, императрица пришла к выводу, что вносить какую-либо демократизацию в общественно-политическую жизнь страны не нужно, что «Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей...». Примерно так же рассуждали многие государственные деятели и даже некоторые просветители того времени. Так, известный поэт и драматург Сумароков, отвечая на вопрос Вольного экономического общества «Потребна ли ради общественного благоденствия крепостным людям свобода?», прислал свои размышления такого содержания: «На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка, и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без Цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей». На вопрос «Могут ли в России землями владеть крестьяне, ибо то право дворян?» он ответил: «Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не его, а ему что останется? Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит».

Чуть позже примерно такое же суждение о «вреде ищущих вольности» выскажет в письме к императрице действительный тайный советник, знаменитый сенатор, известный своими гуманными предложениями в судопроизводстве Иван Владимирович Лопухин. «Целые селения, многие тысячи душ станут производить иски вольности. Начнется дело перьями стряпчих, питающихся ябедою, а кончится пушками, или по крайней мере кнутьями и ссылками — ежели не виселицами — что также бывало... Еще скажу, что я первый, может быть, желаю, чтоб не было на Русской земле ни одного несвободного человека, если бы только без вреда для нея возможно было. Для сохранения общего благоустройства нет надежнее полиции, как управление помещиков. Тираны же из них должны быть обузданы».

Лопухин как, впрочем, и Рычков при всех своих честных и справедливых намерениях, однако, поддерживали крепостное право, не ведая, что предложить взамен. Они восхищались деяниями Екатерины II, при которой, как писал Лопухин, «в превосходной степени содержались подданные, во страхе к ней, но без робости, и одобрительной всегда надежде на нея...». «Все ея уставы целью имели благоустройство, и на человеколюбии основаны были. Одна отмена пыток уже делает имя ея бессмертным в бытиях благотворителей человечеству. Она первая отринула сию зверской паче лютость, тиранством изобретенную...»

Современники Лопухина и Рычкова оставили о Екатерине II и другие воспоминания. Так, швейцарец, преподаватель Петербургского артиллерийского корпуса, наставник, а впоследствии секретарь сына императрицы Павла К. Массен писал: *«Царство ее было счастливо и блестяще для нее и двора; но конец его был особенно гибелен для народа и империи. Все пружины управления попортились: каждый генерал, каждый губернатор сделался самостоятельным деспотом. Все продавалось за деньги: около двадцати олигархов разделяли между собой Россию... Они или сами грабили государственные доходы, или предоставляли грабить другим и оспаривали друг у друга добычу... Иной, получая всего-навсего триста-четыреста рублей жалования, увеличивал его посредством взяточничества настолько, что строил около дворца пятидесятитысячные дома. Екатерина II, не помышлявшая разыскивать нечистые источники этих эфемерных богатств, кичилась, видя, как столица украшается у нее на глазах, и рукоплескала необузданной роскоши негодяев, считая ее доказательством благоденствия под своим владычеством».*

Но значительно раньше этого сочинения, в самый расцвет царствования Екатерины II, появилась известная книга князя Михаила Михайловича Щербатова «О повреждении нравов в России». Он строго предупреждал читателя, что будет писать только «единую истину, ибо разврат, в который впали все отечества моего подданные, от коего оно стонет, принудило меня оное на бумагу переложить».

Благо или худо, но Рычков был далеко от двора, ответы на вопросы дня искал в жизни местных простолюдинов и в окружающей природе.

СКАЗАННОЕ ЗАБУДЕТСЯ, НАПИСАННОЕ ОСТАНЕТСЯ

Блажен, кто предков чистым сердцем чтит.

И. Гёте

Погожим октябрьским днем 1768 года в Спасское, оповестив загодя, заехал по пути немецкий путешественник Петр Симонс Паллас.

— Академик, член Российской императорской Академии наук, доктор медицины, профессор натуральной истории! Недавно самой императрицею назначен руководителем грандиозной экспедиции. Всю Восточную Россию и Сибирь вплоть до китайской границы вознамерился объехать и доподлиннейше со своими помощниками описать! — сказал Петр Иванович, заочно представляя своим домочадцам знаменитого гостя, который с часу на час должен был прибыть в имение.

Занятые приготовлениями к встрече, все с торжественной напряженностью поглядывали на дорогу. Когда же к парадному крыльцу подкатил пропыленный тарантас и из него вышли трое молодых людей, кто-то из дворовых недоуменно спросил:

— А где же знатный академик?

— Тот, который справа стоит. Высокий, рыжеватый. Ведь ему всего-то двадцать шесть лет, академику, — пояснил Петр Иванович и пошел навстречу гостям.

Чуть позже Паллас в своем дневнике запишет: «Пятого числа (октября) проехали мы по лежащей от Кичуя почтовой дороге деревню Малую Бугульму на речке того же имени и прибыли в Спасское село, в котором обыкновенно живет прославившийся своими сочинениями и по заслугам почтения достойный г. статский советник Рычков, где я по причине ласкового принятия и весьма приятного обхождения одного преученого мужа пробыл до 11 числа сего месяца. Помянутое село стоит на превеселом месте, которое окружают черные, отчасти лесом оброслые увалы. Почти в середине села бьет большой чистый ключ и течет по белому мергелю...»

Все пять дней и вечеров Паллас и Рычков заполнили прогулками по живописным местам и беседами; благо, что оба свободно владели и

немецким, и русским языками. Петр Иванович показал гостю опытную пасеку, мельницу, рассказал о близлежащих местах, где по всем признакам можно медную руду и нефть добывать.

— Своей доброй лаборатории нет, оттого собранные по берегам рек, оврагам и ущельям минералы на исследование в нашу академию посылаю.

— Вижу, скучать в деревне вам некогда.

— Спасское спасло меня от канцелярских сует, отдалило от злословия важных оренбургских персон. Тут я себе сам превеликий начальник. Весь божий день желанному делу отдаю, а прежде, в Оренбурге служа, для писания и прочих наших укромных занятий токмо ночи не имел. Сколь времени даром потеряно!

— Разве даром? Не служи вы в канцелярии да еще с такими мужами, как Татищев и Неплюев, вряд ли обогатились бы познаниями здешних мест в стольких объемах и пленились бы учеными целями жизни, — сказал Паллас и одобрительно добавил: — Вашу «Оренбургскую топографию» я в один присест прочитал, увидя в ней не только много ценных сведений, но и пример для своих действий...

Однажды во время вечерней беседы Паллас поведал семейству Рычковых о первых впечатлениях от своего путешествия по калмыцким поселениям, собранных им с жадным любопытством иностранца.

— Все их богатство в стадах. Тысячи лошадей, верблюдов. Селения они почти не строят. Поживут на одном месте, потом в войлочных кибитках передвигаются на другое. Вооружены слабо, лишь у немногих воинов имеются кольчуги. Одну кольчугу выменивают на сорок лошадей. Калмыки — искусные наездники и охотники. В охоте применяют прирученных соколов. Нравы сих степняков весьма суровы. Убийцу, например, они не наказывают, а сразу умертвляют. Если же кто-то нечаянно будет убит в драке, то виновный в оном должен взять к себе жену и детей погибшего и кормить их.

— А есть ли у них армия? — спросил Николай, сын Петра Ивановича. Недавно, как уже сказано, Николай был награжден капитанским чином и определен в экспедицию, возглавленную Палласом. Но путешествовать ему пока не пришлось.

— Регулярного войска нет, но войны калмыки ведут постоянно. То с казаками, то с башкирцами, иногда и с русскими. В сраженьях злы и отважны. Ежели случается среди них трус, то у него прилюдно отбирают оружие, а самого переодевают в женское платье. В знойные дни девки и молодые бабы их обнаженные по пояс ходят... Калмыки молчаливы, доверчивы, но жестоки к ворах: отрубая им пальцы рук, а украденное

возвращают хозяину.

— Варварские, но весьма строгие правила, — заметил Николай. — Вообще, все это очень интересно: каждый день новая дорога, новые люди, диковинные приключения.

— Не всегда наши походы диковинные и интересные. Бывают тяжелые и даже гибельные. Как и при военных походах всякое случается, и офицерская служба ваша немало приключений вам дарила небось, — сказал Паллас, уловив в голосе Николая обиду за то, что в экспедиции ему еще не поручено серьезное дело.

— Военный поход — не путешествие, хотя тоже интересен риском и тревогами, но кому как, а для меня военная служба без счастья шла. День на день похож, как пуговицы на мундире... А душа простора, воли жаждет, движений!

— В двадцать три года стал капитаном! Разве ж сие малое продвижение, мой сын? — сказал Петр Иванович.

— Мы тужим, отец, когда пожар спалит весь дом, но вовсе не огорчаемся, когда попусту теряем время, главное свое богатство.

Академик Паллас пристально посмотрел в слегка порозовевшее лицо Николая и, обратясь к Петру Ивановичу, сказал:

— В вашем сыне вопиет жажда счастья, суть коего в желании стать более полезным своему отечеству. И это есть голос неиспорченной совести, и вам, отцу, надобно гордиться таким сыном, который полюбил и вознамерен продолжить дело вашей науки.

— Да, он во многих моих конных и пеших походах в оренбургские степи еще сызмальства завсегда сопровождал меня и все окрестные места не хуже знает, — искренне похвалился сыном Петр Иванович.

— Вот и славно, — с улыбкой одобрил Паллас. — Вот и поручим ему собрать сведения по натуральной географии лесостепного Заволжья, описать татарские, вятские и другие, находящиеся в верховьях Камы и Белой, народы...

Всю зиму Николай Рычков готовился к предстоящему походу. Нашел помощников-спутников, запасся провиантом, лошадьми, составил маршрутную ландкарту. Путь его лежал от Камы до юго-восточных границ Оренбургского края.

— Места глухие, маловедомые, а потому и настраивай себя так, будто ты первый и последний очевидец тамошних мест. Все важное стремись обозреть, осмыслить и записать, — наставлял сына Петр Иванович.

— А как отличить важное от неважного?

— То и важно, что ново, досель никем не описанное. Уповаю, ты

сможешь пополнить весьма скудные сообщения с тех мест. Главное — душевно усердствуй, будь страстно любопытен к каждой непонятой породе дерева, цветка, камня, зверя и птицы, ко всяким останкам древних строений и погостов...

Как только схлынула водополица и майское солнце подсушило проселочные дороги, Николай Рычков со своими спутниками, имена которых нигде не названы и для нас неизвестны, выехал из Симбирска, взяв путь к Билярску.

Сегодняшнему читателю, как и автору настоящего повествования, трудно воздержаться от соблазна отступить на два столетия в прошлое и глазами молодого путешественника обозреть тогдашнюю землю и ее обитателей, перелистать некоторые страницы его путевого дневника. Не ради простого любопытства это важно, а для прозрения нашего. Ведь к прошлому мы зачастую возвращаемся обычно для того, чтобы сравнить, как далеко шагнула цивилизация, оставив позади непросвещенность, дикость и темноту. Однако эти сравнения все чаще стали выявлять и другое: отрывая себя от вечных истоков жизни, отвергая законы природы, мы нередко стали сотворять такое, чему ужаснулись бы не только наши предки, но и самые темные дикари...

Проезжая через промытые первыми летними дождями степи и леса Татарии, через разбросанные на десятки верст одна от другой татарские деревни, Рычков удивляется малочисленности этих поселений в таких живописных местах и тому, что их обитатели ничего не знают о своем происхождении, о своих древних прародителях. Правда, в самом Билярске чиновник канцелярии дал ему копию схемы этого древнего города, из которой явствовало, что некогда он принадлежал татарам. Однако, внимательно осмотрев окрестности города и лежащие в трех верстах от него развалины крупных каменных строений, Рычков засомневался. Ведь многие исторические справки свидетельствовали о том, что татары более склонны были к кочевому образу жизни, вековых каменных градов не строили. «Привыкнув к войне, презирали они спокойное житие и питались обыкновенно войною и грабежом соседних народов», — замечает в дневнике Рычков и, желая заглянуть в более древние времена, высказывает предположение, что обозреваемые им места принадлежали до татаро-монгольского нашествия либо старобытным скифам, либо болгарам.

Но сами татары, прожив здесь многие века, считают эти земли отчими, с почтением относятся к древним развалинам — жилищам своих предков, к каменным частоколам мусульманских кладбищ. И хотя почти в каждой татарской деревне есть молитвенный дом, школа для детей, где обучение

ведет мулла, немало проживает повсюду и крещеных татар. По доброй воле приняв христианскую веру, они отчасти изменили и уклад своей жизни: построили крепкие дома, занялись хлебопашеством.

С горечью рассказывает Николай Рычков о крайней нужде и бедности крестьян вятской провинции, питающихся зачастую пихтовой корой и желудями. «Возмужавшим людям пища сия не столь вредна, но жалостно видеть бедных младенцев, оным питающихся. На лицах их написаны бедность и бессилие, приводящие в жалость каждого смотрящего на них». Рычков предлагает переселить наиболее бедствующую часть вятчан в Оренбургский край, где хлеб и другие злаки хорошо родятся и население не столь густо.

В двух верстах от Нагайбацкой крепости, на высоком холме, Рычков осмотрел действующий наземный рудник, названный старожилami Чудьской копью. Когда-то медь добывали тут путем выплавки, но потом рудный слой кончился. Рудокопы же не оставили копь, обнаружив множество медной крошки в песчаной поверхности холма. Для очистки руд от почвы применили воду бегущего неподалеку ручья. Воду запрудили и стали выпускать по желобам, подбрасывая в них и постоянно помешивая деревянными лопатами смесь песка и руды: почва легче минерала, а потому уносится водой, руда же оседает на дно.

В пещерах и увалах, по берегам речек и озер Николай Рычков собирает разные камни, делает на них пометки и складывает в дорожный мешок. В одном месте ему показали кости слона. Пытаясь объяснить, как могли оказаться в Прикамье останки огромного обитателя жарких стран, он размышляет в дневнике, что причиною тому могли быть частые войны древних персов со скифами. «Слоны, утомленные от непрестанного и дальнего похода, могли умирать в тех местах, где мы ныне находим оставшиеся от них члены; или народы, здесь обитавшие, делая частые походы против персов и побеждая оных, приводили в свои земли сего великого зверя, который мог служить и знаком ими одержанных побед».

Во время привалов Николай Рычков долгие вечерние часы коротает в беседах с жителями разных поселений, понимая, что, только употребляя изготовленную ими пищу, пользуясь их домашней утварью, слушая их рассказы, можно понять их жизнь, нравы и самобытные обряды. Черемисы, например, привлекли его прежде всего как идолопоклонники, сохранявшие языческую веру. И если боги обычно похожи на своих творцов, то есть на тех, кто им поклоняется, то разве не через познание священных религиозных ритуалов можно полнее объяснить нравы, строй жизни и даже происхождение тех же черемисов? Ведь в жертву своим многочисленным

богам они приносят то, что сами очень любят.

Наиболее почитаем у них бог Киреметь, дух свирепый и могущественный, от которого зависят здоровье и благополучие каждого черемиса. Попад в беду или заболев, черемис старается одарить, умиловить страшного Киреметя тем, что разрешает выбрать во дворе своем лучшую лошадь или корову, зарезать и отдать костру. Принося жертву, черемис уверен, что зарезанное животное переселяется в жилище бога.

Примерно так же поступали древние скифы. В день погребения царя или большого военачальника они убивали не только лошадей, но и нескольких служителей и наложниц, уповая, что они пригодятся своим владыкам и после смерти. Обитавшие на землях скифов черемисы во многом сохранили их дикие суеверия.

Каких-либо храмов или церквей для свершения молитв язычники не имеют. Нет у них и икон. Молются они под открытым небом, обычно возле дуба или березы, которым поклоняются как символам божества.

Бывают и праздничные обряды жертвоприношения. Они совершаются в добрый солнечный день. В таком обряде участвуют только мужчины. За день до него старики собираются на совет, чтобы определить, что надлежит принести в жертву богам-хранителям. Одни предлагают белую лошадь, другие — белую корову. При разногласии выручает гадалщик, который либо мечет бобы, либо смотрит в тихий омут. Выбрав наконец, какой породы и масти должна быть скотина, толпа сбрасывает на круг деньги для приобретения животного на закол. Лошадь или корова должна быть молода, тучна и здорова. Ее приводят на избранную среди молодого леса полянку и тотчас совершают обряд. Однако обреченную жертву из-под ножа может спасти одна суеверная мелочь. На месте убийства животное вдруг обливают холодной водой. Если оно при этом вздрогнет и встряхнется, то это означает, что выбор жертвы угоден богу. Если не шелохнется, то такую скотину прогоняют как противную богу. Гонят ее потом от себя и хозяева, и она, брошенная на произвол судьбы, где-то погибает от голода или от хищных зверей в лесу.

На месте жертвоприношения часть мужчин разделяют тушу, другие разводят большой костер, в который бросают уши, хвост, рога, копыта животного, а чуть погодя лучшие куски мяса, приговаривая: «Огонь, отнеси нашу жертву к богу, который даст нам хлеба, пчел и здоровья». Оставшуюся часть туши рубят на куски, складывают в котел, варят и едят, сидя кружком на земле. Окончив трапезу, все расходятся по домам, оставив на жертвенном месте шкуру убитого животного.

За свое трехдневное пребывание у черемисов Николай Рычков успел полюбить этот мужественный и смиренный народ, «незловивый и нековарный», восприняв религиозные обычаи его не как следствие слепой веры и невежества, а как традиции, как способ сохранения первоначальных человеческих качеств, природного нравственного начала «Они говорят, что блаженство наших отцов было превосходнее нашего, — пишет в дневнике Рычков, — а сие не от чего иного происходило, как только от того, что они более почитали богов своих», хранили все, что им праотцы оставили, дабы достигнуть того благополучия, каким в жизни своей предки наслаждались. «Сие есть лучшее из всех черемисских размышлений: ибо уподобляться своим предкам, сохранять их непорочные нравы похвально и для других народов».

Прощаясь с черемисами, Николай Рычков еще и еще раз с уважением свидетельствует, что самое приметное в них качество «есть то, что они между собою весьма дружелюбны и от вредных раздоров всегда уклоняются. Богов своих и дни праздничные почитают с великим благоговением, и то, что запрещает вера и обычай, редко переступают».

В конце июля 1769 года Николай Рычков со своими спутниками сделал привал возле огромной пещеры, неподалеку от башкирской деревни Мескеу. Внимание Рычкова привлекла не сама пещера В версте от нее находился заброшенный медный рудник заводчика Осокина. Еще недавно рудный слой лежал здесь почти на поверхности, потом руда кончилась. Заводчик велел рудокопам сделать штольню. Пройдя более сорока аршин в глубь земли, рудокопы не нашли того, что искали. Измучившись, они оставили свою работу, и рудник был закрыт. Из стены глубокой ямы Рычков извлек бревно и человеческий череп, заполненный медной рудой. Находки позволили предположить, что череп принадлежал древнему человеку — настолько пронизали его рудные прожилки. Значит, древние обитатели здешних мест умели добывать руду не только на поверхности, но и в глубинах земли. Окаменелые кости и бревно свидетельствовали и о том, что на башкирской земле когда-то проживали не только кочевые племена, как писано в исторических сочинениях, но и более древние народы, знавшие градостроение и горнорудное дело.

В августе Николай Рычков прибыл в Спасское. Загорелый, обветренный, он, рассказав отцу об увлекательном путешествии, хотел было отправиться прямо в Петербург к академику Палласу.

— Прежде приведи в порядок свои записи. Пока все свежо в памяти, подробнее изложи, как исполнил поручение. Ты не сам по себе, а член важнейшей экспедиции.

— Но я еще не прошел весь намеченный мне маршрут, который по осенней хляби и продолжать будет несподручно.

— Прежде аккуратно обработай то, что успел собрать. Одобрением твоего отчета академик и даст тебе позволение продолжить оный маршрут. А коли не одобрит, то и продолжать ничего не понадобится, — настаивал Петр Иванович сына. — Вот от этого вороха ландкарт и записок твоих должно остаться емкое, дельное описание всего самого ценного повиданного и узнанного тобою за летние месяцы путешествия. Пленись задачей, как бы заново проделать его, но теперь токмо за писчим столом. А этот труд, поверь мне, не менее труден.

Восприняв строгий совет отца, Николай углубился в свои путевые бумаги и лишь к весне окончил первую часть сочинения, назвав его так: «Журнал, или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 году».

Паллас с похвалою отнесся к этому первому труду Николая Рычкова и предстоящим летом попросил его продолжить маршрут исследования, в частности, осмотреть земли, лежащие вдоль реки Белой. Практически, это означало обойти, объехать, описать всю Башкирию.

Николай с нетерпением ждал, когда вешние воды войдут в берега. В конце апреля он уже был в пути, начав его из Уфы.

И опять перед ним открылись новые неспешные версты познания, новые встречи с невиданными ранее красотами лесистых башкирских нагорий, с зелеными, расцвеченными красными и желтыми тюльпанами лощинками, с лихими наездниками, добродушными пчеляками, с башкирскими пастухами, землепашцами, охотниками-звероловами... И опять из уст седых старцев слышал он удивительные сказания и предания, веря и не веря им...

На высоком берегу Белой он увидел огромные бугры, под которыми покоились ногайские ханы, некогда владычествовавшие в здешних местах. Записал рассказы очевидцев, ведавших про раскопки этих бугров. Кое-где находили они боевое оружие: колчаны со сгнившими стрелами, лук, в нагалище вложенный.

Подобные же погребения у вотяков и черемисов, обряды которых «покрыты тьмою идолослужения и видимым стремлением пустого и несообразного суеверия». В могилу рядом с умершим они клали топор, нож, чашку, ложку, котел, кочеток, новые лапти и тому подобные вещи, чтобы, вступив в небесное жилище, покойник ни в чем не нуждался.

Описывая многие встречавшиеся на пути древние полуразрушенные, разграбленные, заросшие травами курганы и кладбища, Николай Рычков

редко находит предметы погребального обряда предков. Но всегда заметно его пристальное внимание к этим местам, где сотни, тысячи лет назад вершился ритуал таинственного отправления в загадочный мир небытия. С мельчайшими подробностями заносит он в дневник эти полусохранившиеся предметы былого, понимая, что только слово может сберечь их в памяти грядущего поколения. Да и не за то ли ратовал отец в «Истории Оренбургской», написав с жестким пророчеством, что и «мы в незримую пучину вечности зайдем и так удалимся, что и наше, то есть нынешнее, время за древнее будут признавать»?

Неподалеку от Соликамска, на восточном берегу реки Обвы, среди развалин Николай Рычков находит остатки фундамента зданий, сложенных из дикого камня. Местные жители, откликнувшись на его просьбу, принесли ему некоторые вещи, в разное время поблизости найденные. Это были посуда и украшения древних женщин, изготовленные из меди, бисера, цветных камней. «Принесшие ко мне сии находки уверяли меня, что нередко попадают им во градских развалинах золотыя и серебряныя кольца, перстни, серьги и тому подобные женские уборы», — пишет в дневнике Рычков, свидетельствуя, что Соликамск вырос на месте какого-то большого города, обитатели которого жили в крупных, судя по оставшимся фундаментам, каменных зданиях. Что, кстати говоря, опять оспаривает выводы некоторых историков, утверждавших, что на башкирской земле извечно жили кочевники.

Молодого Рычкова постоянно влечет желание добраться до первоисточника, углубиться в историю того или иного народа, доподлинно определить его происхождение.

Засвидетельствовав со слов старожилов, что город Хлынов и вся обширная вятская провинция лежат по обе стороны реки Вятки, Рычков ищет подтверждение этому свидетельству. С какой целью немалая часть новгородцев покинула свои богатые земли и переселилась за Волгу?

В Хлынове среди старинных бумаг он нашел летопись, назвав ее вятской. В ней-то и было сказано о начале города Хлынова и причинах заселения чудских земель новгородскими славянами.

Страница летописи перенесла пытливого путешественника-историка в «бездну древности», в пору, когда Русь раздирали княжеские междоусобицы, когда князья российские, «видя новгородскую республику, властвующую над многими народами и богатством изобилующую паче всех ей одноплеменных земель, старались умалить ея власть, и война казалась им удобным способом привести правление новгородское в возмущение...». Суздальские, рязанские, владимирские и другие князья не

раз безуспешно ходили войной против храбрых новгородцев, которые, умело отражая нападения внешнего агрессора, не умели, однако, создать благоденствие в своих новгородских владениях. Избранные на престол князья то и дело свержались народом, шел постоянный дележ не только власти, но и земли. «Храбрые новгородцы, не видя в округе себя народа, могущего противиться их оружию, доходили до пределов реки Волги и... избрали жилищем себе завоеванные места. В дни великого князя Ярослава, сына Владимирова, в лето от Рождества Христова 1175, отделившись от пределов новгородских, самовластные сего города и с ними часть их сограждан поплыли судами вниз по реке Волге, дабы сыскать там себе удобное для обитания место».

Одна часть новгородцев затем двинулась по Каме, другая лесистыми горами вышла к реке Ченцы и поплыла по ней на судах, покоряя при этом живущих на берегах вотяков и черемисов.

Затем новгородцы вошли на своих судах в устье реки Вятки и, поднявшись по ней вверх, достигли небольшого черемисского городка Коктерева и с ходу, без боя, вступили в него. После чего они отправили послов возвестить о своей победе тех новгородцев, которые поселились на берегах Камы, посоветоваться с ними, где, в каком месте поставить крепкий общий град, за стенами которого можно было бы укрыться от нападений всяких неприятелей.

Самым удобным местом для построения града-крепости посчитали высокобережье реки Вятки, где в нее впадает речка Хлыновица.

В новом городе новгородцы установили те же законы, по которым жила Новгородская республика. Но сами они стали называться вятчанами. Российские же князья называли их презрительно новгородскими беглецами и не единожды приходили с войсками, желая покорить их, но возвращались с неудачей. Постоянным нападениям новгородские вятчане подвергались и со стороны вотяков, черемисов, казанских и ногайских татар. Непрестанные эти войны заставили вятчан находить всякие средства защиты и обороны. Даже дома они ставили так плотно один к другому, что эти строения, фасадом обращенные во внутрь города, составляли собой сплошную крепостную стену. С востока город защищал крутой отвесный берег реки Вятки, с запада и юга — глубокий ров.

На дальних подступах к городу Хлынову были поставлены высокие сторожевые башни-бойницы, а в самом городе вдоль крепостных стен — крепкие каменные и деревянные остроги.

Недаром ни Батый, ни его внук Чингисхан, покорившие Российские княжества, Польшу, Венгрию, другие страны и народы, вятской землю

овладеть не смогли.

Прочитав летопись, Николай Рычков предполагает, что свою независимость вятские славяне долго поддерживали не только ратной храбростью и постоянной готовностью к отражению всякого рода воинских пришельцев, но и тем, что «многие лета вятчане были управляемы своими выборными военачальниками, не завися ни от какой самодержавной власти». И лишь в XV веке, изнемогая от участвовавших грабительских набегов восточных и южных соседей, воссоединились с Российским государством.

После покорения Иваном Грозным Казанского ханства некоторые народы, такие, как тептяри и вотяки, представляющие собой разновидность татар, «опасаясь, чтобы не лишиться древних своих законов и не принять веру новых победителей, сыскали средство укрыться внутри Башкирии», где были охотно приняты. Башкирцы обложили их небольшим оброком за земли, освободив от рекрутского набора и прочих крестьянских тягостей. Тептяри показали себя усердными землепашцами, добытчиками и отделочниками хорошего строительного камня, возчиками соли, сплавщиками леса.

В уфимской провинции тептяри, как и вотяки, жили по законам язычников. Есть у них свои могущественные боги, в жертву которым приносятся разные животные, а также хлеб и ячменная крупа.

Не переставая удивляться простосердечию, по-детски невинному невежеству вотяков, Николай Рычков пишет в дневнике: «Суеверие их так далеко простирается, что самые неодушевленные вещи приемлют от них почитание богов. Из числа ими обожаемых вещей знатнейший есть так называемый Модор, которые не что и иное, как ветви пихтового дерева. Сколь благоговейно чтут они сии священные ветви, тому послужит доказательством, что со мною случилось, когда нечаянно хотел я коснуться до них руками».

Въехав в деревню Кичак, Николай, ища убежище от солнечной жары, вошел в один дом. Там на стене он увидел дощечку, обложенную пихтовыми веточками. Когда он хотел дотронуться до них рукой, хозяин и хозяйка подскочили к нему с криком, «чтоб я любопытство свое удовольствовал только глазами, а руками отнюдь не прикасался».

— Но почему я не должен касаться сей травы? — спросил Рычков.

— Это Модор, бог-хранитель домов наших, — ответил испуганный старик.

— Если коснется ее не токмо рука иноверца, но и наша, то покой семейства разрушится, и пойдут на дом наш одни несчастья, — добавила в

ужас приведенная старуха.

Из живых существ вотяки обожают дятла, из богов — Киреметя и в день начала весенней пахоты приносят ему в жертву черного молодого барана.

Многим примерам своих предков вотяки следуют и в свадебных делах. Девуцу сватают по уговору о том, сколько надобно дать за нее калыму. После того, как размер калыма установлен, жених увозит невесту «в свой дом и целую неделю пользуется ее приятностями». Затем приезжает отец невесты и забирает ее и весь год держит дома под таким приглядом, что она никак не может свидеться со своим нареченным. Жених же все это время старается выплатить калым, после чего играется свадьба.

Говоря о хозяйствовании вотяков, Николай Рычков заверяет, что в Российском государстве нет ни одного народа, могущего с ним сравниться в трудолюбии. «Ревнование и почтение к трудам у них столь велико, что женщины их стараются одна перед другой проснуться пораньше, дабы придти на жатву прежде своей соседки. Нередко случается, что женщины, лишась своих мужей, исправляют одни все те работы, которые в других народах свойственны только мужчинам». Между вотяками нет ни непосредственно богатых, ни весьма скудных и лишенных пропитания. Праздность, будучи их обществом презираема, заставляет всех радеть о способах домостроительства; а земледелие служит истинною питательницею вятского народа. Богатство их составляют житницы, хлебом наполненные, пчелы и скотоводство, которыми будучи всегда изобильны, развозят на продажу по разным городам и заводам. «Границы их трудам есть смерть и младенчество, а прочее время жизни препровождают и самые дряхлые старики в домашней работе».

В июне 1770 года, завершив путешествие, Николай Рычков прибыл в Оренбург, куда еще в марте перебралась из Спасского вся семья Рычковых.

Петр Иванович с гордостью слушал рассказы сына, подмечая, как крепнет в нем пристрастие к новому ремеслу.

— Небось не приснилось бы никогда, сколь всего повидано и услышано?! Теперь журнал свои пухлый от дорожных записок надобно в дело привести — в научный труд, в книгу. Меньше ходи и разглагольствуй о путешествии своем, а опиши как есть. Ибо сказанное забудется, написанное останется. Суета молодости и теснота будней ныне первые помехи твои, но уединись, оттолкни все.

Коли вторая часть записок будет исполнена с тем же усердием, как и первая, показавшая твое стремление трудом заниматься не из тщеславия, а ради практической пользы для Отечества, то, как сказывали мне

достославные Паллас и Лепехин, сочинения твои, мой сын, будут изданы Академией наук уже в этом году, — наставительно рассуждал Петр Иванович, склоняя еще не отдохнувшего от долгого путешествия сына к осознанию того, как важны в научной работе самодисциплина и воля.

— Понимаю, отец. Я и сам жажду засесть за бумаги. Вот только на недельку съезжу к яицким рыбакам ушицы похлебать. Ты сам прежде не советовал спешить с писанием, дабы вместо краснобайства дельные мысли на бумаге оставлять.

— И чтобы сам себя не оговаривал, не повторял, — с улыбкой добавил Петр Иванович. — Когда в сочинении два-три раза появляются схожие рассуждения, то они напоминают рассеянного человека, который, попрощавшись и дойдя до порога, вновь идет в дом и кланяется.

Через два месяца Николай закончил и заново переписал первую и вторую части своих «Дневных записок». Перед отправкой в Петербург дал их почитать отцу.

— Надеюсь, труд сей не залежится в нашей академии, — сухо похвалил Петр Иванович сына. — Только внешне надобно бы его достойно оформить, почтение людям, тебе высокое доверие оказавшим, выразить. И хотя сим сочинением ты делом признательность свою им доказал, но благодарность автор, как ныне принято, может еще и в самой книге объявлять. Подумай, какие слова тут более подходящи.

Первые две части тома Императорская Академия наук издала в конце 1770 года В толстой коричневой с золотым тиснением на обложке книге было 325 страниц и одна ландкарта. Для читателя вхождение в книгу было торжественным. Прочитав на титульном листе оглавление «Журнал, или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 году», читатель открывал следующую страницу, на которой крупным красивым шрифтом было напечатано:

«Его сиятельству графу Владимиру Григорьевичу Орлову, ея Императорскому величеству камер-юнкеру Императорской Академии наук, главному директору».

Далее следовала страница такого содержания:

«Сиятельнейший граф, милостивый государь!

Первый опыт трудов моих нахожу я за лучшее посвятить моему благодетелю, дабы сохранить в вечной памяти, что Ваше сиятельство были Покровителем наших экспедиций и истинным благодетелем тому, который во всю жизнь свою пробудет Вашего сиятельства всепокорным слугою.

Николай Рычков».

Затем, открыв четвертую страницу, читатель находил для себя предисловие, в котором автор объяснял суть своей творческой задачи:

«Познание всех частей государства утешает каждого любящего Отечество... Мы почувствуем несказанное удовольствие, когда сограждане наши сочтут сей малый опыт трудов за знак нашего к ним усердия, и чем более будучи они им приятны, тем больше будем мы стараться, дабы по прошествии каждого года выдавать в публику наши «Дневные записки».

На пятой странице была представлена «Карта, учиненная во время путешествия капитана Рычкова по разным провинциям...».

И только с шестой страницы начинался сам текст «Дневных записок». Все это лишний раз свидетельствовало, что издатели книги с большим уважением отнеслись к первым трудам молодого ученого, тем самым упрочая в нем охоту к новым путешествиям и редкому своему промыслу.

ЛУЧШАЯ ОПОРА ИСТИНЫ

Не ровен час: всякое бывает.

Народная пословица

Весной Рычкову нечаянно подвернулся случай совершить еще одно, едва не закончившееся для него гибелью, научное путешествие в неведомые ему киргиз-кайсацкие степи.

В ту зиму в Оренбургском крае распространились слухи о том, что волжские калмыки собираются покинуть обетованные места и переселиться в земли своих предков, к границам Китая. Оренбургский губернатор Рейнсдорп сообщил об этом правительству осторожно, с неохотой: бегство целого народа из вверенного ему, генерал-губернатору, края в Петербурге могли истолковать всяко, поскольку даже в самом Оренбурге причины волнения калмыков одни объясняли возмущением их начальников-феодалов, тяготившихся централизованной властью; другие винили калмыцкое духовенство, которое пугало простой народ тем, что русские якобы намерены ввести у калмыков христианство, земледелие, рекрутские наборы. Вместо того, чтобы опровергнуть, пресечь эти подстрекательские слухи и обратиться к калмыкам с разъяснительным манифестом, Рейнсдорп ничего не предпринимал, убежденный, что калмыки поколоброят, повозмущаются, как и башкиры, да и утихнут.

Однако в марте 1771 года десятки тысяч калмыков с женами, детьми и табунами лошадей перешли на левый берег Яика и двинулись на юго-восток, в киргиз-кайсацкие степи.

Из Петербурга в Оренбург пришло тайное предписание уговорить беглецов либо остановить их силою. В погоню за калмыками был срочно снаряжен корпус под командованием генерал-майора Траунберберга, в составе которого находился старший сын Рыčkова Андрей, подполковник.

По поручению академика Палласа к корпусу присоединился и Николай Рычков с целью совершить под охраной войска дальнейшее путешествие в киргиз-кайсацкие степи и описать их. Письмо Палласа застало Николая в Челябинске, и в тот же день он отправился в Орскую крепость, откуда на рассвете 12 апреля вместе с корпусом Траунберберга выступил на восток.

Несколько десятков верст отряд шел вдоль реки Орь, намереваясь в ее верховьях, у подножия Мугаджарских гор, перехватить калмыков. Однако

отряд опоздал, преодолев горный перевал, калмыки поспешно устремились к реке Ирғиз. Возле перевала они дали бой наседавшим на них киргиз-кайсакам, потеряв при этом много людей и лошадей. Утрачивая коня, калмык лишался главного своего богатства, походная жизнь его становилась сплошным мучением, ибо детей, одежду, пищу ему приходилось нести на своих руках.

Николай Рычков, проходя с отрядом мимо древних развалин, мимо желтого цвета скалистых ущелий, по пустынной, без единого кустика, голой степи, сожалеет, что не имеет времени попридержаться, хорошенько осмотреть и описать дикие места. Отстать же от войска опасно, причем опасность исходила не столько от калмыцких мятежников, сколько от продажных киргиз-кайсаков, которые хватали всякого отставшего или зазевавшегося человека и уводили его в плен. По ночам в открытой степи, продуваемой по-апрельски сырым холодным ветром, становилось так неуютно, что без костров ночлег делался невыносимым. А где взять дров, сушняку, если на десятки верст окрест ни одного дерева? Приладились собирать сухие лошадиные шевяки, которых по степи было много всюду разбросано: в этих местах киргизцы пасли свои табуны. Шевяки горели сильным пламенем и давали столько же тепла, как и дрова.

Несмотря на спешный ход отряда, Николай Рычков все же стремится в путевом дневнике хотя бы кратко охарактеризовать обозримый ландшафт. По восточному берегу речки Камышла его восхищают громадные, крутые, похожие на «древностью опровергнутые здания», почти отвесные горы, между каменных глыб которых находятся кусочки желтоватого прозрачного топаза. Далее, до самых верховьев реки, все долины и нагорья умощены белым блестящим мрамором. «Главнейшее преимущество его состоит не столько в отменной его белизне, сколько в блеске, который испускает он из себя при солнечном сиянии и который чрезвычайно редок в сем роде камня», — отмечает Николай Рычков в дневнике, полагая употребить мрамор для сотворения статуй и великолепных зданий. Предлагает он и способ доставки ценного камня в Россию: судами по реке Камышле, которая впадает в Орь — приток Яика.

Мраморные места занимают более двадцати пяти верст в длину и неизвестно сколько верст в ширину.

Николай Рычков описывает состав почв, скудную степную растительность, солончаки, озера, каменистые берега реки Ирғиз, долины, уставленные огромными ворохами дикого камня, мрамора и агата — старинные кладбища киргиз-кайсаков.

Поскольку отряд русских и киргизцы действовали подчас сообща,

Николай имел возможность разглядеть и познать некоторые их обычаи. Так, каждый киргизец, выступая в военный поход, имел при себе четыре лошади. Самую лучшую из них берег для сражения. Военная одежда не только богатых киргизцев, но и простолюдинов от повседневного платья отличается тем, что на спине верхней одежды воина нашиваются два мешочка. В одном хранится текст молитвы, защищавшей от болезни и неприятельского оружия, в другом — еще одна молитва, делающая киргизца храбрым и неустрашимым. Ружья покупают они в Ташкенте, а порох и пули делают сами.

Нравы у киргизцев, какими они показались Рычкову, не вызывают особой похвалы. Корыстолюбие, лукавство, обман часты у них в обхождении между собою и в общении с русскими. Зато в киргизских женщинах больше естественной красоты и добродушия, нежели в мужчинах.

«При многих случаях, — замечает Рычков, — спасают они пленников от жестокости, приготовляемой для них мужьями их, и сии знаки человеколюбия умножают к ним усердие невольников. Нежность, к которой имеют они нарочитую склонность, нередко разделяют с ними их пленники; но в таком случае жертвуют оба они жизнью своею, когда узнают про то ревнивые их мужья. Сколь ленивы к работе вообще все киргиз-кайсаки, столь трудолюбивы женщины в их народе».

Живут киргизцы по своеобычному закону, что называется Кун. В нем нет каких-либо прав, судебных указов, которые могли бы применяться при разборе разных жалоб и тяжб. Действует у них лишь один строгий древний устав, по которому карается убийца. Ему даруют жизнь и свободу, но при условии, если он заплатит родственнику убитого сто лошадей, одного пленника, двух верблюдов, наилучший суконный кафтан, шкуру черной лисицы, одного беркута, кольчугу, ружье и определенное количество зарядов к нему. Если убийца не в силах внести эту плату, то ему помогают его родственники.

Подобно же карается человек, нанесший другому увечье. Только виноватый выплачивает половину того, что отдал бы за убийство.

Не доезжая реки Иргиз, командование корпуса ранним утром выслало вперед полсотни казаков на разведку. К вечеру они возвратились с вестью о том, что калмыков на обоих берегах реки не обнаружено, не найдено и каких-либо свежих следов их движения по тем местам. Тогда начальство корпуса направило к киргиз-кайсацкому хану посланников с просьбой дать толкового вожака-проводника. Через два дня в отряд прибыл киргизец с письмом от хана, в котором сообщалось, что калмыки, перейдя Иргиз,

ринулись прямо в сторону песков Чеколаккум. Такой тяжкий путь ими неразумно избран ради того, чтобы спрямить свой путь к китайской границе. В русском отряде с трудом поверили в истину такого сообщения киргизского хана, засомневались. Прекрасные знатоки степей, калмыки вряд ли могли рисковать таким глупым образом, загоняя самих себя в безводную пустыню. Однако оказавшимся в неведомых краях верховодителям русского отряда ничего не оставалось, как следовать маршрутом, указанным киргизским ханом и присланным им вожатым.

Проехав сто верст песками Чеколаккума, русский отряд приблизился к озеру Аксакал Барбы, разливавшемуся на двенадцать верст в ширину и более чем на двести верст в длину.

Прибрежные камыши кишели птицами: черные турханы, белые гуси и лебеди, разных родов утки, цапли... В камышах же устроили себе жилища кабаны. Сделав на берегу привал, воины настреляли много птицы, на кострах варили и жарили ее, насыщая полуголодные желудки свежей пищей. Затем отряд долго двигался опять пустынной каменистой степью, где не было ни растительности, ни каких-либо живых существ. В отряде кончился провиант, нечем было кормить и лошадей.

«К голоду, угрожающему нашему войску, приобщилась еще и опухольная болезнь, которая показалась по всему телу многих людей; и сие приводило нас в страх и отчаяние. Причиною сей опасной скорби была скудная пища, горькие и соленые воды, коими принуждены мы были питаться несколько дней, прежде нежели достигли реки Тургай. С сего времени не было уже иной пищи у людей, как исхудавшие или каким-нибудь недугом поврежденные лошади...»

Со дня выхода отряда из Орской крепости прошло полтора месяца, но надежда догнать калмыков все более угасала в сердцах русских воинов. Выполнению задачи мешали коварные киргиз-кайсаки, выступавшие как проводники и сотоварищи русских, на деле же направлявшие их по ложным целям, дабы помочь калмыкам уйти от преследователей, а самих преследователей заманить в такие места, где они наверняка погибли бы от безводья и голода.

Ради подтверждения этой страшной догадки генерал-майор Траунберберг отобрал сто наилучших и добродетельных казаков и отправил их вперед с тем намерением, чтоб они ни мало не щадя своих коней, ехали бы с всевозможною поспешностью не только до Алтайских гор, где, по уверению киргизцев, калмыкам быть надлежало, но, упреждая бегущих мятежников, объехали бы гряду тех гор с восточной стороны. Если они нигде калмыков или следов их прохождения не встретят, то с той же

поспешностью обратились бы назад. Важно было выяснить, на какое расстояние калмыки оторвались от отряда и есть ли какая истинная возможность и надежда нагнать их. Если такая надежда не обретется, то всему корпусу нужно срочно повернуть назад, дабы уйти от надвигающейся гибели.

Разведывательный отряд казаков под командой сотника Севостьянова на рассвете 10 мая рысью поскакал в сторону синевших впереди Алтайских гор. Корпус обычным маршем двинулся следом и, пройдя с десятков верст, расположился лагерем. Оставив коня, Рычков не спеша обошел окрестности, внося в свой дневник записи разных достопримечательностей. Как и в верховьях реки Камышлы, здесь в дальних отрогах Алатау повсюду белели мраморные плиты и камни. На речке Карагангли в крутой горе он обнаружил толстые слои желтой охры, красной черепицы и мелкие кусочки слюды. В лагерь вернулся с сумкой, наполненной разными минералами, и встречен был недоуменными взглядами и расспросами путников, не нашедших в его сумке ничего, кроме камней.

Весь отряд погиб бы, если бы еще несколько дней следовал за калмыками. Этот печальный вывод сделал для себя каждый, когда через три дня возвратилась сотня Севостьянова с известием, что, проехав более двухсот верст по калмыцкому шляху, идущему вдоль хребтов Алатау, казаки не только не застали где-либо калмыков, но и примет их недавнего шествия. Полусгнившие трупы лошадей и верблюдов и людей, брошенных в разных местах, свидетельствовали о том, что калмыки сравнительно давно миновали эти места.

«Сколь ни велико соблезнование было всех военных чинов, бывших в сем походе, о худом успехе порученного им дела, но, увидев, с одной стороны, невозможность преследовать в отдалении бегущих изменников, с другой — суровость голода, сопряженного с мучительными болезнями, принуждены были склониться принять возвратной путь к родным границам и там искать спасение погибелю окруженному отряду», — записывает Рычков в путевом дневнике, уже не надеясь завершить свои записки. Голод и болезни валили людей, умерших едва прикрывали песчано-каменистым грунтом и двигались дальше.

Николай ничего не сообщает в записках о действиях своего старшего брата подполковника Андрея Рычкова, лишь замечает, что офицеры, дабы отвратить предстоящую гибель отряда, отдали солдатам весь собственный запас провианта, который был слабой отрадой людям, истощенным голодом и болезнями. Офицеры старались приободрить

отчаявшихся подчиненных, показать, что готовы наравне с ними разделить участь ожидаемого бедствия.

Больше недели отряд продвигался на северо-запад через дикие, дышащие зноем, степи, надеясь добраться до мест, где имелись бы хоть какая растительность и питьевая вода «Пятый день мы не имеем почти никакой пищи, — отмечал в дневнике Николай, — а бывшие с нами драгуны и казаки около двух недель едва имели случай напиться худым лошадиным мясом и молодыми грачами», коих вытащили из гнезда в первом же лесочке близ какой-то степной речки.

Когда силы путников были вконец истощены, когда они заранее стали «исчислять все жестокости предстоящей смерти», вдруг они увидели скачущего навстречу казака, который, находясь в передовой колонне, выехал на высокий бугор и, обозрев предстоящий путь, с непонятными возгласами помчался обратно к отряду. Войско остановилось в нерешительности.

«Смущение, боязнь и радость объяли наши мысли, и мы колебались между страхом и надеждою до его к нам прибытия. Но в какое удивление и радость пришли мы, когда услышали от него, что, поднявшись на верх горы, усмотрел он вдали российское селение! Чтобы удостовериться в том, каждый, употребля остатки сил своих коней, устремились скакать к тому месту, откуда было сие видно... Изображение той минуты, в которую мы из отчаяния приведены были вдруг к предмету радости и спасения, превосходят силы мои, весьма слабые ко изъяснению душевных действий. Сие видение на тот час принимали мы не иначе, как за пустое привидение, и уверились не прежде, как въехали в самую крепость и вошли в жилище, нам отведенное. Кусок хлеба, который подал нам хозяин сего дома, был для нас лучшим сокровищем всего света», — придя в себя, чуть позже запишет в своем дневнике Николай Рычков.

Отдохнув два дня в крепости Усть-Уйской, он с напарником выехал в Троицк с намерением добраться до Оренбурга наиболее верной дорогой, то есть взять за ориентир в пути Оренбургскую сторожевую линию — ехать вдоль ее форпостов и крепостей.

Он достиг Губерлинских гор и находился уже в двух днях езды до Оренбурга, как почувствовал в себе сильную горячку. Организм, ослабленный двухмесячным тяжелым походом, нуждами и голодом, не мог сопротивляться быстрому наступлению болезни. В оренбургский родительский дом Николай въехал едва живым и надолго слег в постель. В течение двух месяцев Петр Иванович, борясь за спасение жизни сына, выхаживал его, приглашая то одного, то другого доктора Подолгу

просиживал у постели больного и сам, слушая и одобряя его рассказы, которые удивляли его редкими и подчас странными сведениями.

— А когда от озера Аксакал Барбы мы через камышовые заросли двинулись на восток, то увидели далеко впереди себя дивное сияние. Заторопились мы, усугубили бег коней, думая в светящихся вдали камнях обрести разные сокровища И чем ближе подъезжали, тем сильнее лучилось то сияние. Наконец достигли мы того манящего блеска, но вместо драгоценных камней нашли там разной величины куски розового гипса Солнечные лучи, падая на них, рождали красивое отражение. И сей дивный обман не можно раскрыть издалика, а лишь подойдя к тем красным камням, среди которых есть и белые.

— Сие сияние напоминает мираж в пустыне. Игра света в атмосфере...

— Отец, в твоей «Истории Оренбургской» немало написано о жизни и гибели хана Абул-Хаира, — продолжал Николай Рычков. — Мне же случилось у самой его могилы побывать. Это место находится на расстоянии двух дней езды до песков Чеколаккум, ежели ехать с запада на восток.

— В тех местах я не бывал, а потому завидую тебе, сын.

— Нам встречалось много могил киргизцев. Они представляют собой холмики из дикого красного камня — агата или мрамора Некоторые из них покрыты поверх каменье коврами, сделанными из камыша. Вместо креста в холм воткнуты копье и колчан со стрелами.

— А какова могила Абул-Хаир-хана?

— Она возвышается среди многих других на том, называемом киргизцами ханским, кладбище. Могила сделана из нежженого кирпича, обмазана белой глиной, вид имеет четвероугольной палаты. В западной стене сего строения есть отверстие наподобие ворот. Войдя в него, видишь глиняный гроб, которым прикрыта яма, где лежит усопший. Сказывали, что знатнейший хан похоронен в обыкновенной одежде, вместе с саблею, копьем и стрелами... Киргизцы с благоговением чтут сию могилу, а самого умершего хана Абул-Хаира считают за святого.

— Хан не умер, его убили, — уточнил Петр Иванович. — Причем сие злодейство сотворили сами киргизцы по коварному подлогу султана Средней киргиз-кайсацкой орды.

— Да, он из-за зависти к могуществу его подкупил, нанял убийц, и те внезапно напали на Абул-Хаира неподалеку от того кладбища. А святым киргизцы убиенного признавать стали не вдруг, а после того, как на месте могилы выросла ветла и ветвями прикрыла часть глиняного мавзолея. И теперь в день всеобщего поминовения киргизцы толпами собираются туда

и, молясь, отдирают от своей одежды по небольшому лоскутку и привязывают к ветвям того дерева. Другие же в знак соболезнования вырывают у себя клочки волос и кладут к подножию ветлы.

Ханская могила окружена четырехугольной каменной оградой, длиною и шириною по двенадцать аршин. С полуденной стороны в ограде сделаны ворота, через которые в день жертвоприношения вводят скот и там же убивают... Как раз за два дня до нашего посещения того кладбища побывал там киргиз-кайсацкий Нурали-хан, любимый сын Абул-Хаир-хана. Справляя поминки по отцу своему, он велел зарезать молодую лошадь, которая тут же была сварена и съедена.

— Нурали-хан самый воинственный и смелый из всех сыновей его.

— О киргиз-кайсаках немало писано в твоих книгах, отец. Научные сведения о них, как мне известно, представили академики Паллас и Лепехин. Но ко всему тому всегда могут быть добавления, ежели народ сей со вниманием послушать... Покуда мне никто не объяснил происхождение киргиз-кайсаков. Сами же они имеют любопытное предание, в котором на сей вопрос ответ можно найти. Слыхал я от них, будто в далекой древности они с крымцами составляли единый народ и обитали по всей Азии. Потом киргизцы отделились от крымцев якобы по той причине, что крымский хан Кундугур, правящий тем объединенным народом, умер, оставив после себя двух жен и множество сыновей. Наследники при дележе между собой обидели младших братьев, которые, огорчась, оставили жилища своих родителей и ушли в степь, где долгое время обитали, переходя с места на место. Постепенно число их умножилось до сорока человек. Жили они вольным кочевьем, разбоем, конокрадством, за что их тамошние жители прозвали «кирк-кайсак», то есть сорок холостых. Затем эти холостяки наворовали себе жен из селений, принадлежащих кундугурцам, и стали быстро размножать свой род.

— Занятное предание, токмо нам надлежит свои предположения прежде достоверными сведениями подкреплять, — выслушав сына, заметил Петр Иванович. — Легенды и предания записывать надобно, но лучшей опорой истины в нашем деле служит то, что лично увидено, услышано, руками опробовано.

— Верно, на чужие рассказы положась, нечаянно можно от истины отступить, — сказал Николай. — Даже опытный ученый муж сие может допустить. Ты, отец, говорил да и в «Топографии» своей свидетельствовал, что золота во всей Оренбургской губернии пока не найдено. А оно близ речки Камышлы обнаружено. На карте я пометил то место, где вполне разумно можно приискать.

— Это истинная находка, Николай! — возрадовался Петр Иванович и добавил: — Когда же писалась «Топография», золота действительно в нашем крае ни в каких справках не было...

Просматривая записки сына, Петр Иванович подчеркивал, что в них ново и особенно ценно. С одобрением высказывался о том, как сын «верблюжью колючку» описал.

— Это кормовое растение живет в знойных степях, я слышал, но доподлиннейшие сведения о нем читаю впервые.

Лишь в августе, окончательно выздоровев, Николай Рычков засел за бумаги, а через три недели выехал в Башкирию, где продолжил топографические и натуральные исследования южной части уфимской провинции. Вернулся домой в октябре, начисто переписал свои «Дневные заметки» и отправился с этим научным трудом-отчетом в Петербург.

В Академии наук новое сочинение Николая Рычкова встретили с одобрением и без промедления опубликовали в начале 1772 года. Чуть погодя «Дневные заметки» были переведены на немецкий язык и изданы в Риге.

Успех окрылил молодого естествоиспытателя. Однако занятия географической наукой, требующие знаний, воли и здоровья, не давали почти никаких средств для жизни, материально не вознаграждались. В экспедицию профессора Палласа Николай Рычков был назначен с жалованьем двести рублей в год. Эта мизерная оплата нелегкого, связанного с частыми отлучками из дому, рискованного труда явилась одной из главных помех продолжению занятий Николая географической наукой. Не имея постоянных средств для содержания своей молодой семьи, двадцатипятилетний путешественник, адъютант Императорской Академии наук вынужден был оставить науку и занять пост чиновника. Возле Царицына открылся Ахтубский шелковый завод, куда Николай Рычков был вскоре определен директором.

Петр Иванович горевал, что не мог материально поддержать сына, создать ему условия для продолжения научного ремесла Рычков-отец к этому времени сам был отягощен житейскими неурядицами, лишениями, бедностью и все чаще озадачивался тем, как прокормить свое многочисленное семейство, где бы устроиться на службу.

БОГАТЕЙШАЯ В ЦЕЛОМ СВЕТЕ

Нужда свой закон пишет.

Народная пословица.

В апреле 1766 года в письме к Миллеру Петр Иванович сообщал:

«На сих днях бежал у меня с заводу слуга, кой был тут приказчиком: унес с собою и последние мои деньжонки. И так не знаю, как исправляться. Продаю оренбургский мой двор, но и на то купца нет — я уже за половину цены рад бы его отдать. Мое намерение в том ныне состоит, чтобы, распродав все и вступя в службу с жалованьем, предать всего себя на услуги Отечеству...»

В декабре того же года он отметил в своих «Записках»: «К великому моему огорчению и убытку, сделался тут пожар, от которого медь и заводские машины сгорели и завод сделался недействительным».

Эти несчастья и прочие хозяйственные неудачи разорили Рычкова. Деятельного помещика-предпринимателя из него не получилось, поскольку свои пашни, пасеку, медеплавильные печи он использовал в основном не для производства прибыльной продукции, а для проведения нескончаемых опытов. Глава многочисленного семейства, он остро ощущал свои обязанности перед ним: прежде всего нужно обеспечить детей хлебом насущным, а потом заниматься наукой, творчеством. К тому же запасы материала для научной работы стали у него оскудевать.

Устранившись от службы, Рычков во многом утратил возможность воздействовать на ход событий в крае. Научные и литературные занятия же в те времена мало почитались в обществе и, как уже сказано, материально не поощрялись. Не поэтому ли Рычков начинает искать способы применения своих знания, сил и таланта на ином поприще.

Вспомнив, что при дворе императрицы учреждена особая правительственная «Комиссия о коммерции», куда его когда-то приглашали сотрудничать, Рычков пишет большую статью «Мнение о распространении оренбургской коммерции в дальнейшие азиатские стороны и о средствах к тому надлежащих» и посылает ее академику Миллеру с припиской-уведомлением, что он в названной комиссии готов работать. Однако один из руководителей ее, Григорий Теплов, через Миллера передал Рычкову, что «Мнение» его и он сам не скоро еще понадобятся. «Так что не думайте

быть скоро вызванным для того, — резюмировал Миллер. — Да и зачем вам желать этого. Не лучше ли спокойно проводить свою старость дома и в своем семействе? По крайней мере я думал бы так, бывши на вашем месте».

Странный совет. Зная о могучем потенциале Рычкова как талантливого историка и географа, Миллер наставлял его, 55-летнего ученого, бросить все дела и в деревенском уединении тихонько доживать свой век.

Рычков делает попытку устроиться директором Казанской гимназии, не пугаясь того, что предшественник основательно запустил в ней работу: учителям более полугода не выплачивали жалованье, здание нуждалось в ремонте...

Но директором назначили другого.

В марте 1767 года Петр Иванович едет в Москву, куда недавно из Петербурга перебрался царский двор. В своих автобиографических «Записках» он вспоминает об этом визите так: «12 марта я имел счастье представиться Ея Величеству и удостоился из уст ея услышать следующие слова: *«Я известна, что вы довольно трудитесь на пользу Отечества, за что вам благодарна»*. Рычков преподнес Екатерине II свою новую книгу «Опыт Казанской истории», написав автограф. Императрица приняла ее с благодарностью и более часа в парадной своей опочивальне разговаривала с автором, расспрашивая о городе Оренбурге, о ситуации тамошних мест, о хлебопашестве, о коммерции так снисходительно и милостиво, что тот день запомнился Петру Ивановичу «наилучшим и счастливейшим в жизни».

О многих оренбургских новостях и проблемах поведал Рычков императрице, только о себе, о безуспешном поиске места службы не замолвил ни словечка. В беседе участвовал его сиятельство граф Григорий Орлов, всемогущий придворный сановник. Казалось бы, Рычкову представился удобный случай обратить внимание этих царедворцев на незавидное свое житейское положение. Не воспользовался, промолчал.

Выйдя из хором императрицы, пошел бродить по Москве, разыскивая адреса своих старых приятелей. По их совету он обратился в герольдмейстерскую контору с просьбой принять его на службу. Но вакансии там не оказалось. Ждать долго Рычков не мог: для длительного проживания в Москве у него не было денег. Поэтому он в мае выехал из столицы в Спасское, оставив в некоторых московских учреждениях свои координаты, на случай, если в ближайшее время для него окажется свободное место службы.

Вскоре прослышал, что освобождается должность помощника

губернатора в Казани. «Невозможно ль вам самим, ежели пристойно и обстоятельства дозвоят, побывать у его сиятельства генерал-прокурора и употребить ваше в том ходатайство?» — пишет он Миллеру.

Грустное письмо: активнейший член-корреспондент Академии наук обращается к ее конференц-секретарю не с просьбой оказать содействие в решении какой-либо научной проблемы, а просит должности, которая бы обеспечила его семье безбедное существование.

Помощником казанского губернатора назначили другого. Рычкову же ничего не оставалось, как терпеливо ждать, когда в Сенате вспомнят о нем и определят на какую-нибудь службу. «Я по-прежнему продолжаю жизнь мою деревенскую, — пишет он 31 января 1769 года Миллеру, — и, взирая на обращения нынешние, часто удивляюсь, а иногда и тужу об моей судьбине».

Продолжалась и его научная работа. Именно в эти годы Рычков создает интереснейшие исследования о способах повышения урожая хлеба, об угольной земле и других полезных ископаемых, о козьей шерсти и необходимости создания пуховязального промысла... 25 ноября 1769 года Собрание Вольного экономического общества постановило за полезные печатные труды наградить Рычкова серебряной медалью. Четвертой по счету.

В конце того же года Петр Иванович получил от нового оренбургского губернатора Ивана Андреевича Рейнсдорпа письменное приглашение и выехал в город. Во время аудиенции выяснилось: нужен человек, способный коренным образом улучшить работу соляного промысла. Рычков знал Соль-Илецкий рудник и согласился возглавить правление соляных дел губернии. После чего Рейнсдорп направил правительству ходатайство, рекомендуя Рычкова на эту должность. Член-корреспондент Академии наук, автор нескольких книг, Рычков не оскорбился назначением его на сугубо хозяйственную службу со скромным годовым жалованьем в одну тысячу рублей и энергично взялся за дело. Об илецкой соли он уже писал в «Топографии Оренбургской», теперь же надеялся, что новая служба поможет расширить, углубить познания об уникальном месторождении.

В начале 1770 года Рычков выехал в Илецкую защиту, что находилась в семидесяти верстах от Оренбурга. Ознакомившись с работой промысла, он прежде всего запретил хищнические способы добычи соли. Ее брали там, где верхний слой земли был наиболее тонок; добытчики снимали его и рубили соль, оставляя после себя повсюду ямы различной глубины. Не выбрав соль из одной, рубили другую, третью... Вся наземная площадь месторождения была изрыта, ямы заполняла дождевая и снеговая вода, она

растворяла соль. Образовывались целые озера соленой воды. Посетив рудник, Петр Паллас писал: «Вода во всех ямах густа и черновата, киргизы почитают сию воду за целебное лекарство от многих болезней и потому часто приезжают сюда, купаются в рассоле. Рассол столь густ и тяжел, что если человек войдет в него по грудь, то уже его вздымает, а на поверхности рассола может человек почти так лежать, как на доске». Эти свойства воды привлекли и Рычкова: «Купающийся в ней человек подлинно далее плеч не грузнет; поджавши ноги, можно на ней сидеть, не касаясь дна...»

Удивляясь этим чудодейственным свойствам воды Илецкого рудника, Рычков, однако, не менее удивлен был творящейся на нем бесхозностью. Истоки ее уходили в историю промысла. Использовать илецкую соль начали в конце семнадцатого столетия. Еще в 1739 году в своей краткой географии России Василий Татищев писал о великих залежах каменной соли у подножия Гипсовой горы. Эта гора с пещерами-ледниками влекла к себе кочевников-скотоводов, была своеобразным пристанищем и степным маяком для них. В сорокаградусную жару в пещерах гулял холодный ветер, а в зимнюю стужу из расщелин струился теплый воздух.

Первую попытку обследовать соляные залежи предпринял в 1744 году по поручению оренбургской администрации майор Кублицкий. Он раскапывал землю и на глубине двухтрех метров обнаруживал каменную соль. Чтобы определить величину залежи, в Илецк прибыл полковник Ревельского драгунского полка англичанин Иннис. В своем докладе губернской канцелярии он сообщил, что месторождение уникально, запасы его так огромны, что весьма затруднительно установить точные его размеры.

В 1745 году образцы илецкой соли были отправлены в Петербург для лабораторного исследования. Первый физикохимический анализ произвел М. В. Ломоносов. «Илецкая натуральная соль, — писал он в отчете о результатах исследования, — всех прочих солей тверже и, будучи истолчена, получает очень белый цвет и с воздуха в себя влажности отнюдь не принимает. Она имеет сильную алкалическую материю, которая есть основание и твердость материи соли. Для таких свойств надобно сию соль в твердости, силе и споризне предпочесть другим солям».

Но еще раньше этих исследований «самородная» илецкая соль была в ходу. «Всяк для себя ездил за нею, ломал и брал сколь кому понадобится». В 1727 году в правительственном «Уставе о соли» было объявлено, что возить и продавать соль можно лишь при условии «платежа положенной пошлины 3 копейки с пуда». Казанскому губернатору и уфимскому воеводе

предписывалось строго контролировать сбор пошлины, всюду были учреждены особые заставы, они вели учет вывозимой соли. Это позволяло судить о производственной мощности соляного промысла.

Ограничения возмутили башкирское население: соли оно добывало всегда столько, сколько ему требовалось. Тогда Сенат своим указом от 31 мая 1734 года разрешил башкирам свободно пользоваться илецкой солью, но запретил продавать ее русскому населению и за пределами своей земли. Башкиры, татары и киргизы, однако, постоянно нарушали эти запреты и, обходя и подкупая стражников на малочисленных заставах, продолжали вывозить и продавать соль. 13 февраля 1749 года вышел указ Сената, которым вообще запрещалась свободная продажа илецкой соли, купцам-солеторговцам добытую соль велено было сдавать в оренбургские казенные магазины. Этот указ вызвал новую волну недовольства не только среди местного населения, но и у жителей многих российских губерний, где соль продавалась «зело дорогими ценами». Из-за ее постоянного дефицита люди болели цингой. Оживились спекулянты и контрабандисты. Они пронырливо скупали соль в магазинах по государственной цене и везли ее в дальние провинции, где продавали втридорога. Башкиры и татары не мирились с правительственными нововведениями, хотя ясак на соль с них был снят. Но их стесняли строгие ограничения в добыче и вольной продаже соли. Именно введение соляной монополии вскоре явилось одной из причин крупного башкирского восстания. Его вождь мулла Батырша Алиев впоследствии на допросе заявил: «Також издревле из казны господа бога нашего — из гор и озер — бираемую соль брать запретили, из городов покупать принудили, чему Оренбургской губернии старые и малые мусульмане все единогласно к тому согласились».

Отменив в 1754 году ясак и объявив Илецкий соляной промысел государственным предприятием, оренбургский губернатор Неплюев должен был бы поставить добычу соли на промышленную основу. Но бесперебойная прибыльная работа промысла могла быть налажена лишь при хороших кадрах горняков, специальной оснастке, при наличии складских помещений, транспортных средств, торгующей сети, заказчиков... Подготовить, включить в работу весь этот конвейер оказалось не так просто. В штольнях соль добывалась вручную в основном колодниками-каторжниками под приглядом вооруженных солдат. Везли ее на телегах и санях.

Учрежденная Оренбургская соляная контора обустройство Илецкого промысла начала с того, что сдала его на несколько лет в аренду сотнику казачьего полка Алексею Углицкому, который обязался ежегодно

поставлять в магазины Оренбурга пятьдесят тысяч пудов соли. С вверенной ему ротой солдат он в 1754 году воздвиг небольшое бревенчатое сооружение, получившее название Илецкая защита. В этой крепости разместились казармы, склады, продовольственный магазин, церковь, по углам — пушки. Однако Углицкий не смог поставить обещанное количество соли, и уже в конце 1755 года промысел возглавил коллежский советник Тимашев. При нем добыча соли возросла до четверти миллиона пудов. Ее стали возить не только по суше, но и по рекам: Яику, Волге, Каме, Белой. Для строительства пристаней, легких судов, барок, соляных лавок требовалось много леса. В южно-уральской степной зоне его извечно не хватало. Приходилось доставлять издалека, что повышало себестоимость соли.

Возглавив промысел, Рычков поставил задачу увеличить добычу соли до одного миллиона пудов в год. Для этого нужно было, как он считал, улучшить условия и организацию труда горняков. Рычков вводит на руднике своеобразную производственную кооперацию, почасовую оплату труда с выработки. Откачивать рассол из ям стали насосные машины. Рычков придумывал разные приспособления для подъема соляных глыб из шахты, вырубку соли велел вести не только в вертикальном, но и горизонтальном направлении. В результате в подземном руднике образовались просторные камеры, где могли одновременно работать несколько горняков. Все же это был тяжелый, «потопроливной» труд. Рычков его впоследствии опишет так: «Сперва они прорывают борозды глубиною в пять четвертей, а шириною вершка в три так, чтобы одна борозда от другой расстоянием была на аршин. Таким образом приготова несколько борозд, совокупляясь в одно место человек по 20 и по 30, сбивают соль с самой подошвы барсом (то есть особым бревном), ударяя им по несколько раз в косяк. А как косяк даст трещину, то отделяют его от подошвы соляной, запуская в него большие рычаги, коими отваливают его в сторону. В таком косяке случается пудов по триста и более...»

Чтобы перевозить соль более дешевым водным путем, Рычков добился денег на строительство легких барочных судов, речных пристаней. Наполовину сократил число каторжников, заменив их вольнонаемными рабочими. В течение 1771 года ему удалось добыть 359 тысяч пудов, то есть в семь раз больше того, что планировал первый арендатор рудника Алексей Углицкий.

Служебная круговерть, многогранные хлопоты о руднике отбирали у Рычкова много времени, но и обогащали его живейшим материалом для творчества. В 1772 году в «Трудах Вольного экономического общества»

публикуется большая его статья «Описание Илецкой соли» — первое в экономикогеографической литературе аналитическое исследование соляного промысла. В ней говорится, что соль расположена огромным куполом, и, хотя разработки ведутся уже на глубине тринадцати сажен, «конца залежи не предвидится, ибо природа в неизмеримом количестве ее приготовила». Неизвестно, когда и кем она найдена, «но в том ни малейшего нет сомнения, что и древние пользовались солью. Свидетельство тому развалины, множество ям и насыпных бугров, где они ту соль добывали».

Приблизительные оценки запасов Илецкого соляного месторождения дал в своей книге путешествий и академик Петр Паллас: «Сколь глубоко Илецкая каменная соль простирается в землю, того доподлинно определить не можно. Для исследования глубины оставил я там горный бурав, которым в день с великим трудом просверливали крупную соляную опоку не много больше полуаршина, при том же горный бурав несколько раз ломался; и напоследок осенью в глубоком месте ямы просверлили 20 аршин с лишком сквозь самую чистую соль и дошли до черного столь крепкого камня, что невозможно было глубже буравом сверлить, и принуждены были работу оставить».

Тайна илецкой подземной кладовой привлечет интерес многих ученых последующих поколений. Применяя более совершенную горную технику, они неостановимо приближались к разгадке соляного месторождения, «богатейшего в целом свете».

Горный инженер капитан Рейнке, пробуравив в 1850 году 145-метровую скважину, определил запасы илецкой соли в количестве 74 миллиардов пудов. Он подсчитал, что при ежегодной добыче в объеме 4 миллионов пудов запасов хватит на восемнадцать тысяч лет. В 1935 году геологи мощным буром прошли соляной монолит на глубину 463 метра, но каменесоляной флец уходил еще дальше. Только благодаря химикогеофизическим исследованиям ученые установили, что толщина соляного купола не менее полутора тысяч метров. То есть запасы илецкой соли действительно неисчерпаемы и, как пророчил Рычков, могут удовлетворять потребности государства «на премногие века и в неизмеримом количестве».

Его восхищали несравненные ее качества: «Чистотою и твердостью едва сыщется где подобная ей!» Будущее подтвердит эту высокую оценку. Илецкая поваренная соль, «твердая, как мрамор, и чистая, как стекло», будет отмечена медалями и призами на всемирных и всероссийских выставках и ярмарках девятнадцатого столетия.

В ноябре 1772 года начальник Главной соляной комиссии тайный советник Михаил Яковлевич Маслов прислал Рычкову ордер, в котором объемы добычи соли были «похвалены и почтены против всех годов отличными». Комиссия пригласила Рычкова приехать в январе следующего года в Москву с отчетом о работе. Рычков незамедлительно выехал.

Узнав, что Петр Иванович заявился в столицу, Вольное российское собрание Московского университета пригласило его на свое заседание. Профессор Иван Иванович Мелиссино произнес в честь ученого-географа и историка приветственную речь, торжественно представил его как автора полезных и известных сочинений. Это учено-литературное общество предложило Рычкову звание своего члена в надежде, что «уральский Ломоносов» будет сотрудничать с издательством Московского университета.

Петр Иванович не замедлил откликнуться на предложение. Возвратясь в Оренбург, он вскоре выслал в издательство рукопись своей новой книги «Введение к Астраханской топографии», которая уже в следующем году была выпущена в свет. В первой части ее изложена история губернии с древнейших времен, во второй описано падение Астраханского ханства и присоединение его к России.

В Москве Петр Иванович, помимо встреч с учеными, как обычно, пообщался и со своими непосредственными начальниками по Главной соляной конторе — Петром Дмитриевичем Еропкиным и Михаилом Яковлевичем Масловым. У последнего он побывал на дому, где в застолье беседовали не только о работе Илецкого и других соляных промыслов России. Рычков жадно интересовался культурной жизнью.

— Комедии Сумарокова всюду ныне ставят, Вольтером и прочими иностранными сочинениями, особливо французскими, до слез зачитываются, — без интереса сообщал Михаил Яковлевич. — То пища детей моих. Мне же редко заниматься всем оным служба позволяет... А вообще, как обзору жизнь многих тутошних дворян да и помещиков, от службы отошедших и получивших сим случаем обширный досуг, то горестно душе бывает. Раньше чтением книг мы образования себе прибавляли, чтобы грамотнее службу исполнять, а ныне ради развлечения и пустых бесед они иноземным чтивом заняты. А знания без дел всегда вянут, ум от праздности дремлет, какими бы книжками его ни потчевал...

— Что так, то так. Надо ли образовываться, быть умным для того токмо, чтобы ничего не делать? — поддерживал собеседника Рычков. — Без похвальбы скажу, я своих сыновей не токмо в университет посылаю, на главное, чтобы после окончания оногo всех к государственной службе

приохотить норовлю.

— Кабы все так старались... Ан нет. Вся Москва расфранченными бездельниками заполнена, что и русской одеждой, и языком родным брезгают...

Об этой жизни современников Рычкова, дворянского и помещичьего большинства, историк Василий Ключевский впоследствии напишет так: *«Положение этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем; с рук дьяка-учителя человек этого класса переходил на руки к француз-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках... Этот дворянин представлял очень странное явление: усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, — все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими, никакого серьезного дела. Таким образом, живые, насущные интересы не привязывали его к действительности; чужой между своими, он старался стать своим между чужими и, разумеется, не стал: на Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, как на случайно родившегося в России француза. Так он стал в положении междоумка, исторической ненужности».*

СЛУЖИТЬ БЫ РАД...

Я своего сердца никогда постоянным двором не сделаю и в оное, кроме умных и добродетельных людей, никого не пущу.

(Из письма молодого человека. XVIII век)

Пожалуй, более половины жизни Петр Иванович провел в дороге. Стоит открыть почти любую страницу его «Записок», и сразу же окажешься в пути. «Ноября 27 дня выехал я из Оренбурга для осмотра новых пристаней с тем намерением, чтобы быть в Москве для персонального объяснения о порученной мне комиссии главнокомандующему генералитету, — кратко сообщает он. — 28 числа был на Бугульминской пристани, 29 на Акидарской пристани, а 30 в г. Уфе и осматривал тамошние магазины и изготовления. Декабря 14 выехал из Спасского для осмотра Камских пристаней, 15 был на Ирвинском заводе, а 16 на Бежковской пристани, 22 приехал в Казань, откуда выехал к Москве 24 числа».

Поездка Рычкова в Москву осложнила его взаимоотношения с Рейнсдорпом. Губернатор в течение всего 1772 года не давал ему разрешения на выезд, ссылаясь на то, что соляному руднику нужен постоянный пригляд. Но дело было в другом.

В конце 1771 года по просьбе Академии наук Рычков описал бегство 170 тысяч калмыков из Оренбургской губернии в Китай. Он рассказал о том, что сам знал и видел и что поведали ему его сыновья, Андрей и Николай, участники безуспешной погони военного отряда за калмыками. Свое сочинение Рычков послал академическому конференц-секретарю профессору Миллеру.

Прослышав об этом, Рейнсдорп возмутился. «Статский советник Рычков составил историческое сочинение о бегстве калмыков. Я удивляюсь более тому, что этот человек взял на себя описание о событиях, которые для него были совершенно сокрыты, почему это описание должно быть полно неверностей, — с досадой писал он Миллеру 19 января 1772 года. — Вся переписка по этому делу как в военной, так и в государственной коллегиях считается тайной».

Рейнсдорпу, как, впрочем, и правительству, не хотелось

распространяться о бегстве иноверцев и бесплодной попытке вернуть их военной силой. Это был результат неуклюжей дипломатии и политической близорукости прежде всего оренбургской администрации, многие годы наблюдавшей за волнениями среди калмыцкого населения, но не принимавшей никаких мер для снятия очевидной напряженности. Раздосадованному Рейнсдорпу следовало все же понять, что Рычков как член-корреспондент Академии наук выполняет ее поручение и не должен спрашивать на то разрешения у местного начальства. Губернатор же смотрел на Рычкова как на клерка, обязанного заниматься правлением соляных дел, и ничем иным. Он считал, что научная деятельность Рычкова — плод тщеславных его стремлений, что «неограниченное себялюбие есть любимая страсть» его. В том же письме Миллеру губернатор признает, однако, недюжинные способности Рычкова. «Впрочем, я отдаю справедливость его, хотя и невосделанному, уму».

В декабре того же года он сообщал Миллеру: «Статский советник Рычков здесь и теперь не может еще отправиться, во-первых, потому, что этого не допускают новые соляные учреждения, а во-вторых, он меня обошел, как хозяина дома, и просил о дозволении без моего ведома». Рейнсдорп, однако, не имел права отменить поездку Рычкова в Москву по вызову правительственного департамента и затаил зло на своего подчиненного, его отношения с ученым окрасились недобрыми, мстительными чувствами. Для Петра Ивановича началась полоса житейских невзгод, трудностей, незаслуженных ударов, неотомщенных оскорблений и обид.

Конфликт с губернатором был неизбежен. Для Рычкова, приверженца истины в большом и малом, превыше всего были труд и долг совести, желание усердно служить Отечеству и русской науке, не требуя высоких чинов и вознаграждений: «к лакомству и к нажиткам я не склонен». Всякая мысль, идея у него обычно превращались в стремление преобразовывать окружающую жизнь. Каждому своему убеждению он старался придать практическую направленность.

Иными заботами жил Рейнсдорп. В Оренбургский край он, генерал-поручик, прибыл 29 сентября 1768 года из Петербурга, где жил в окружении столичной роскоши и знатных придворных вельмож. Быстрота продвижения по службе, уровень власти, круг влиятельных лиц — вот чем измерял он цель своей и всякой другой человеческой жизни. Он весьма оскорбился должностью правителя маловедомой губернии, тайно ждал от судьбы милостивого случая возвратиться в столицу.

Человек сугубо военного склада и мышления, Рейнсдорп все

административные и хозяйственные дела решал силой приказа, изгонял из обихода и своих взаимоотношений с подчиненными всякую демократию, требуя беспрекословного подчинения. Наука, вопросы образования мало интересовали его, с высокомерной снисходительностью относился он к предложениям, советам и вообще к научным занятиям Рычкова, хотя поначалу был любезен с ним в надежде обрести в его лице сладкозвучного певца своих военных и административных заслуг.

Но Рычков, обнаружив в Рейнсдорпе чванливого, грубого чиновника, помышлявшего более всего о наживе и карьере, чем о процветании государства, не мог почитать ни его самого, ни стиль его правления. И хотя Петр Иванович вел себя деликатно, исполняя энергично все служебные распоряжения губернатора, Рейнсдорп относился к нему с нарастающей неприязнью и подозрительностью. Наличие у Рычкова своего, подчас строго объективного мнения о положении дел в губернии он расценивал как инакомыслие, пренебрежение к местной власти, стремление быть умнее и выше всех. Рычкову, как, впрочем, и всякому подчиненному, он мог простить дурной поступок, воровство, взятку, пьянство, но не терпел независимого ума, гражданской смелости.

Словом, не какие-то случайные, субъективные причины мешали этим двум весьма влиятельным в обширнейшем крае личностям объединиться для совместного дела, а разность гражданских и моральных кодексов.

Отправляя без санкции Рейнсдорпа свое сочинение о калмыках в Петербург, Рычков не предполагал, что этот его шаг вызовет резкое недовольство губернатора. Однако история с калмыками подсказала ему выводы на будущее: в своих взаимоотношениях с губернатором он стал более осмотрительным.

Меж тем положение в крае осложнялось. Рейнсдорп еще не закончил бесплодные хлопоты по задержанию калмыков, как взбунтовались яицкие казаки.

«История народов многие примеры представляет и дает нам знать, — отмечал в своей «Летописи» Рычков, — что от слабостей и невежества начальников происходят часто неурейства, смятения и гибель не только таких малых обществ, каково было и ныне еще есть Яицкое, но и больших городов, а иногда и целых областей. Слабости, раздоры и междуусобия старшин, сколько известно мне по их прежним делам, издавна уже были, и я довольно еще помню проезд в город Самару яицкого войскового атамана Григория Меркурьева и тамошнего ж войскового старшины Ивана Логинова, бывший при самом же начале Оренбургской экспедиции. Сии оба, имея так как врожденную непримиримость и злобу, во всю свою жизнь

один на другого в доносительствах упражнялись; а от того в войске Яицком произошли сильные партии», враждовавшие между собой.

Были и другие причины для бунта. Атаманы и старшины взымали с простых казаков большие деньги за право рыбной ловли и добычи соли, наживались за счет сверхмерных поборов. Служилые казаки по полгода не получали жалованья. Войско слало в Петербург жалобы, своих ходоков. На Яик приезжали столичные чиновники-ревизоры, но старшины задаривали их прекрасной икрой и рыбой. Проверки заканчивались, чиновники уезжали, а поборы, налоги, взяточничество оставались. 12 января 1772 года яицкие казаки подняли мятеж. Усмирить бунтовщиков был послан генерал-майор Траунберберг. В кровопролитном сражении он и его команда, а также войсковые атаманы Тамбовцев и Митрясов погибли.

Рейнсдорп требовал прекратить бунт, угрожал казакам продовольственной блокадой, но не предпринимал конкретных мер: поставка хлеба и разного провианта в Яицкий городок не прерывалась. Рейнсдорп ждал распоряжений высшего начальства. Военная коллегия направила против мятежных казаков трехтысячный корпус генерал-майора Фреймана. Казаки выставили десять тысяч конников, но, не выдержав мощного артиллерийского огня, отступили с большими потерями. Фрейман занял Яицкий городок, где учинил суд и расправу над сотнями пленных.

СЛАВНЫЙ МЯТЕЖНИК

«...сам фельдмаршал Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях».

А. Пушкин

*Либо чужую голову добыть,
Либо свою отдать.*

Народная пословица.

13 августа 1773 года в Оренбург проник слух, что один пьяный казак разболтал, будто у них на хуторе проживает царь Петр Федорович.

Вскоре Емельян Пугачев, объявив себя императором Петром III, с многочисленным отрядом захватил станицы Татищеву и Чернореченскую и двинулся к Оренбургу. 17 сентября он обратился к яицким казакам с именным указом:

«Самодержавного императора, нашего великого государя Петра Федоровича всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая.

Во имянном моем указе изображено яицкому войску: как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей до крови, дяды и отцы ваши, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федоровичу. Когда вы устоити за свое отечество, и не истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити мною, великим государем, жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне, государю амператорскому величеству Петру Федоравичу, винныя были, и я, государь Петр Федоравич, во всех винах прощаю и жалаваю вас: рякою с вершин и до усья и землею, и травами и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиянтом. Я, Великий Государь амператор, жалую вас Петр Федоравич».

Как видно, первые секретари пугачевского штаба были не шибко грамотны, сам же Емельян Иванович писать и читать совсем не умел. Во втором, более грамотном своем указе, обращенном к казакам Илецкой станицы, Пугачев не только продолжал настойчиво афишировать себя

великим императором всея Руси, но и ставил перед ними конкретные условия и задачи. Он предлагал казакам выйти из города навстречу к нему «с истинной верноподданической радостью» и в доказательство своей верности положить к его знаменам свое оружие и таким образом присягнуть, за что будут вознаграждены и пожалованы. *«Кто же свержчаяния моего преслушает и не исполнит сего моего великого повеления, тот вскоре почувствует, сколько жестокости приготовлены муки изменникам моим»*, — грозно предупреждал Пугачев.

Примерно такого же содержания его указы для иноверцев. Обращаясь за поддержкой к киргизскому хану, он пишет: *«Когда всевышний господь бог даст мне волю, то я вас всех не оставлю и буду вас жаловать верно и нелицемерно землею, водою и травами, и ружьями, и провизантом, реками, солью и хлебом, и свинцом, от головы до ног обую...»*

Указ для башкирского населения от 4 октября в 1773 года заканчивался словами: *«Сии мои указы публиковать во всех сторонах живущим в деревнях по каждой улице распространять, везде разглашать повелеть...»*

Первое известие о Пугачеве губернатор Рейнсдорп получил 22 сентября во время бала, гремевшего в его оренбургском особняке. Не желая омрачать гостей тревожной вестью, он промолчал и несколько дней размышлял о том, как укротить восставших.

Между тем Пугачев, разбивая маленькие гарнизоны крепостей, усиливался за счет притока свежих отрядов мятежников и быстро двигался к Оренбургу. Из оцепенения Рейнсдорпа вывел посыльный, прискакавший из Яицкого городка от полковника Симонова с просьбой оказать гарнизону срочную помощь. Губернатор повелел офицеру Билову с четырьмястами солдатами поспешать на выручку окруженного Симонова. Билов дошел лишь до Татищевой, где соединился с гарнизоном крепости, возглавляемой полковником Елагиным. Тут его и настиг Пугачев. Мятежники подожгли скирды, стоявшие неподалеку от крепостных стен, а сами ворвались в крепость с противоположной стороны. Билов и Елагин были убиты, часть гарнизона перешла на сторону пугачевцев.

Захватив крепости Татищеву, Рассыпную, Нижне-Озерную, Сакмарский городок, Пугачев в полдень 5 октября во главе почти трехтысячного отряда при 20 орудиях подступил к Оренбургу.

Рейнсдорп созвал совещание, предложив военным и гражданским чинам высказать свои предложения о способах и тактике борьбы с мятежниками. Напуганные боевыми успехами повстанцев, большинство военных высказались за то, чтобы в открытое сражение с Пугачевым не вступать и до подхода правительственных войск вести оборонительные

действия. Но основные силы русской регулярной армии в те дни находились на турецком фронте. В Оренбурге стоял небольшой, при 70 орудиях, трехтысячный гарнизон, немалою частью которого были ополченцы. Армия Пугачева же увеличивалась с каждым днем. По городу носились слухи о неизбежной капитуляции, лазутчики предрекали всем скорую гибель и в качестве верного способа спасения предлагали выйти из города и сложить оружие. Казаки роптали, лица солдат выражали страх и робость.

«Состояние Оренбургской крепости, — сообщал в те дни Рейнсдорп в рапорте президенту Военной коллегии, — весьма жалкое и более опасное, чем я могу вам писать. Регулярная армия в 10000 человек не испугала бы меня, но один изменник с тремя тысячами бунтовщиков заставляет дрожать весь Оренбург... Этот злодей... отнял у подчиненных мне офицеров почти все мужество».

Опасаясь мятежа внутри города, Рейнсдорп повелел отобрать у подозрительных лиц оружие и выдворить их из города. Для успокоения обывателей он объявил, что все понесенные во время осады потери будут впоследствии возмещены. Он приказал сломать мосты через Яик и Сакмару, сжечь предместье города — казачий форштадт, дабы не позволить мятежникам прикрываться им в моменты своих атак на город. Все взрослые жители, получив оружие, вместе с солдатами заняли круговую оборону по крепостному валу и в десяти каменных бастионах.

Рычков успел перевезти свою многочисленную семью из Спасского в Оренбург, в кирпичный дом, который стоял неподалеку от крутого берега Яика, внутри крепости. Ядра пугачевских пушек нередко залетали на крышу дома и во двор, хотя обстреливалась чаще западная часть города, обращенная к Бердской слободе.

Общая беда притушила разгоравшийся конфликт между Рейнсдорпом и Рычковым, заставила их объединить усилия для защиты города, для спасения населения от пушечного огня, пожаров, подступающего голода. Повстанцы перекрыли все дороги к Оренбургу, осажденные могли рассчитывать лишь на свои скромные продовольственные запасы.

Под грохот сорока пушек конные и пешие отряды пугачевцев каждодневно бросались на штурм города, нащупывая уязвимое место для прорыва. Кровопролитные сражения произошли 13 и 22 октября, в которых каждый раз участвовало с обеих сторон до девяти тысяч воинов при поддержке ста орудий.

К началу ноября Пугачев прекратил лобовые атаки крепостных стен, решив артиллерийским огнем и голодом принудить гарнизон сдаться. «Я

выморю город», — заявил он и приказал повстанцам рыть землянки. Подъезжая к крепостным воротам, те кричали, что под ядра и пули они больше не полезут, что без хлеба город сам сдастся. «Мы готовы пять лет стоять здесь, а не взяв города, не отступим!» — угрожали они, призывая осажденных прекратить бесполезное сопротивление.

Пугачев поселился в Бердской слободе в просторном доме казака Константина Ситникова. Убранство жилья было под стать «царским покоем». Дом считался штабом восстания, сюда Пугачев созывал сообщников своих на военные советы, здесь он награждал их чинами, выносил врагам смертные приговоры, тут же обедал, гулял, веселился. Из наиболее верных товарищей своих Пугачев образовал по подобию правительственной «Военную коллегию», она выпускала приказы и манифесты, стремилась наладить в отрядах дисциплину и обучение военному делу, ведала снабжением войск, оружием, фуражом и провиантом.

В ноябре войско Пугачева состояло уже из двадцати пяти тысяч человек при 86 орудиях. Его пополняла не только чернь. Почти с первых дней восстания к Пугачеву перешли самый богатый илецкий казак Иван Творогов, известный в округе казацкий сотник и бывший депутат в екатерининской комиссии по составлению нового Уложения Тимофей Падуров, отставной артиллерийский капрал Белобородов, авторитетнейшие в яицком войске казаки Овчинников, Перфильев, Шигаев, Шелудяков, Чумаков. К восставшим нередко примыкали и солдаты поверженных гарнизонов. Одним из атаманов пугачевской вольницы стал плененный в бою под Юзеевой подпоручик Михаил Шванвич, последним секретарем «военной коллегии» повстанцев был тридцатилетний купец Алексей Дубровский.

На помощь Оренбургу между тем спешил из Казани корпус генерала В. Кара. Вдоль самарской линии форпостов двигался с отрядом в 2200 человек симбирский комендант полковник П. Чернышев. Рано выпавший глубокий снег замедлял их продвижение. Пугачев же, хорошо зная местность, действовал уверенно и энергично. Чтобы не дать войскам Чернышева и Кара объединиться, он встретил последнего на дальних подступах к Оренбургу и навязал ему бой. Кар потерпел поражение и, отстреливаясь из орудий, отступил. Узнав об этом, полковник Чернышев все же решил прорываться к городу. Отряд его с трудом преодолевал снежное бездорожье, то и дело натываясь на пугачевские разъезды. Тут отряду встретился казацкий сотник Падуров и предложил провести его безопасной дорогой. Чернышев доверился, не зная, что бывший сотник

служит у Пугачева. Во время переправы через Сакмару, всего в нескольких верстах от Оренбурга, отряд внезапно был окружен повстанцами и пленен. Полковника Чернышева и 36 офицеров его отряда в тот же день повесили в Бердах.

Бердскую слободу мятежники превратили в вертеп убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание. «Казни проходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удушенных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности».

Рейнсдорп решил послать в Берды своего шпиона, чтобы убить Пугачева. Такое дело поручили Хлопуше, сидевшему в городской тюрьме каторжнику. С изуродованным лицом и вырванными до хрящей ноздрями тот явился к Пугачеву и сразу же раскрыл ему цель своего задания. С того дня Хлопуша (Афанасий Соколов) стал ближайшим и преданнейшим сподвижником Пугачева, был пожалован им в полковники. Хлопуша вел дружбу с рабочими горных заводов, обозами доставлял оттуда пушки и заряды; не потому ли повстанцы обычно не скупились на ядра и картечь. Так, 2 ноября их батареи с утра и до позднего вечера непрерывно палили по городу, и от такого артобстрела, по свидетельству очевидца, «не только люди трепетали, но и здания тряслись».

У осажденных же каждый заряд был на счету. Кончались запасы пороха, патронов, лошадей кормили хворостом. Люди ели павший от бескормицы скот, употребляя в пищу даже бычьи и лошадиные кожи, опилки, костяной клей... Пугачевцы сожгли вблизи города припасы сена, блокировали все попытки осажденных добывать его в ближайших деревнях. Пушкин в «Истории Пугачева» отмечал, что «жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетающим на их дворы».

Пугачев оказывал на осажденных не только силовое воздействие. На имя губернатора он шлет указ за указом. Один из них был изложен на немецком языке.

«Нашему губернатору Рейнсдорпу.

Каждый наш верноподданный знает, каким образом злобные люди и недоброжелатели лишили нас по всем правам принадлежащего нам всероссийского престола. Но ныне всемогущий Бог своими праведными помыслами и, услышав сердечные к нему молитвы, снова преклоняет к

нашему престолу наших верноподданных, а злодеев, исполненных недоброжелательства, повергает к нашим монаршим ногам. Однако и ныне есть такие люди, которые, не желая признать нас, не хотят выйти из мрака недоброжелательства и сопротивляются нашей высокой власти, и при том стремятся, как и прежде, ниспровергнуть наше блистательное имя и наших подданных, верных сынов Отечества, хотят сделать сиротами.

Однако мы, по природной нашей склонности и любви к тем верноподданным, которые ныне, оставя заблуждение и злобу, будут чистосердечно и верноподданнически служить нашей высокой власти, будем милостиво отличать и жаловать отеческой вольностью. А если кто не пожелает нас признавать и впредь будет оставаться в прежнем недоброжелательстве и озлоблении, то таковые отступники, по данной нам от создателя высокой власти и силе, испытают на себе наш справедливый и неизбежный гнев. Обо всем этом и сообщается от нас во всеобщее сведение, дабы важность этого осознал каждый наш верноподданный. Декабрь 1773 года».

Рейнсдорп на это деликатное послание Пугачева ответил увещанием, наполненным грубыми ругательствами и проклятиями. Начиналось оно так: «Пресущему злодею и от Бога отступившему человеку, сатанину внуку, Емельке Пугачеву...»

Рейнсдорпа страшно испугал «немецкий» указ. Кто мог быть автором его? Среди яицких казаков, заводских ремесленников, башкирских конников искать его было бы глупо. Значит, в лагере повстанцев находится высокообразованный человек из-за границы?

Своей тревогой губернатор поделился с государственными лицами, озадачил и самую императрицу. Екатерина II ужаснулась, вообразив, что среди советников Пугачева имеется чужестранный летописец, который может превратно истолковать ход драматических событий на Урале. Она приказала установить личность автора пугачевского указа на немецком языке. Но лишь после разгрома основных сил восстания и пленения многих сподвижников Пугачева удалось точно определить, что этим автором был подпоручик Михаил Шванвич, попавший к пугачевцам в плен и некоторое время служивший самозванцу из-за страха, «боясь смерти, а уйти не посмел», ибо если бы его поймали, то повесили. Известно, что Шванвич послужил Пушкину прототипом для создания одновременно двух противоположных мужских характеров — Швабрина и Гринёва — в повести «Капитанская дочка».

Удостоверившись, что автор «немецкого» указа не иностранный агент,

а сын русского дворянина, Екатерина II утешилась и в дружеском письме к Вольтеру вальяжно, даже с каким-то снисходительным поручательством писала о Пугачеве так: «Он не умеет ни читать, ни писать, но этот человек чрезвычайно смелый и решительный. До сих пор нет ни малейшего признака, чтобы он был орудием какой-либо иностранной державы или стороннего замысла, ни чтобы он следовал чьим-либо внушениям. И надо полагать, что господин Пугачев — разбойник-хозяин, а не слуга».

Но эта переписка начнется чуть позже. Пока же Емельян Пугачев неумолимо сжимал блокадный Оренбург, вынуждая его жителей и защитников в самое ближайшее время открыть крепостные ворота либо помереть с голоду.

Всерьез озабоченная восстанием, Екатерина II решила принять «сильные меры противу возрастающего зла». Разбить Пугачева она поручила одному из авторитетных военачальников генерал-аншефу Александру Ильичу Бибикову. 9 декабря тот незамедлительно выехал из Петербурга в Москву для срочного формирования войск. Москва была в панике. Бибиков уверенной речью одобрил администрацию и обывателей старой столицы, заверив, что армия Пугачева будет разбита. В Казани он своим прибытием «оживил унывший город».

Отовсюду к нему стекались военные отряды и дворянское ополчение. Собрав 16-тысячную армию при 50 орудиях, Бибиков двинулся в зону восстания. То, что главные силы Пугачева по-прежнему были прикованы к Оренбургу, позволило ему взять боевую инициативу в свои руки и перейти к широкому наступлению на повстанцев. Шло оно, однако, медленно. Январский снег полуметровой толщины сдерживал продвижение и пехоты, и конницы. Гарнизоны не занятых Пугачевым крепостей были деморализованы и слабо помогали Бибикову. «Не могу тебе, мой друг, подробно описать бедствие и разорение здешнего края, — писал он своему петербургскому коллеге, — следовательно, суди и о моем положении. Скареды и срамцы здешние гарнизоны всего боятся, никуда носа не смеют показать, сидят по местам как сурки, только что рапорты страшные присылают».

С тяжелыми боями Бибиков и его помощники, предводители фланговых отрядов князь П. М. Голицын и генерал П. Д. Мансуров, взяли Самару, Мензелинск, Бугульму, Бузулук... 22 марта 1774 года в кровопролитнейшем сражении под Татищевой правительственные войска нанесли повстанческой армии самое тяжелое поражение. Пугачевцы потеряли более пяти тысяч убитыми и ранеными, всю артиллерию. И хотя еще до поздней осени отряды Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева вели

активные боевые действия, захватили и разорили Белорецкий и Воскресенский, Ижевский и Боткинский горные заводы, крепость Магнитную, Казань, Саратов, все же после сражения под Татищевой, восстание пошло на убыль.

Его страшная разрушительная волна не обошла и семью Рычковых. Село Спасское, усадьба, церковь и библиотека были разграблены, частью разбиты, сожжены. Общий убыток исчислялся десятками тысяч рублей.

«Но все оное хотя и великое разорение не столь меня огорчило, как безвременная кончина старшего сына моего», — отмечал Петр Иванович в своих «Записках». Тридцатишестилетний полковник Андрей Рычков во главе небольшого отряда вступил под Симбирском в сражение с численно превосходящей конницей повстанцев. В разгар боя одна часть отряда поколебалась и побежала, другая — перешла на сторону вожака мятежников Фирса Иванова. Оставшись с двумя десятками своих солдат, Андрей Петрович дрался с отчаянной храбростью, но был тяжело ранен в руку и спину. При нем находился его 16-летний сын Петр. Уланы отбили для него лошадь и дали способ ускакать: к тому моменту полковник Андрей Рычков был уже убит. Случилось это 25 августа 1774 года. «Цвет и надежда рода, отрада и утешение отцу», — так Петр Иванович отзывался о своем старшем сыне.

О великой скорби своей и потере он сообщил Миллеру, завершив то письмо словами: «Кончина его тем хороша, что он жизнь свою положил за Отечество».

Когда Емельян Пугачев был схвачен и, скованный по рукам и ногам, находился в Симбирске в подвале каменного дома по улице Спасской, то Рычков, по словам Пушкина, «видел его тут и описал свое свидание».

Когда Рычков вошел в каменный подвал, где помещался Пугачев, тот сидел на привинченной к стене цепи и ел из деревянной чашки уху. Увидев вошедшего, сказал: «Добро пожаловать!» — и пригласил сесть рядом с ним обедать. Рычков отказался. Узник громче и настойчивее пригласил еще раз. Но Рычков промолчал, потом начал расспрашивать Пугачева о восстании, о том, как мог отважиться он на такие злодеяния. Пугачев ответил: «*Виноват перед Богом и государыней, но буду стараться заслужить все мои вины*». Звякнув цепью, сделал при этом руками то ли клятвенный жест, то ли попытку перекреститься. Потом попросил гостя назвать себя.

Рычков назвалса и начал говорить о том, что мятежники разорили его усадьбу, причинили ему, старому, оскудевающему в силах отцу, великое неутешное горе, убив сына Андрея. Пугачев в оправданье свое заявил, что

сообщники его многое делали без его ведома, своевольничая, творили, что хотели. При упоминании о сыне Рычков не смог сдержать слезу. Туг и Пугачев тоже заплакал.

В письме к Миллеру свою встречу с Пугачевым Петр Иванович описал, что называется, по горячим следам: *«С упомянутым злодеем разговаривая, нашел я в нем самого отважного и предприимчивого казака. В разговорах его со мною примечал я в нем невежество и умение притворять себя ко всему. Когда я упомянул ему об моем сыне, который убит под Корсуном его сообщниками, и не мог притом удержаться от слез, то и он стал плакать, показывая вид сожаления...»*

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОКРОВИЩЕ

Что худо, того бегай; что добро, тому следуй, но не прячь, не скрывай ни добра, ни худа, а покажи, что есть.

Русская пословица

О Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева написано много. Но самое первое достоверное повествование о ней представил Петр Рычков в своей хронике «Осада Оренбурга». Опубликовать ее не осмелился ни один тогдашний издатель.

Три рукописных экземпляра попали в руки А. С. Пушкина, обратившегося за сбором материалов о Пугачеве к разным учреждениям и частным лицам. Летом 1833 года старейший библиограф, издатель журналов «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник» Г. И. Спасский доставил ему рукопись Петра Рычкова под названием «Описание шестимесячной осады Оренбурга». Чуть позже Пушкин получил от братьев Языковых еще один экземпляр рукописи Рычкова, а в апреле 1834 года «Осаду Оренбурга» ему прислал историк-романист И. И. Лажечников.

Пушкин назвал сочинение Рычкова летописью и высоко оценил ее: *«Трудолюбивый Рычков, автор «Оренбургской Топографии» и многих других умных и полезных книг, оставил любопытную рукопись о сем времени. Я имел случай ею пользоваться. Она отличается смиренной добросовестностью в развитии истины, добродушным и дельным изложением происшествя, которые ныне так редки между русскими писателями, занимающимися историей».*

Пушкин доверительно опирался в своей работе на это сочинение Рычкова, цитировал и пересказывал многие его страницы. А при издании в 1834 году «Истории Пугачевского бунта», опубликовал его целиком в качестве приложения. «Признаюсь, я полагал себя вправе ожидать от публики благосклонного приема, конечно, не за самую «Историю Пугачевского бунта», но за исторические сокровища, к ней приложенные», — великодушно пояснял Александр Сергеевич.

Так, после шестидесятилетнего существования в рукописном, можно сказать, в подпольном виде «Летопись» Рычкова впервые была опубликована, да еще в одной обложке со знаменитым произведением

Пушкина.

Готовя к печати «дело Пугачева», малоизвестное, «доныне нераспечатанное», Пушкин посчитал нужным указать источники, которыми он пользовался в работе. Во втором томе «Истории Пугачева» он представил ряд исторических документов: указы и письма Екатерины II, донесения военачальников Румянцева, Бибикова, Державина, записи устных рассказов, преданий и песен о Пугачеве. Примечательно, что эти документы представлены без комментариев, но с похвалой и признательностью отозвался Пушкин о «любопытной летописи нашего славного академика Рычкова, коего труды ознаменованы истинной ученостию и добросовестностию — достоинствами столь редкими в наше время».

Держа в глубокой тайне свои «пугачевские интересы», Пушкин 22 июля 1833 года пишет шефу жандармов России Бенкендорфу: «Обстоятельства принуждают меня вскоре уехать на 2–3 месяца в мое Нижегородское имение — мне хотелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще не видел. Прошу его величество позволить мне ознакомиться с архивами этих губерний».

Но поскольку Пушкин находился под тайным надзором и не имел права без разрешения властей менять местожительство, от него потребовали дополнительных объяснений причин «уральского путешествия». И он дает их: «В продолжении двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую ...где большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, почему и хотелось бы мне посетить обе сии губернии».

Наконец 12 августа Пушкин получает отпускное свидетельство такого содержания: «Предъявитель сего, состоящий в ведомстве Министерства иностранных дел титулярный советник Александр Пушкин, по прошению его уволен в отпуск на четыре месяца в Казанскую и Оренбургскую губернии...»

И вот поэт, вырвавшись из тисков «блестящих залов и модных лож» столицы, мчится в кибитке кочевой в неведомые заволжские дали, где ураганом прошла грозная пугачевская вольница.

В середине сентября 1833 года он прибыл в Оренбуржье и в сопровождении писателя и этнографа В. И. Даля направился в Бердскую слободу, где во времена восстания располагалась основная ставка Пугачева

и его штаб — большой крестьянский дом, изнутри сияющий позолотой. Свои впечатления Пушкин впоследствии передал словами одного из героев повести «Капитанская дочка»: «Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка... Я вошел в избу, или во дворец, как «называли» мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагой, впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе».

В Бердской станице, находящейся в нескольких километрах от Оренбурга, Пушкину повезло на встречи со старожилами, которые помнили пугачевцев и их вождя. Живую память о Пугачеве сохранила старая казачка Ирина Афанасьевна Бунтова, которой в дни разгара крестьянской войны было тринадцать лет. Обычно Пугачев «сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву. У Пугачева рука лежала на колене — подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его руку». Воспоминания Бунтовой Пушкин почти дословно ввел в «Историю Пугачева».

«Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги» — это свидетельство Бунтовой поэт использует почти без изменения: «Когда ездил он по базару или по бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами».

Ирина Афанасьевна поведала любопытную историю о сватовстве Пугачева, достоверность которой Емельян впоследствии подкрепил своим признанием на допросе. К Женитьбе его сподвигнули казаки-сотоварищи. Сам-то он опасался, что женитьба на простой казачке принесет ему вред, оттолкнет от него народ, приученный видеть в нем «амператора Петра Федоровича». Но семнадцатилетняя казачка была так хороша, что Пугачев не устоял, дважды посылал в дом Кузнецовых сватов, затем явился и сам, сказав родителю невесты: «Окромя твоей дочери, лучше я нигде не нашел. Отдашь ли за меня или откажешь?» Растроганные просительным голосом «амператора», Кузнецовы благословили дочь, и свадьба состоялась. Правда, Устинья до конца так и не поверила в то, что Пугачев истинный царь, хотя он прилюдно и громко назвал ее царицей.

Вскоре она напрямик высказала ему свои сомнения: «Подлино ли ты государь, и я сомневаюсь в том, потому что ты женился на казачке?»

Среди повстанцев женитьба Пугачева вызвала разноречивые толки. *«Войско было недовольно, что он на сие поступил. И тогда навела на некоторых сия его женитьба сумнение такое, что государи на простых никогда не женятся, а всегда берут за себя из иных государств царскую*

или королевскую дочь... А другие говорили, что хотя царь и волен какую хочет, такую возьмет, да он-де имеет жену, которая здравствует, а закон-де запрещает от живой жены жениться... И так с самого сего времени пропала у них и охота ревностно ему служить, и у всех так, как руки опустились...»

Живой свидетель, «самовидец и слышатель» полугодовой осады Оренбурга, вынесший все ее тяготы и ужасы, Рычков вел подробную запись всех событий в блокированном городе. Во время отражения атак он находился зачастую рядом с солдатами и артиллеристами, участвовал в совещаниях, проводимых губернатором, изыскивал способы помощи голодающим горожанам и войску. В своей «Летописи» он использовал походный журнал одного из усмирителей восставших князя П. М. Голицына, журнал Оренбургской губернской канцелярии («Экстракт Рейнсдорпа»), а также рассказы участников осады, пленных мятежников и самого Пугачева. Не случайно поэтому «Летопись» еще в рукописном виде старались занять историографы, писатели, краеведы.

Не рассказать о ней — значит умолчать не только об одной грани таланта Рычкова, но и о важном периоде его жизни.

Но прямой пересказ «Летописи», в которой 236 страниц, вряд ли усилит то впечатление, что однажды оставила в нас «История Пугачева» А. С. Пушкина. Самобытное сочинение Рычкова интересно по-своему. Оно насыщено такими подробностями, картинками, деталями, которые мог передать только очевидец. Пушкин, возможно, сознательно не упомянул о них в своем небольшом, но емком сочинении, дабы не перегрузить его. Умея немногими словами говорить о многом, он и в документальной прозе предпочитал оставаться самим собой.

Пушкин отвергал путь количественного накопления фактов, отбирая для «Истории Пугачева» самый яркий материал. «Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов разных рукописей и указов, донесений и проч. Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою».

Так работал, так писал Пушкин. Рычков же писал как бы с натуры, писал о том, что видел и слышал.

До Пушкина Крестьянская война под водительством Емельяна Пугачева замалчивалась или изображалась как бунт казака-самозванца и шайки его разбойников. Фальсифицировалось, занижалось значение восстания, потрясшего крепостную империю от Москвы до Сибири, от

казахстанских степей до муромских лесов. Дворяне и помещики, уверенные в безусловной необходимости и незыблемости крепостного строя, резко осуждали «пугачевщину», видели в ней страшную, подрывающую устои государства, бессмысленную силу. Некоторые реакционные историки и публицисты изображали вождей народных восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачева разбойниками и грабителями.

Воспитанный на традициях петровской школы, привыкший денно и нощно созидать, мыслью, словом и делом укреплять отечество, Рычков, естественно, был также против всякого разрушения, «пугачевщину» он воспринял как стихийное бедствие. Да и Пушкин спустя полвека, когда даже самому правительству стало ясно, что «крепостное состояние есть пороховой погреб под государством», не мог в полной мере оценить значение пугачевского движения. Он в основном придерживался взглядов либерального дворянства и хотя был убежден, что политическая свобода в России «неразлучна с освобождением крестьян», все-таки опасался ураганных сил народных восстаний. Однако дальнейшее промедление с отменой крепостной неволи могло, как он считал, снова вызвать то «страшное потрясение», которое уничтожит в России «закоренелое рабство», а заодно и самодержавие; и, конечно же, либеральное и всякое другое дворянство. Так что, обращаясь к истории, Пушкин не уходил от современности, наоборот, «Историей Пугачева» он хотел напомнить правительству и общественности о спасительной необходимости безотлагательного решения крестьянского вопроса. К этому звала и крайне напряженная политическая обстановка в стране.

С одной стороны, небывалый, усиленный выступлениями «декабристов», правительственный гнет всякого свободомыслия, всякой демократии; с другой — нарастание новых волн народного возмущения: восстания военных поселений, холерные бунты, вооруженные мятежи в Тамбове и Малороссии... Царской администрации и дворянско-помещичьей знати мерещилось приближение новой «пугачевщины».

Нужно представить, понять гражданское и писательское мужество Пушкина, выступившего в такое тревожное время с опаснейшей книгой о Пугачеве, которую в высших кругах власти называли «возмутительным сочинением».

Мудро обходя рогатки строгой царской цензуры, Пушкин сломал бытовавшее в обществе извращенно-клеветническое представление о Пугачеве: он показал его вожаком, за которого был «весь черный народ». Подчас Пушкин переходил к открытой реабилитации «вождя злодеев»:

«Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями пришельца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле». Объявив себя мужицким царем, Пугачев фактически им не был, а самозванство его нужно было не ему самому, а казакам как тактический прием вовлечь народ в борьбу за свои права, за хорошего царя. Сподвижники Пугачева знали, что Емельян Иванович никакой не царь, а беглый донской казак. Но это не имело для них значения. Как верно заметил известный нам генерал-аншеф Бибииков, «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен, важно общее негодование». «Сие наше предприятие, — рассчитывали казаки, — будет подкреплено, и сила наша умножится от черни, которая тоже вся притеснена и вконец разорена».

Разбирая меры, предпринятые Пугачевым, Пушкин писал: «...должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели». Александр Герцен заметил, что для Пугачева *«имя Петра III послужило только предлогом; одно оно не могло бы поднять несколько губерний»*. Истинной же причиной восстания было *«усилие казака и крепостного освободиться от жестокого ига, которое давило их с каждым днем сильнее»*.

На последней странице своей «архивной» тетради Пушкин записал: *«Под пугачевское знамя собрались все, кого угнетала дворянская Россия в каком бы то ни было качестве: заводского мастерового, нашенского крестьянина или инородца. Последнее великое крестьянское восстание было первым восстанием всех угнетенных царской России, и пугачевские манифесты к киргизам, башкирам и калмыкам были зарей раскрепощения нерусских народностей...»*

По свидетельству Рычкова, Пугачев чрезмерно злодействовал: сжигал селения и города, губил, казнил людей, прерывая их мирный труд. Пушкин, не отрицая разрушительной волны пугачевского движения, старался быть более объективным в его оценке. В тексте «Истории» и особенно в примечаниях к ней он не раз подчеркивал созидательные мотивы, демократичность манифестов и воззваний Пугачева, в которых народ жалован был землею и волей, реками и лесами — «всем тем, чего вы желаете во всю жизнь вашу и будьте подобными степным зверям» (т. е. совершенно свободны во всем). Грозные манифесты Пугачева Пушкин расценивает, как «злодейское обольщение», а в примечаниях пишет: *«Первое возмутительное воззвание Пугачева к Яицким казакам есть*

удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более действовало, что объявления или публикации Рейнсдорпа были написаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов».

Нет, не бессмысленные погромы и злодеяния влекли Пугачева. Он был гневливый противник всякой анархии, мародерства, самосудов. Когда, например, Хлопуша с отрядом самовольно захватил и разграбил Илецкую защиту, то Пугачев «негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение защиты, как за ущерб государственной казне».

Пугачев беспощадно расправлялся с разного рода угнетателями народа, нередко и со своими сообщниками, когда те, случалось, обирали крестьян, обижали бедных и сирот. Описывая, как шайки разбойников устремлялись во все стороны, грабя достояние дворян, Пушкин тут же добавляет: «...но не касаясь крестьянской собственности».

Взяв крепость Чернореченскую, «Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его девки».

В крепости Ильинской во время казни офицеров к Пугачеву пришли пленные солдаты и стали просить за капитана Башарина, которого они уважали за доброе и справедливое с ними обхождение. «Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю». И велел его так же, как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость. Казаки, бывшие в отряде, были приняты мятежниками, как товарищи», — пишет Пушкин.

И в тексте, и в примечаниях он старается обойти, обхитрить цензора-царя, притупить его бдительность. Подчас он произносил десять осуждавших Пугачева слов только для того, чтобы под их прикрытием сказать истину.

«Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерскою шпагою. Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки; другие носили дубины; большая часть не имела никакого оружия», — здесь Пушкин аттестует пугачевское войско как шайку и сволочь, плохо вооруженный сброд. Но на следующей странице, словно ненароком проговариваясь, пишет: «22 мая утром, приближаясь к Варламову, он (Михельсон) встретил передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсон не смог сначала вообразить, что это был остаток сволочи, разбитой накануне, и принял его (говорит он насмешливо в своем донесении) за корпус генерал-поручика и кавалера Декалонга; но вскоре удостоверился в истине».

Таких «уловок-обмолвок» у Пушкина немало, что дало основание некоторым историкам утверждать, будто в тексте «Истории Пугачева»

автор был одним, а в примечаниях к ней и особенно в «Капитанской дочке» — другим. Винули Пушкина и в том, что, рассказывая о последних днях Пугачева, он упомянул о письме Екатерины II к Вольтеру, где она уверяла, будто Пугачев смелодушничал и едва не умер от страха еще до свершения казни. Пушкин не мог проверить истинность слов императрицы, так как к материалам московского следствия по делу Пугачева его не допустили. Но письмо такое действительно было, и Пушкин в одной фразе передал его содержание. Сделал он это, видимо, для того, чтобы хоть в какой-то мере пойти навстречу желанию дворянской знати видеть Пугачева устранным, кающимся.

Но на этой же странице Пушкин помещает подробное воспоминание славного поэта и государственного мужа И. И. Дмитриева, очевидца казни Пугачева, где вождь народного восстания смерть свою встречает без каких-либо признаков страха, просто, по-христиански: кланяется во все стороны, прощаясь с народом, говоря ему: «Прости, народ православный...»

Не перед царедворцами и палачами винулся Емельян Пугачев в последние минуты своей жизни, а перед народом, которого он поднял на борьбу с угнетателями, но не привел к победе.

Пушкину приходилось прибегать к «эзопову языку», дабы ослабить бдительность цензуры и обнародовать «дело Пугачева», наконец-то рассекретить его, тем самым пресечь измышления фальсификаторов истории, таких, например, как г. Броневский. Этот военный писатель в своей книге «История Донского войска» утверждал, что Пугачев мог лишь «грабить и резать», что «принадлежал он к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают». Пушкин доказательно опроверг многие сентенции г. Броневского, называя их слабыми и пошлыми. Вышедший в 1809 году в Москве переводной роман «Ложный Петр III, или Жизнь и похождения бунтовщика Емельки Пугачева» Пушкин также назвал «пустым», «ничтожным», «глупым».

В дворянской среде сложился свой, удобный ей, образ Пугачева. И она не желала иметь другого. Пушкину давали советы «писать Пугачева без оценок событий, без «направления повествования к какой-нибудь известной цели». Для Пушкина же всякая фальшь была неприемлема.

Однако оценивать события иначе, чем они оценены в обществе, дело сложное, опасное. Вот какие трудности встали перед Пушкиным во время работы над «Историей Пугачева», они во многом и определили стилистические особенности его сочинения.

Петербургская знать проницательно прочла книгу Пушкина, без особого труда раскрыв за иносказаниями, намеками и обмолвками истинный смысл авторского взгляда. «В публике очень бранят моего Пугачева», — отмечал в своем дневнике Пушкин. Возмущались не только автором, но и цензурой, пропустившей в печать «Историю Пугачева», не ведая, что редактором и цензором ее был сам царь Николай I.

В своей работе Пушкин опирался на «Летопись» Рычкова и на его «Топографию Оренбургскую». В большой статье, опровергая бездоказательные нападки г. Броневского на «Историю Пугачева», Пушкин также неоднократно ссылаясь на труды Рычкова, как на верные и авторитетные источники (хотя некоторые из них он корректировал). Им он доверял больше всего. Например, имея копию с записи показаний жены Пугачева, Софьи Дмитриевой, Пушкин тем не менее при описании внешности и нрава вождя восстания более полагался на «Летопись» Рычкова.

По свидетельству жены, «Пугачев веру содержал истинно православную, в церковь Божию ходил...».

У Рычкова: «Сам он в церковь никогда не ходит».

У Пушкина: «Пугачев, будучи раскольников, в церковь никогда не ходил».

Опираясь на рассказы солдат оренбургского гарнизона, побывавших в плену у повстанцев, на сведения перебежчиков и выловленных мятежников, Рычков сличал все сообщения, отбирая лишь правдивые: ведь он и сам виделся с Пугачевым и беседовал.

«Лицо имеет он смуглое, но чистое, глаза острые и взор страховитый; борода и волосы на голове черные; рост его средний или меньше; в плечах хотя и широк, но в поясице очень тонок».

Пушкин представляет яицким казакам Пугачева в таком облике: «Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть».

Далее у Рычкова: «Когда случается он в Берде, то все распоряжает сам и за всем смотрит не только днем, но и по ночам; с сообщниками своими, которых он любит, нередко вместе обедает и напивается допьяна, которые с ним обще сидят в шапках, а иногда и в рубахах и поют бурлацкие песни без всякого ему почтения; но когда-де выходит он на базар, тогда снимают шапки и ходят за ним без шапок».

У Пушкина читаем: «Они (казаки-повстанцы) оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом, но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя

при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни».

В своей хронике «Осада Оренбурга» Рычков запечатлел несколько моментов штурма повстанцами крепости Нижне-Озерной. Ссылаясь на нее, Пушкин перепроверяет сообщения «славного академика» живым рассказом очевидца штурма. Этот собеседник из Нижне-Озерной станицы вспомнил такую сцену: «Поутру Пугачев пришел. Казак стал остерегать его: «Ваше царское величество, не подъезжайте, неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — отвечал ему Пугачев, разве на царей льются пушки?» Этот эпизод в «Истории Пугачева» приведен почти дословно: «Утром Пугачев показался перед крепостью. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?»

Громоздкость некоторых рычковских фраз Пушкин очищал от устаревших оборотов речи, славянизмов, тяжеловатого слога восемнадцатого столетия, приближая язык исторического первоисточника к языку читателя своих дней. Многие рапорты военачальников, написанные витиевато-канцелярским слогом, он передавал емкими фразами, сохраняя при этом фактическое и эмоциональное содержание этих документов.

Почти с нескрываемой иронией Пушкин противопоставлял бесцветный, вялый казенный язык объявлений оренбургского губернатора Рейнсдорпа воззваниям Пугачева, которые «есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного».

Вообще, во взглядах на Рейнсдорпа у Пушкина и Рычкова много общего, в том смысле, что и тому, и другому эта личность была антипатична. Но как Пушкину, так и Рычкову было опасно высказываться о генерал-поручике Рейнсдорпе неодобрительно, поскольку ему покровительствовала сама императрица, родная бабка Николая I, современника Пушкина, цензора его сочинения о Пугачеве. Попробуй-ка покритикуй такого генерала! Но Пушкин пробует. И в этом ему помогает Рычков.

Из рассеянных по всей его «Летописи» мелких, несущественных вроде бы замечаний о действиях Рейнсдорпа во время осады Оренбурга Пушкин составляет портрет губернатора посредственных способностей, неумелого военачальника и просто трусливого человека.

Описывая начало осады, Рычков не скрывает того, что крепость по халатности администрации не была готова к обороне. «Ежели бы Пугачев, не мешкав, в Татищевой и Чернореченской крепостях, прямо к Оренбургу устремился, то б ему ворваться в город никакой трудности не было; ибо

городские валы и рвы в таком состоянии были, что во многих местах без всякого затруднения на лошадях верхом въезжать было можно».

То же вслед за Рычковым свидетельствует и Пушкин: «Сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей...» И далее: «Рейнсдорп, испуганный быстротою пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников... К несчастью, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным действиям».

Далее: «Рейнсдорп обнаружил объявление о Пугачеве, в коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. Оно было писано темным и запутанным слогом».

Рычков подробно поясняет, в чем Рейнсдорп «напутал». В объявлениях о Пугачеве, которые были «в городе и по командам опубликованы», неосмотрительно было сказано, что якобы на лице Пугачева есть «злодейские знаки». Но все, видевшие его, знали, что таких знаков на лице его нет, отчего не доверяли объявлениям Рейнсдорпа. Да и сам Пугачев «получа их в свои руки, сообщникам своим толковал, показывая свое лицо, сколь злобно и напрасно на него клеветают, а чрез то... мог он еще больше усиливать свою партию».

Неумные распоряжения Рейнсдорпа подчас игнорировались не только военными, но и населением города. Но как открыто написать об этом? Рычков находит тонко зауваляро-ванный прием. *«С начала осады, — пишет он, — во время вылазок никому не возбранялось всходить на вал и смотреть на сражения, чрез что в сих случаях на городских валах представлялось всегда великое людство, но 10 числа отдан от 2-на губернатора приказ: чтоб при таких случаях на городской вал смотрителей никого не впускать... празднующихся обывателей и особенно женского пола штрафовать, а мужской пол употреблять во время стрельбы из пушек в помощь канонерам... Но вчера и сегодня во время вылазок во всех местах на валах всякого звания смотрителей, в присутствии самого 2-на губернатора, было великое множество. Видно, что тот прежний приказ по каким-нибудь другим резонам ныне отменить рассуждено».*

Описывая неудачную вылазку отряда майора Наумова, Рычков вообще избегает давать оценку произошедшему, приводит лишь реестр потерь: «побито регулярных и нерегулярных 22, ранено 31, в плен злодеями захвачено 6, безызвестно пропало 64». Вот так! Бой шел днем неподалеку от крепостных стен, а половину потерь гарнизонного отряда, как ни

странно, составили без вести пропавшие. Не имея возможности открыто написать, что солдаты и казаки гарнизона десятками переходили на сторону повстанцев, Рычков предоставляет самим читателям догадываться и судить о моральном состоянии войск.

Опираясь на подобные свидетельства, Пушкин пишет конкретнее и смелее: «Рейнсдорп... хотел на другой день выступить противу Пугачева, но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозможно: солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно; а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствия их измены были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорп не знал, что делать».

Пушкин не без иронии пишет, что Рейнсдорп «для поимки языка высылал иногда до тысячи человек, и то нередко без успеха». А однажды «вздумал он, по совету Тимашева, расставить капканы около вала и как волков ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сею военной хитростью, хотя им было не до смеха».

В «Летописи» подробно описана самая крупная вылазка войск гарнизона, окончившаяся неудачей. Пушкин этому событию уделяет один абзац: «Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастья оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами под предводительством Валенштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали дружному содействию войск...»

Конница мятежников заехала в тыл наступающим, отрезав путь к Оренбургу, что создало панику. «Все войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до четырехсот убитыми и ранеными и оставя пятнадцать орудий в руках разбойников. После сей неудачи Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно и под защитой стен и пушек стал ожидать своего освобождения».

Пушкин проявлял весьма рискованную смелость при оценке действий не только бездарного Рейнсдорпа, но и других лиц царского воинства. «Множество офицеров, — писал он, — служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости примкнули к нему».

А вот как он охарактеризовал генерала Кара, посланного императрицей для усмирения мятежников. «Получив известие о взятии Чернышева, Кар совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Отказался от начальства, под предлогом болезни, дал несколько умных советов насчет

образа действий противу Пугачева и, оставя свое войско на попечение Фрейману, уехал в Москву, где появление его произвело общий ропот. Императрица строгим указом повелела его исключить из службы».

Называя пугачевскую вольницу толпой, сборищем, шайкой, сволочью, Пушкин не смущается иной раз открыто выразить восставшим и их вожаку свои симпатии. «Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, — пишет он о Татищевой, — была им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве».

По Пушкину, даже сам фельдмаршал Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях...

За Пугачева был не только «весь черный народ», но и «духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства».

Видимо, не желая отяжелять, перегружать повествование второстепенными подробностями, Пушкин всего несколькими фразами сообщил о страшном голоде в осажденном Оренбурге.

Рычковым же обстоятельно описан каждый день и даже каждый час осенне-зимней блокады, вскрыты причины голода.

Если бы губернатор заблаговременно предупредил жителей города, то они вполне могли бы запастись и продовольствием, и сеном, ибо в пригороде «у каждого жителя сена было заготовлено весьма довольно». Но в народе о приближении Пугачева долгое время не ведали, «корыстолюбивые ж люди, чрез свои пронырства узнав про оное, весь привозимый на базар хлеб и харч наперебой скупали, а потом, как воспоследовала осада городу, по своей цене на все оное поднимать начали. Наконец довели до того, что четверть ржаной муки покупать у них стали по 12–15 рублей... А до осады пуд ржаной муки стоил 12 копеек».

Цены на съестные припасы колебались в зависимости от положения осажденных и шедших к ним на выручку правительственных войск. Если войска терпели от повстанцев поражение и не приближались, а отдалялись от Оренбурга, то на городском базаре цены на хлеб в тот же день повышались. И наоборот. Хитростью и подкупом спекулянты выманивали у солдат и офицеров гарнизона разведывательные данные о противостоянии противников, о предполагаемых сражениях и возможных последствиях. Держали нос по ветру, наживаясь на голоде населения. Хлеб

они припрятывали до последнего дня осады, надеясь откупиться им от мятежников в случае падения Оренбурга. К такому выводу Рычков приходит на основе своих наблюдений. Как только, замечает он, правительственные войска, выбив отряды повстанцев из Татищевой и Берд, в марте подступили к Оренбургу и до снятия осады оставались считанные дни, хлеб на городском рынке резко подешевел, откуда-то взялись другие продукты.

«Сия сбивка цен на хлеб, — пишет Рычков, — не от чего иного произошла, как от сего, что торгующие им корыстолюбцы и лихоимцы заподлинно уже узнали о приближении войск, и что при оных провианта везут довольно. И до того начали стараться чтобы еще у них имеющийся запасный или паче утаенный хлеб как можно скорее и с лучшею для себя прибылью допродать, что и нижеозначенными почти со дня на день уменьшавшимися ценами доказывается, и 24 числа сего марта в 3 копейки фунт уже продавали, хотя никакого хлебного привоза в город еще не было».

Значит, хлеб в городе был всегда, хранился в тайниках спекулянтов, в то же время люди умирали от голода. Для их спасения Рычков придумал рецепт приготовления «новой пищи на случай бедственных приключений». Из чего? Почти в каждом дворе, а также на скотобойне имелось множество старых говяжьих и бараньих кож. Из них-то Рычков и рекомендовал готовить пищу. Как? Растянуть кожу на земле или на деревянном щите, огнем или кипятком снять с нее шерсть, затем тщательно вываривать. Когда она размякнет, разбухнет, ее нужно разрезать на тонкие ремешки или порубить, как капусту, и варить лапшу с добавлением трав, лука, чеснока или лимонного сока. Варено можно также остудить и употреблять как студень, холодец.

Изготовив такую пищу, Рычков, прежде чем «привести в общее употребление, решил опробовать ее на себе, а также приучить к ней моих домашних людей». Опыт во всех отношениях удался. «Я сам с женою моею и с детьми моими, возрастными и малолетними, употреблял ее без всякого вреда и без противности». «Рецепт Рыčkова» многим помог избежать голодной смерти не только в осажденном Оренбурге. Вспомнили о нем и ленинградцы блокадной зимой 1942 года.

У Рыčkова, впрочем, как и у Пушкина нет глубокого анализа причин восстания, хотя и имеются некоторые попытки объяснить его. Описывая тяготы барщины, Рычков отмечал, что многие помещики своим крестьянам «даже одного дня на себя работать не дают». О напряженном состоянии яицких казаков в канун пугачевского бунта писал и Пушкин: «Тайные

совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался».

Пушкин не стал судить о причинах поражения восстания, отметив лишь, что мятежники не могли противостоять силе правильного оружия. Но неизбежность этого поражения, подчеркивал он, не умалила значения крестьянской войны. «Нет худа без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен».

ПРИРОДНЫМ СЛОГОМ ИЗЪЯСНИСЬ

Из иностранных языков не занимать слов, ибо наш язык и без того богат.

Екатерина II

Рычков располагал несравненно меньшим количеством архивных и других материалов, нежели Пушкин. Его «Летопись» (Осада Оренбурга) написана рукой как бы репортера-беллетриста, запечатлевшего важнейший этап пугачевского движения. Пушкин же показал это движение всеохватно, как историк-исследователь. Вобрав в свое сочинение множество исторических документов, он создал «образцовое произведение и со стороны исторической, и со стороны слога».

В труде Рычкова напрасно, да и не нужно искать подобные качества. Творческие силы, как и творческие задачи, у него были скромнее. И если Пушкин двумя-тремя фразами мог передать суть того или иного события, Рычков же тратит на то многие страницы. Но в этом неспешном, прилежно-дотошном, перенасыщенном, возможно, излишними подробностями и деталями, перегруженном сценами и эпизодами его сочинении есть своя ценность: через слог, интонацию, языковую манеру, через конкретные бытовые детали в нем представлены время, в кагором жил автор, и его герои, атмосфера живой действительности, так называемый «колорит эпохи».

Пожалуй, поэтому Пушкин не стал, за исключением нескольких страниц, редактировать «Летопись» Рычкова, переиначивать на свой лад её слог, а в неизменном виде опубликовал под обложкой одной книги как «историческое сокровище» рядом со своим произведением о Пугачеве.

Тем не менее некоторые советские литературоведы, как, например, Г. Блок в книге «Пушкин в работе над историческими источниками», утверждали, что повод для этой публикации был совсем иной. «Соединив все чисто механически и довольно неуклюже, «трудолюбивый» Рычков счел необходимым придать этому материалу (т. е. «Летописи») некоторую литературность. Стиль первоисточника уступил место стилю редактора и мемуариста», тяжелого, мол, и неуклюжего, поэтому у Пушкина-де «не возникло желание очистить его так, как он очищал язык других источников, и ввести в текст».

Но о каком «стиле первоисточника» говорит Г. Блок, если «Летопись» в основе своей есть рукописный дневник Рычкова, ежедневно фиксирующий его размышления и переживания? Это журнал-репортаж очевидца осады. И как можно утверждать, что Рычков испортил чей-то первоисточник, редактируя его, если этим первоисточником была сама его рукопись?

По предположению Г. Блока, у Пушкина, пожалуй, возникло бы желание очистить текст «Летописи» от архаического косноязычия, если бы стилистическая культура этого сочинения была бы несколько повыше, ну хотя бы такой, как «язык других источников». Возводя на Рычкова эту плохо скрытую хулу, Г. Блок проводит мысль, что Пушкин заблуждался, когда с благодарностью и почтением отзывался о Рычкове, что славный академик такой благодарности якобы не заслуживает.

«Любопытная рукопись Рычкова, — утверждает он, — дала Пушкину много фактического материала, но языком ее он почти не воспользовался».

Вот, оказывается, в чем еще одна вина Рычкова: оставив потомкам уникальное сочинение — «историческое сокровище», он, видите ли, не удосужился изложить его прекрасным слогом. Вот была бы Пушкину благодать: бери целые абзацы такой исторической прозы и вставляй в свою монографию о Пугачеве. А то-де пришлось отбирать, очищать, новый слог создавать... «Из числа диалектов, — замечает Г. Блок, — которых в источниках «Истории Пугачева», особенно у Рычкова, было немало, Пушкин сохранил лишь немногие («плавне», «умет», «буерак», «малолеток»...) Остальные («сырты», «ертаул», «заимка») отбросил. Опрометчиво заявлять после этого, что языком «Летописи» Пушкин не воспользовался, что стиль Рычкова был «тяжел даже для своего времени». Эго все равно, что упрекать нас, людей двадцатого столетия, в том, почему мы не пишем и не говорим на языке людей будущего, XXI века.

Что касается русского языка, прозаического литературного письма, то восемнадцатое столетие, как известно, было самым сложным этапом его формирования. Шли поиски «нового слога», которым бы сподручнее можно было выражать новый уровень культурного бытия людей, новые понятия гражданской и общественной их жизни. Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов непрестанно боролись «с трудностями языка не только неразработанного, но и не тронутого, подобно полю, которое, кроме диких Самородных трав, ничего не произращало». В аристократическом обществе из-за нежелания и лености обрабатывать, шлифовать, обогащать родной язык предпочитали изъясняться то на немецком, то на французском, чьи механические формы давно готовы и всем известны были.

«Иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят и в речах и в письмах», — замечал в своих записках мемуарист XVIII века Семен Порошин.

В своем письме к Татищеву от 5 мая 1750 года Рычков словно бы оправдывался: «Что я в письмах и сочинениях моих иностранные иногда слова включаю, сие не от чего иного происходит, как от недовольного знания наших, свойственно к тем делам надлежащих терминов...»

В послепетровское время в утвердившихся в общественной жизни новых порядках в экономике, в управлении хозяйством, иностранные слова требовались на каждом шагу. Ими легче было выражать новые понятия. В служебных бумагах господствовал особый деловой стиль, напоминавший подстрочные переводы с европейских языков. Отдавая дань литературной моде, к ним часто прибегали даже известные мемуаристы XVIII века Василий Нащокин, Семен Порошин, Михаил Данилов. Но и многие страницы, написанные ими по-русски, загромождали тяжелые, удаленные от языка народа, изысканные, нарочито витиеватые, напыщенные фразы и риторические украшения с употреблением таких старинных слов, как «дондежь», «наипаче», «понеже»...

Выступая против губительной порчи родного языка, Ломоносов и Сумароков делали первые, хотя и не всегда верные, шаги в развитии русского поэтического и прозаического языка. О Ломоносове, законодателе норм нового литературного языка, Пушкин, например, отзывался по-разному. «Слог его ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным», — так оценивал он ломоносовскую поэзию. О прозе же его отзывался иначе: «Однообразные и стеснительные формы, в кои он отливал свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый».

Языковая эклектика не могла в те времена миновать и Рычкова, который, кстати напомнить, был более историк и географ, нежели филолог. Похвально и то, что во всех своих трудах он опирался на живой народный говор, чутко вслушивался в него и, зачастую предоставляя слово крестьянам и заводским служителям, старался бережно передать их рассказы. На письма профессора Миллера, написанные по-немецки, он всегда отвечал только на русском языке. «На сим, яко природном языке, свободнее писать», — пояснял он.

Подобно Ломоносову, Рычков вопреки модному поветрию века писать научные труды исключительно на иноземных языках все свои сочинения создавал и публиковал на родном языке. На предложения зарубежных

научных обществ и издателей передавать им историко-географические сведения о России, что, кстати сказать, некоторыми российскими академиками исполнялось, Рычков отвечал твердым отказом: «Мое почтение усугубляется всегда к тем, кои к Отечеству моему усердствуют».

Упрекая Рычкова в том, что он небрежно и неуклюже, в ущерб качеству собственных же сочинений, пользовался первоисточниками, Г. Блок, видимо, не читал весьма интересное заявление Рычкова по этому поводу. В книге «Введение к Астраханской топографии», где использована «Скифская история» Лылова, Рычков писал: «Признаюсь, что по неисправности письма, весьма не мало имел я затруднения, сделать его, сколько можно, поисправнее и понятнее: ибо во многих местах такие находятся в нем речи, что прямой смысл понять невозможно. Однако поправляя, наблюдал я везде, чтоб сохранить штиль тогдашнего времени, коим оное повествование писано; дабы большею переправкою, в достоверности его не навесить сундучества».

Примечательно, что в бедственное время, в самые тревожные дни осады Оренбурга, не имея даже скудного пропитания и дров для согрева дома, Рычков, помимо «Летописи», создавал еще одно сочинение, назвав его так: «Описание восстания Стеньки Разина в Астрахани». На первый взгляд не совсем понятна эта его душевная потребность обратиться к теме грандиозного мятежа донского казачества именно в роковые дни, когда потомки разинцев — пугачевские повстанцы — могли в любой день и час ворваться в осажденный Оренбург.

Местонахождение этой рукописи до сих пор неизвестно. Но в книге «Введение к Астраханской топографии» Рычков упоминает о ней. И если внимательно перечитать эту книгу, особенно последние ее страницы, где сообщается о том, сколько осад выдержали древние стены Астрахани, то нельзя не догадываться, почему она писалась в блокадном городе.

Итак, читаем. Летом 1566 года турецкий султан Селим II послал для взятия Астрахани 25 000 конных и 30 000 янычар, «но сия великая армия, не имев никакого успеха против русских, погибла». Летом 1574 года 70-тысячная турецкая армия снова штурмовала Астрахань, шесть месяцев содержа город в осаде, но была отбита. В 1661 году Астрахань приступом взяли крымские татары, но вскоре же были изгнаны прочь. Никакие многотысячные войска не могли покорить город». Но летом 1670 года Астрахань «чрез измену» была взята небольшим отрядом мятежников во главе с Разиным. Чрез измену — подчеркивает Рычков. Измена всякого войска сильнее.

Читая эти страницы, нельзя не предполагать, что их автор в те дни

весьма был озабочен духом, нравственным состоянием защитников города. Не страх, а скорее инстинкт историка подсказал Рычкову обратиться через тревожную современность к аналогичному прошлому: свеж и грозен в памяти России был пример мятежников Степана Разина, взявших Астрахань «чрез измену».

Уберегись от этого, Оренбург!.. Страшное это слово — измена. Применительно хоть к врагам, хоть к друзьям. Ведь и «славный мятежник» погибнет не от укрощающей силы «правильного оружия»: Пугачева схватили и выдали властям изменники.

ОТВАЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Мы так боимся во всем правды, так мало сознаем ее необходимость, что стоит открыть хоть маленький ее уголок, — и люди начинают чувствовать себя неловко.

В. Вересаев

Как уже сказано, в конце марта, разбив главные силы повстанцев, князь Петр Михайлович Голицын во главе правительственных войск вступил в Оренбург, освободив его от шестимесячной осады. Он попросил Рычкова «рассмотреть и в порядок привести походные его записки». Так в руках Рычкова оказался ценный документ, позволявший расширить сведения о действиях пугачевских отрядов не только близ Оренбурга, но и в самых отдаленных провинциях.

Для большей объективности в описании этих событий Рычков нуждался и в таком доподлинном источнике, как «Журнал Рейнсдорпа», в котором чиновники Оренбургской губернской канцелярии по дням и часам вели, со слов губернатора, запись всех мер и действий местной администрации против мятежников. Этим документом Рычков надеялся подкрепить свои наблюдения и записи, сверяя их, так сказать, с официальным источником.

В мае 1774 года он обратился к Миллеру: «Что касается до описания того, сколько мы претерпели, то надеюсь я, дабы его превосходительство г. губернатор согласился на письмо ваше давать мне потребные к тому известия из имеющихся у него... Я, что видел сам и слышал от других, содержал у себя для памяти и собственного моего сведения ежедневную записку, чтобы со временем можно было составить из нее сего бедственного нашего времени описание...»

В Академию наук Рычков обращается прежде всего с целью получить официальное поручение написать об осаде Оренбурга, дабы не навлечь снова губернаторского гнева, который уже обрушивался на него, Рычкова, когда он по просьбе Миллера составил и отослал в Москву экстракт о бегстве калмыков.

В Оренбурге, среди его освободителей, находился и генерал-поручик, князь Федор Федорович Щербатов. На одном торжественном ужине Рычков

оказался рядом с ним. У них зашел разговор об «истории здешнего осадного времени». Щербатов выразил пожелание увидеть ее правдивой, беспристрастной: важно «упредить, чтобы французы и другие иностранные народы не издали в публику о сей осаде и о самозванце Пугачеве несправедливых известий».

Вспоминая о том официальном застолье, где присутствовали многие знатные военные и гражданские чины, Рычков замечал, что после обсуждения того, кому поручить такое ответственное дело, все едино сошлись на нем. Не возразив, Рычков, однако, сказал, что для сочинения справедливой и беспристрастной Истории нужно иметь соответствующий материал, «полные сведения», какими он в достаточной мере не располагает. Сидевший здесь же за столом губернатор Рейнсдорп сказал, что он готов снабдить писателя Рычкова «потребными известиями», в частности, передать ему свой журнал с записями об осаде, о чем его уже недавно просил конференц-секретарь Академии наук. Пообещал Рычкову свои походные записки и князь Щербатов; в заключение дал совет: написав сочинение о Пугачеве, «в публику ныне его не издавать». То есть не для народа, а для тайного служебного пользования предполагалось будущее сочинение Рычкова. Он с грустью понял это.

Но его утешило и даже ободрило то, что и военачальники, и губернатор предоставят ему необходимые материалы, к которым во всех иных ситуациях его б не допустили. Главное — создать обстоятельное правдивое историческое сочинение, а уж издавать или не издавать его — дело второе. Хотя писать только для архива Военной коллегии желания у Рычкова не было. И вопреки строгому наставлению генерал-поручика Щербатова он вскоре же отправляет Миллеру первую часть «Летописи» с просьбой высказать свое мнение: «Ежели сие издавать в публику годится, то где напечатать?»

Миллер осторожно промолчал, очевидно, не зная, что посоветовать. Издательские органы Академии наук вряд ли осмелились бы в ту пору «издать в публику» такое сочинение.

Как известно, летом 1774 года Крестьянская война под водительством Емельяна Пугачева все еще бушевала во многих губерниях. Потерпев крупное поражение под Оренбургом, Пугачев быстро пополнил свою армию башкирской и калмыцкой конницей, отрядами уральских рабочих и двинулся в сторону Москвы. Правительство было так напугано, что Екатерина II поспешно заключила мир с Турцией, чтобы высвободить войска и бросить их против Пугачева. На место умершего главнокомандующего карательными войсками Бибикова был назначен

генерал-аншеф граф Петр Иванович Панин. Для разгрома Пугачева в места действий повстанческих отрядов направили знаменитого Александра Васильевича Суворова, который под Царицыном нанес Пугачеву сокрушительный удар. Потеряв две тысячи убитыми и шесть тысяч пленными, Пугачев устремился с небольшим отрядом в безводную степь, где вскоре и был схвачен своими же сообщниками. Забитого в колодку, его 14 сентября доставили на Бударинский форпост, где годом раньше вспыхнула первая искра восстания.

С поимкой Пугачева восстание не прекратилось. Регулярные войска повсюду добивали разрозненные отряды мятежников, более двадцати тысяч участников восстания было предано суду. Повсюду возводились виселицы, «колеса», колы, плахи, где повстанцы встречали свой последний час. Жестокой расправой над мятежниками правительство решило запугать, остраотить народ на веки вечные.

Сожжена была хижина, где обитала семья Пугачева, а место рождения его — станицу Зимовейскую — переименовали в Потемкинскую. Реку Яик называли Уралом, Яицкий городок — Уральском, а Яицкое войско Уральским. Специальным Указом Екатерины II «пугачевщина» была предана «вечному забвению и глубокому молчанию».

Вот какие обстоятельства окружали Рычкова, дописывавшего в ту осенне-зимнюю пору свою хронику «Осада Оренбурга».

«Я люблю правду и не могу иначе не только писать, но и говорить», — делился он в письме Миллеру, сетуя на то, что объективное описание событий, оказывается, никому не нужно. Более того, вызвало даже раздражение у некоторых лиц, которые еще недавно призывали к созданию «беспристрастной истории». Особенно досадовали Рейнсдорп и его окружение. Рейнсдорп не терпел самостоятельности Рычкова даже в литературной и научной работе, желал быть его цензором и наставником. «Рычков получил от меня и других генералов все материалы для пугачевской истории. Действительно, он написал ее и показывал разным лицам, но для меня его хартия до сих пор остается тайною, из чего я с уверенностью вывожу, что он, по своему обыкновению, наполнил ее сказками и лжами».

Рейнсдорп настаивал на том, чтобы пугачевская история создавалась по протокольным записям в его журнале, более семидесяти страниц которого были заполнены в основном приказами и распоряжениями губернского военного и административного управления, руководившего обороной города. Особые заслуги воздавались лично генерал-поручику

Рейнсдорпу, которого императрица, в ответ на его рапорт об отражении мятежников и спасении Оренбурга, пожаловала орденом св. Александра Невского.

Свидетель осады Оренбурга, Рычков ввел «Журнал Рейнсдорпа» в свою хронику в переработанном виде, вовсе не считая его основным руководящим документом в своей работе. Он более полагался на личные наблюдения. Поэтому, комментируя распоряжения губернатора по поводу укрепления крепостного вала, Рычков без обиняков отмечал, что к обороне крепость не была подготовлена, а многократные вылазки гарнизонных войск оканчивались поражением их по причине «слабости и робости духа». Рейнсдорп же всячески подчеркивал высокие ратные качества воинов, организаторские способности командного состава и прежде всего, разумеется, собственные. Даже полную неудачу вылазки 14 ноября войскового корпуса он объяснил так, будто ничего плохого не случилось: солдаты отступили, не желая сражаться с бунтовщиками, применившими якобы безграмотную тактику рассеянного боя.

13 января 1774 года Рейнсдорп, решив еще раз «попробовать счастья оружия», вывел для генерального сражения почти все гарнизонное войско. Оно, как уже писано на предыдущих страницах, было наголову разбито и «бежало в беспорядке до самого Оренбурга». В своем журнале Рейнсдорп эту провалившуюся операцию расценил как репетицию перед решающим наступлением на бунтовщиков по всем направлениям. Нигде не обмолвился он о моральном состоянии войск и населения осажденного города, о фактах дезертирства среди солдат, казаков и даже офицеров, о спекуляции и грабежах...

Ссылаясь в своей хронике на сведения Рейнсдорпа, Рычков нередко употреблял слово «якобы». Он сомневался в достоверности «известий губернатора», зачастую искажавших многие факты пугачевской истории, фальсифицируя их в угоду собственным взглядам крепостника-карателя. Рычков в этом плане, как уже было сказано, хотя и придерживался мнений своего класса, но в литературно-исторических трудах по возможности старался не лгать хотя бы самому себе, писал о том, что сам видел и слышал.

К Рейнсдорпу он относился почтительно, но без подобострастия. Губернатор же, копя на него досаду, находил всякие поводы унижить, сломать его как личность. Поначалу Рычков в разгоревшемся конфликте винил не самого Рейнсдорпа, а его окружение, считая, что губернатор «бывает отвращаем людьми, суще недостойными его милости, привыкшими к самолюбию и ласкательству. Я не могу быть таким, как они,

и никогда таким не бывал: черное не называю белым. Вот... причины тому, отчего я часто выдерживаю огорчения и возбуждаю противу себя ненавистников добру».

Но вскоре Рычков убедился, что главную пищу этой вражде подает сам Рейнсдорп, который однажды при разговоре обозвал его писакой, себялюбцем, сочинителем безвкусных компиляций, а в письме к Миллеру представил Рычкова человеком, созидающим свое счастье во вред другим людям. Этими нареканиями и клеветническими измышлениями Рейнсдорп старался подорвать авторитет Рычкова не только среди помещичье — чиновничьей знати оренбургской губернии, но и в самой Академии наук. Веря и не веря Рейнсдорпу и Рычкову, Миллер намеревался примирить их, советовал Петру Ивановичу быть поговорчивей с губернатором. На что 19 февраля 1775 года Рычков ответил ему со всей горячей прямоотой:

«Вы, милостивый государь мой, многожды уже делали мне напоминания к согласию, которое я всегда наблюдал и наблюдаю. Я по крайней моей возможности стараюсь сохранить честь всех людей, а наипаче тех, от коих я еще и одолжен бывал, но рассудите сами: чего нет, можно ли сказать, что оно есть, и что есть, можно ли говорить, что нет? Я во всю мою жизнь ласкателем и клеветником не бывал, держусь справедливости и резону во всех моих поведениях».

Каких-либо причин для личной неприязни к Рейнсдорпу Рычков не имел. Он помнил, что губернатор хлопотал за него, устраивая на должность. И Рычков исправно служил, но не желал прислуживаться, был против того, чтобы его научную работу контролировало губернское начальство, стесняло и узурпировало ее. Рычков был известен правительству и самой императрице, многим академикам и военачальникам, читающей публике. Но этот растущий его авторитет литератора и ученого, как ни странно, не только не облегчал, но усложнял ему жизнь. Примечательно, что гнет оренбургской среды усиливался именно в период того или иного творческого успеха Рычкова или в тех случаях, когда верховное руководство оказывало ему свою благосклонность.

Рейнсдорп пришел в ярость, узнав, что известный боевой генерал и сенатор, граф Панин, недавно назначенный главнокомандующим войсками Оренбургской, Казанской и Нижегородской губерний, пригласил Рычкова в Симбирск для доклада о состоянии дел Оренбургской губернии. Как?! Почему по такому вопросу на аудиенцию вызван не губернатор, а Рычков, начальник Соль-Илецкого рудника?

Панин знал Рычкова как географа, историка, экономиста и

исследователя Оренбургского края и приглашал не для праздной беседы. Усмирив пугачевское восстание, Панин пожелал подробно ознакомиться с «гнездовьем Пугачева»: какие народы населяют край, какая их численность, занятия, культура, нравы... Эти сведения Панину нужны были как новому правителю Восточной России. Еще до встречи с Рычковым он заполучил первую часть его «Летописи» (Осада Оренбурга), которую через сенатора Еропкина ему передал из академической канцелярии Миллер. Миллер же посоветовал Панину в предстоящей работе по составлению «Исторических экстрактов» опереться на помощь Рычкова, который для этого сам предлагал свои услуги. В письме к Миллеру еще 13 августа 1774 года он писал: «Я хотя и знаком его сиятельству, бывал у него, но давно; мне мнится, что я, по сведению здешних дел и народов, мог бы употреблен быть нынче с пользою высочайших интересов».

Панин не замедлил воспользоваться услугами известного историка и литератора, для чего и пригласил его в Симбирск.

13 сентября 1774 года Рычков выехал из Оренбурга. Он был так рад поездке, что оттолкнул все советы и устрашающие наставления не отправляться в столь опасную дорогу, пролегающую по местам еще не утихших мятежей. По пути заехал в Спасское, горестно оглядел разоренное имение и, не задерживаясь, помчался в Симбирск, куда прибыл 16 сентября.

Более четырехсот верст за три дня!

По осенней дороге, на тройке... Можно представить, как спешил Рычков навстречу открывающейся ему возможности применить свои знания и талант «с пользою высочайших интересов».

Между тем той же дорогой и, возможно, в те же дни неслась в Петербург почтовая карета с письмом Рейнсдорпа. С нескрываемой досадой губернатор сообщал Миллеру, что «Рычков нашел способ быть вызванным в Симбирск от его сиятельства графа Панина» и где-то там шаньжничает, оставив без пригляда контору соляных дел. Заключая письмо, Рейнсдорп мстительно-злорадно пророчил Рычкову позорную неудачу, полагая, что Панин, «такой проницательный муж непременно сорвет маску с его глупости».

Но вопреки этому мрачному прогнозу Панин принял Рычкова хлебосольно.

НЕ РОБКОГО ДЕСЯТКА

*От века правда пребывала
И лучших всех соединяла.*

(Из песни старых бардов)

Рейнсдорп затруднялся объяснить ту симпатию, с какой авторитетный военачальник, его сиятельство граф Панин отнесся к Рычкову. Не мог взять в толк, что сблизило этих разных по рангу и служебному положению людей. Нравственные же их качества он в расчет не принимал. Это и не позволяло ему обнаружить в действиях и взглядах Панина и Рычкова много общего. Зависть и ординарный ум не позволяли Рейнсдорпу по достоинству оценить ни того, ни другого. К Панину он относился с конъюнктурным подбострастием временщика, постоянно оглядывающегося на мнение екатерининского двора. Мнение же это хамелеонски менялось, несмотря на то, что Панин был натурой цельной, никогда не торговал своими принципами. Его отличало «строгое отношение к самому себе при строгом и правдивом отношении к другим». Эти нравственные качества Петра Ивановича Панина были поставлены на весьма твердые устои еще с детства и подтверждались всею его жизнью.

Родился он в уездном селении Калужской губернии в 1721 году. Отец его, Иван Васильевич, не смог дать сыновьям, Никите и Петру, систематического образования, но много радел как дворянин о нравственном воспитании их.

Службу Петр Панин начал в 14 лет в Измайловском полку.

Однажды, стоя на часах во дворце императрицы Анны Иоанновны, отдал ей честь ружьем. В тот момент лицо его, как показалось монархине, передернула ухмылка. Петр был посажен в казарменный карцер и едва избежал Сибири. Из караульной дворцовой роты его немедленно отправили в действующую армию — в крымский поход.

Панин участвовал в штурме Перекопа, Бахчисарая, Кенигсберга, показывая в боях редкое бесстрашие и отвагу. Его вернули в гвардию и вскоре назначили командиром пехотного полка. Почти четверть века провел он в походах и сражениях, одерживая многие победы над шведами, немцами и турками. Умение личным примером на поле боя поднять дух

солдат, тактику сражения вести не по-прусски, а по-русски особенно проявились в битвах под Цорндорфом и Кулередорфом, при взятии в 1760 году Берлина.

Президент Военной коллегии генерал З. Чернышев в рапорте о сражении под Берлином отметил, что Панин «мужественным образом все исполнил... истребив более трех тысяч неприятелей, не потеряв ни одного своего...». Правительство назначает Панина губернатором Восточной Пруссии. Административные обязанности пришлось не по нутру боевому генералу, человеку горячего гражданского темперамента. Петр Иванович желал служить на родине.

Взойдя в 1762 году на престол, Екатерина II велит ему принять армию Румянцева и возвращаться в Россию. В именном указе императрица отмечает ратные подвиги Панина и награждает его как «идеально храброго генерала» золотой, украшенной бриллиантами, шпагой и рекомендует его в члены депутатской комиссии, составляющей новое законодательное Уложение. Одновременно Панин работает в военном ведомстве, формируя штаты русской армии.

По натуре цельный, деятельный, справедливый, он, став сенатором, встретился с вопиющим формализмом и халатностью в работе такого высочайшего правительственного органа, как Сенат. О беспорядках Панин высказывался откровенно и резко, во дворце ходил «без маски». Это «возбуждало лишь изумление и недовольство» среди его товарищей-сенаторов.

Однажды на одном из заседаний Правительствующего сената Панин осмелился поправить выступление даже самой императрицы. Когда по повелению Екатерины II генерал-прокурор князь Вяземский прочел о некоторых переменах, внесенных ею в «Устав о соли», все сенаторы, кроме Панина, встали и начали благодарить императрицу. Видя, что Панин остался на своем месте, она спросила его, соглашается ли он с предлагаемой реформой. Панин встал и ответил, что если государыня приказывает, то он повинует ее воле; но если изволит требовать его мнения, то он осмелится сделать некоторые свои замечания. Выслушав его, Екатерина приказала исполнение указа приостановить, а Панину приехать на другой день и внести поправки. Она якобы даже похвалила его за разумные добавления, на самом деле эта выходка Панина осталась в памяти сенаторов и самой императрицы.

С холодной настороженностью и недоумением сенаторы встретили записку Панина по поводу крестьянского вопроса, которую он подал Екатерине II. В ней он осуждал действия правительства против

крестьянских бунтов, раскольников и беглых людей. Самые жестокие меры для устранения и умирения их, по мнению Панина, ничего не дадут, если не устранить основные причины народных волнений: безмерную эксплуатацию подневольного труда, жуткий произвол при рекрутских наборах, неумеренную роскошь помещиков и дворян, понуждающую «употреблять людей в работы, превосходящие силы человеческие».

В отличие от большинства своих современников он утверждал, что воспитание и образование русской армии, которая набирается в основном из крестьян, невозможны при рабском их положении. Петр Иванович подмечал и высоко ценил духовную силу русского солдата, его мужество, великодушие, храбрость и «предупредительное постоянство, терпение и послушание». Спустя два дня после сражения у деревни Цорндорф Панин в письме к брату сообщал: «Когда же армия наша через неприятельские тела и раненых перешла, то никто наши никому из них никакого огорчения не делал, ничего с трупов не снимали и пленным никакого неудовольствия не показывали, но к особливому удивлению сами видели, что многие наши легкораненые неприятельских тяжелораненых на себе из опасности выносили, и солдаты наши своим хлебом и водою, в какой сами великую нужду тогда имели, их снабжали».

Кстати сказать, в том сражении генерал Панин был контужен, потерял сознание. Солдаты вынесли его с поля боя. Через некоторое время он очнулся, вскочил на коня и бросился туда, где сражались его полки.

Когда началась война с Турцией, Панину пришлось оставить дела в Сенате, вернуться в войска и принять командование 2-й армией, состоящей из 14 пехотных, 9 кавалерийских полков и десятков артиллерийских дивизионов. При тяжелейшем штурме и взятии Бендер его армия, действовавшая на главном направлении, понесла значительные потери, что вызвало недовольство Екатерины II: «Чем столько потерять и так мало получить, лучше бы вовсе их не брать Бендер».

Однако не Панин виноват в малоуспешной операции военной, поскольку главнокомандующий генерал З. Чернышев лишил его самостоятельности в ее проведении, навязывал ему свои приказы. Это двоевластие на одном плацдарме сражения и явилось причиной больших потерь среди наших войск. Тем не менее генералы Орлов и Румянцев получили за взятие Бендер ордена. Не помышляя о себе, Панин составил рапорт, в котором ходатайствовал о награждении солдат и офицеров вверенной ему армии. Этот рапорт Екатерина оставила без внимания. Панин не смог вынести такой обиды и, сославшись на здоровье, подал в отставку. Императрица незамедлительно под злорадный шепоток крупных

военных чинов подписала панинский рапорт, удовлетворив его прошение: Панин ей был нужен лишь в дни грозящей престолу опасности.

В ноябре 1770 года Петр Иванович писал своему брату:

«Сколь весьма трудно удерживать себя в великодушии, видею оное все попорванным ногами, преодоленным теми людьми, которые всю свою службу ведут на одних коварствах и на вмещениях собственных своих выгод, видов и корысти».

В ту пору английский посол лорд Каткерт в служебном отчете о российских новостях писал о Панине так: «Он горяч, враги его стараются удалить его, — и это им удалось. Они достигли удаления человека, весьма полезного государству, как в гражданском, так и в военном ведомстве... Генерал Панин, уважаемый и любимый офицерами и солдатами, по взятии Бендер принужден выйти в отставку».

Екатерина II вспомнила о Панине, когда пожар пугачевского восстания охватил несколько губерний и направился к Москве.

В это время Петр Иванович, находясь в отставке, жил неподалеку от столицы, в селе Михайловке. Придворные клерки продолжали наущничать, доносить императрице о том, что старый генерал хулит ее и все государственное правление.

Панин осуждал не государыню, а порядки, ослабляющие государство. Возмущаясь происками царедворцев, помышлявших только о себе, а не о народе, не об укреплении армии, Отечества, он говорил: «Многих произвели они в чины великие, забыв совесть и присягу. Я не желаю оным людям, коль себя низкими и клятвопреступными оказали, никакого несчастья, хотя они, по справедливости, достойны быть перевешаны». За Паниным был налажен строгий контроль.

Вот почему Екатерина II обратилась к Панину против своего желания, подчиняясь силе грозных обстоятельств.

Не сама обратилась, сие ей не позволила бы царская гордость. Все было устроено так, чтобы якобы Панин сам предложил ей свои услуги, что якобы рвался усмирять пугачевский бунт и обрадовался предоставленной возможности...

Такое мнение, к сожалению, свойственно и некоторым историкам.

На самом деле все выглядело иначе.

Панин лежал в постели, мучимый своей старой подагрой, когда к нему в Михайловку привезли секретное письмо от его младшего брата Никиты Ивановича, известного в то время дипломата. 22 июля 1774 года он писал: *«...Сего утра получили мы известие о разорении города Казани, и что губернатор со всеми своими командами заперся в тамошнем кремле. Мы*

тут в собрании нашего Совета увидели Государыню крайне пораженную, и она объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности Империи, требуя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том свое мнение. Безмолвие между нами было великое... Окликанные дураки Разумовский и Голицын твердым молчанием отделались. Скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, в полслова раза два вымолвил, что самой ей ехать вредно... Совет кончился тем, чтоб обождать Румянцева курьера с заключением мира с Турцией... Между тем сам я решился ехать против Пугачева или ответственность за тебя, мой любезный друг, что при всей своей дряхлости возьмешь на себя спасти Отечество, хотя бы надобно было тебя на носилках нести, если только Государыня того желает... Государыня будучи весьма растрогана сим моим поступком, божилась предо мною, что она никогда не умаляла своей к тебе доверенности, что она совершенно уверена, что никто лучше тебя Отечество не спасет... что ты не отречешься в сем бедственном случае послужить ей и Отечеству. Вот, мой любезный друг, каковым образом жребий твой решился».

Никита Панин далее просит своего старшего брата, не дожидаясь письма от императрицы, самому написать ей о своей готовности к службе. Он винится, что, не спрося совета, рекомендовал его, больного человека, как спасителя Отечества. Понимаю, замечал он, «какому бремени ты подвергаешься, но знаю ж и то, что где Отечество вопиет, тут ни у тебя, ни у меня не может быть места размышлениям о собственном нашем бытии».

Это письмо Петр Иванович получил 26 июля и, отвечая брату, просил поблагодарить «за возобновление ко мне доверенности, за важность дела, кое на меня возлагается»... Далее он, отставной генерал, сославшись на неосведомленность о дислокации военных сил в стране, составил перечень того, что ему конкретно надобно для верного успеха в порученном деле. Прежде всего «полную мочь и власть не только над всеми воинскими командами, употребленными к пресечению происходящего в Империи возмущения, но и над всеми жителями, города и судебными местами, где и до которых мест оное возмущение касается...». Он просил уберечь его от вмешательства в его распоряжения и действия других военачальников, походатайствовать о «защитении меня и подчиненных моих от завистников и клеветников, дышащих и живущих в своих званиях не прямыми действиями службы, но единственными ухищрениями происков, на превозможение власти своей над истинными заслугами».

В тот же день Петр Иванович отправил письмо Екатерине II, в котором извещал, что узнал от своего брата о том, «что Вашему Императорскому

Величеству благоугодно стало всемилостивейше избрать меня к употреблению на пресечение внутреннего в империи пугачевского смятения». Благодаря императрицу за оказанное доверие, Панин, однако, замечает, что должен «в том открыться, что слабость моего здоровья и увечные припадки приводят меня в трепет, чтоб иногда в самых нужнейших действиях не отлучили от возможности исполнять их и своего звания или бы смертью онаго не прекратили». Панин просит снабдить его генералом, который бы в случае чего мог заменить его на боевом посту. И далее: «Я бы почитал теперь первым своим долгом предстать пред Ваше Императорское Величество, но истинно нет естественной силы на такую скоропостижную переездку».

Не приняв во внимание болезнь Панина, императрица послала ему письмо и официальный рескрипт от 29 июля 1774 года о назначении его главнокомандующим войсками, посылаемыми на подавление Пугачева.

«Вам известно уже настоящее положение дел в Оренбургской и Казанской губерниях, и степень неустройства, до которого там гражданское наше правление доведено изменою и бунтом появившегося под именем покойного Императора Петра третьего, самозванца из беглых донских казаков Емельяна Пугачева». Императрица подчеркивает, как важно «скорое и совершенное прекращение сего зла до последних его источников», для чего *«избираем Мы вас к тому яко истинного патриота, коего усердие, любовь и верность к Отечеству... испытаны нами уже во многих случаях».*

В рескрипте императрица обещает выполнить все требования Панина, дать ему всю полноту власти. К таким распоряжениям и склоняли ее придворные советники, еще недавно глумившиеся над Паниным, теперь же с надеждою вззирающие на него, как на своего спасителя. Ведь положение в стране, охваченной небывалым по размаху восстанием, было катастрофическое. Видные генералы Корф, Кар, Бибииков, Голицын, Чернышев, Рейнсдорп не смогли подавить мятеж.

Его сиятельство граф Потемкин в те дни с тревогой писал императрице: «Обстоятельства тамошние столь худы сделались, что уже одним оружием кончить не надежно; а нужен мудрый муж, испытанный в искусстве и ревности, могущий восстановить порядок и словом вложить душу в расстроенный народ».

При всем этом Екатерина не доверяла Петру Ивановичу Панину и, назначая его главнокомандующим, в то же время писала Потемкину: «Господин граф Никита Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельною властью... Я пред всем светом первого враля и моего

персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всех смертных в Империи хвалю и возвышаю».

Но Панин и без того был знаменит. Его помнили и любили в русской армии. Английский посланник Роберт Гуннинго, сообщая в Лондон о назначении Панина, писал: «...он был единственный человек в Империи, способный занять это место».

Так что Панин вовсе не жаждал, а, по настоянию Государыни, лишь согласился взять на себя «тяжелый подвиг». В помощники себе он получил генерал-поручика Александра Васильевича Суворова. Вот какие военные силы привлек к себе Пугачев.

Как известно, Панин быстро, в течение двух, месяцев, погасил пламя крестьянской войны. Захваченного Пугачева посадили в деревянную клетку и в сопровождении усиленного конвоя доставили из Яицкого городка в Симбирск. Дождливом утром 2 октября его подвезли к парадному крыльцу служебного дома, на котором со свитой стоял «главный усмиритель» восставших граф Панин.

Пользуясь «Летописью» Рычкова и воспоминаниями очевидцев, Пушкин в «Истории Пугачева» описывает эту сцену так:

«— Кто ты таков? — спросил (Панин) у самозванца.

— Емельян Иванов Пугачев, — отвечал тот.

— Как же ты смел, вор, называться государем? — продолжал Панин.

— Я не ворон, — возразил Пугачев, играя словами, изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно, — я вороненок, а ворон-то еще летает...

Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клоч бороды».

В своем донесении в Сенат 2 ноября 1774 года Панин подытожил вред, принесенный державе повстанческим движением, сообщал также о фактах произвола, бюрократизма, казнокрадства, царивших в административных учреждениях Казани, Симбирска, Саратова, Оренбурга, Челябинска, Самары, Троицка... Его возмущали трусость и бездеятельность местных чиновников, склонных, однако, к энергичному стяжательству и алчности, к такому миропорядку, где «производятся без страха и стыда взятки, пристрастия и отступления от правосудия». В донесении Панина отразились причины, истоки народного гнева, что долго копился и затем разрядился в гигантском восстании.

Налаживая мирную жизнь в крае, Панин обязал крестьян вносить подати не с января, а с 1 сентября 1774 года, списав недоимки на минувшее

грозовое время. Эта мера облегчала жизнь бедняцкого населения. Чтобы присечь злостную спекуляцию, он повелел не возвышать цены на провиант и фураж, грозя ослушникам смертной казнью.

Недостатком внимания правительства к инородцам Панин объяснял широкое участие башкир в крестьянской войне. С позволения императрицы он учредил при Оренбургской губернской канцелярии Комиссию пограничных и иностранных дел, которой поручалось защищать интересы населения многонационального края. В эту комиссию сочленом губернатора он назначил Петра Ивановича Рычкова и попросил его, как человека, знающего историю и население края, написать «исторический экстракт» о состоянии башкирского и киргиз-кайсацкого народов.

В письме к императрице Панин сообщал, что из-за недостатка сведений об этих народах он не может гарантировать на ближайшее время безопасность краю, где хотя и усмирен бунт. А потому вывод из заволжских степей войск он начнет лишь тогда, когда хорошо изучит обстановку в крае и по-настоящему сможет «проникнуть в души черни», когда «возникшее в народе возмущение пронизать до источников» ему окажется возможно.

Благоразумие и справедливость, закон и сила — вот на что Панин опирался в своих действиях.

Не он, а назначенный ему в помощники высокочтимый ныне в народе Александр Суворов брал Пугачева и лично конвоировал в Симбирск, Панин же в литературе о пугачевском движении обычно упоминается как главный укротитель восставших, каратель. Но, в таком случае, какие действия Панина историки признали бы некарательными? Очевидно, такие, которые пощадили бы Пугачева, позволили бы его слабо вооруженному, в основе своей необученному войску разбить полки регулярной русской армии?

Причины поражения повстанцев еще и в «полном непонимании политической стороны движения». Для чего Пугачев хотел захватить Москву? Чтобы истребить всех помещиков и бояр и посадить на престол «хорошего царя». В случае неудачи, поражения восстания он намеревался бежать за границу.

Устремляясь во главе правительственных войск навстречу Пугачеву, Панин зорко, с тревогой поглядывал на запад и на юг. Никто не мог знать, как повели бы себя турецкие, польские и шведские войска в случае захвата Пугачевым Москвы и последовавшей бы за тем всеобщей анархии в стране, оказавшейся во власти удалых, но беспутных, полуграмотных мятежников. Поэтому при оценке действий того, кто был «отважным предводителем народных масс», а кто их карателем, следовало бы быть

более объективным.

«Царский генерал», — с презрительной усмешкой твердили мы о Панине, повторяя внушенное нам со школьной скамьи. Но ведь и Суворов, и Кутузов тоже были царскими генералами и командовали правительственными войсками. Да и были ли в России в то время еще какие-то войска, кроме правительственных?!

Завидуя воинскому авторитету Панина среди солдат и офицеров, президент Военной коллегии З. Чернышев откровенно злословил, утверждая, что Панин взялся усмирить пугачевский бунт по причине якобы своего неумного властолюбия, из желания-де побыть главнокомандующим.

Однако письмо Петра Ивановича к брату от 14 ноября 1774 года опровергает эту ложь. *«Нет другой справедливости, как ожидать на мою просьбу всемилостивейшего дозволения прибыть в Москву и потом возвратиться в прежнее мое уволенное от службы положение»*. Мог ли человек, мечтавший «наслаждаться» властью, исполнив с успехом возложенное на него «тяжелое бремя», немедленно просить, добиваться собственной отставки? Панин чувствовал, что в суете придворных интриг он со своим прямотушием, честностью, горячим гражданским темпераментом неудобен, никому не нужен. И что ему лучше уйти. И действительно, от службы он вскоре был отстранен. К нему обращались лишь в исключительные моменты, когда без него «не могли обойтись и когда даже его враги не могли воспрепятствовать этому».

Ценя гражданское мужество Панина, один из его современников в своих записках вспоминал такой случай. В конце 1772 года, когда скончался славный русский фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, московское начальство, зная, что покойный был в опале у царедворцев, не дало никаких распоряжений для его похорон. Это кощунство потрясло Петра Ивановича. Желая отдать последнюю почесть заслуженному и авторитетному полководцу, он, хотя и был в отставке, надел свой генеральский мундир в Андреевской и Георгиевской лентах и немедленно отправился в дом Салтыковых. Подойдя к гробу фельдмаршала, он обнажил шпагу и сказал: «До тех пор буду стоять здесь на часах, пока не пришлют почетного караула для смены».

Эта «выходка» стала известна императрице и московскому губернатору. Для того, чтобы прилично похоронить старого военачальника, вскоре была выделена воинская команда, сменившая генерала Панина на траурной вахте.

«Опальное положение перед лицом императрицы Екатерины и ее

двора перешло в историю, а затем, будучи страдательным типом, Панин как историческая личность подвергся искажению... но, подточенный и надломленный интригующим злом, не сдавал окончательно ни при каких обстоятельствах». Это мнение П. Гейсмана и А. Дубровского, авторов небольшой дореволюционной брошюры о Панине, подтверждается всею сутью и содержанием жизни Петра Ивановича. Он был одним из тех мощных устоев, на которых зиждится сила России, духовные начала в русской армии.

Однако, как в дореволюционное время, он не был оценен по достоинству, так и после — в советское. При своих ярких способностях, ратных заслугах и высоком патриотизме он ни при жизни, ни после смерти не занял того места в русской истории, которого заслуживает.

Панина мы знаем плохо не по малости его заслуг перед Отечеством, а потому, пожалуй, что знать его не предусматривалось рескриптом о заслугах, табелью о рангах, составленной усердием сначала летописцев царствования Екатерины II и последующих самодержцев, затем идеологов сталинского времени, которые историю государства российского свели к биографии нескольких личностей.

Но вернемся в Симбирск.

«...Простирая мою должность к познанию потребных тамошних обстоятельств, мне доколе неизвестных, — писал Панин Екатерине II, — призвал я к себе в Симбирск статского советника Рычкова, находящегося в Оренбурге при соляных делах, а известного в достаточном познании его по изданным от него о той стране описаниям.... По свидании с ним нашел я подлинно, Всемилостивейшая Государыня, что сей старый тамошнего края слуга имеет самые полные и лучшие во всем об нем сведения, в рассуждении чего и поручил я ему под руководством Оренбургского губернатора сочинить и ко мне доставить исторические экстракты о всем прежнем и нынешнем состоянии народов башкирского и киргиз-кайсацкого».

Пребывая у Панина в Симбирске, Рычков писал Миллеру: «Находясь здесь, пользуюсь я милостями графа Петра Ивановича и радуюсь, что он во все проникает и узнавает существо всякого дела...»

Панин не отпускал Рычкова домой более полутора месяцев, используя знания и «долговременную и искусную практику» его в сношениях с башкирским и киргизским народами.

25 октября 1774 года он направил Рейнсдорпу ордер следующего содержания:

«...Извольте, ваше Превосходительство, под собственным

надзиранием, чрез способного человека из ваших подчиненных, приказать составить из дел и архивов Оренбургской канцелярии и ко мне без замедления прислать за вашею рукою два кратких исторических экстракта: один из них о киргизском народе, а другой экстракт о башкирцах».

Остается непонятным, почему Панин, рекомендуя найти «способного человека», не указал прямо на Рычкова. Возможно, он знал о натянутых взаимоотношениях между губернатором и ученым и не хотел их усугублять. Возможно, намеревался оставить Рычкова служить при себе. Известен лишь ход дальнейших событий, весьма печальных для Рычкова.

Получив 2 ноября панинский ордер, Рейнсдорп в ответном рапорте докладывал, что составлять «исторические экстракты» он поручил секретарю губернской канцелярии титулярному советнику Чучалову и двум его помощникам, которые приступили к работе.

Этот рапорт находился в пути, когда Панин вслед за первым своим ордером направил Рейнсдорпу 31 октября еще одно распоряжение, в котором рекомендовал написание «исторических экстрактов» возложить на Рычкова и всемерно помогать ему в работе, открыв доступы ко всем необходимым документам. Провожая Рычкова из Симбирска, Панин вручил ему письменное «повеление», в котором разрешал «отъехать в Оренбург к настоящему при соляном деле правлению» и, не отлучаясь от службы, совместно с губернатором составить экстракты и незамедлительно выслать ему в Симбирск.

Эю поручение, по замыслу Панина, должно бы было объединить усилия Рейнсдорпа и Рычкова в налаживании более прогрессивной системы управления инородцами в многонациональном крае. Однако назначение Рычкова как члена Иностранной комиссии к себе в помощники Рейнсдорп воспринял с глубоким неудовлетворением. «Значит, правительство не доверяет мне, моим способностям в управлении краем», — думал он с обидой и недоумением.

И совсем уж обескуражило Рейнсдорпа второе письмо Панина, которым все дела по составлению экстрактов велено было передать Рычкову. Рейнсдорп не без основания растерялся, не зная, как быть. Ведь для выполнения панинского задания он уже назначил способных людей, и они принялись за дело. Конечно, Рычков был опытен и сведущ в такой работе, она ему более сподручна. Но тогда почему его сиятельство, главнокомандующий граф Панин сразу не назвал Рычкова как наиболее способного исполнителя сего поручения? Понять это Рейнсдорп не мог, но и ослушником приказа вышестоящего начальника быть не желал. Поэтому,

искренне презирая Рычкова, открыл ему дорогу ко всем архивам, хранящимся в губернской канцелярии. В то же время он поторапливал Чучалова, надеясь опередить Рычкова. Но это ему не удалось.

Рычков сочинил экстракты не только быстро, но и с сердечным прилежанием, вложив в них обширные сведения, одухотворив сочинение живыми мыслями и наблюдениями историка.

25 декабря 1774 года он писал Миллеру: «Его сиятельство моим трудом, по предписанию его чиненным, столько доволен был, что пожаловал мне от имени Ее Величества две тысячи рублей. Вы знаете, милостивый государь, сколь они полезны оскудевшему от разорения и ослабевшему в силах своих человеку. Я не успел еще его и благодарить, почувствовав от великого восхищения некоторый припадок».

Практически это было первое материальное вознаграждение Рычкову за его литературно-исторический труд. Шестидесятидвухлетний член-корреспондент Академии наук, ученый-географ, просветитель, публицист принял его с благодарностью. Запечатлевая в «Записках» это радостное событие своей жизни, Рычков не без гордости отмечал, что Панин определил его «в учрежденную от него при Оренбургской губернии иноверческую и пограничную Комиссию сочленом губернаторским». Это сочленство в какой-то мере должно было бы защитить Рычкова от неправых посягательств со стороны Рейнсдорпа, содействовать их примирению. Однако уязвленное самолюбие губернатора, его личная неприязнь к Рычкову оказались выше здравого смысла Рейнсдорп также представил Панину составленные своими помощниками «исторические экстракты», по содержанию и исполнению, надо полагать, слабее рычковских, поскольку какого-либо отзыва Панина они не получили, во всяком случае, в документах таковых не находится.

Раздосадованный Рейнсдорп писал в июле 1775 года своему петербургскому корреспонденту: «Если не избавлюсь прежде от нелепого Рычкова и Оренбурга, то ничто в мире не удержит меня в начале сентября месяца просить графа Петра Ивановича об отзыве».

ПРАВДА БОЖЬЯ, А ВОЛЯ ЦАРСКАЯ

Можно видеть тут многие дела, которым подражать воздержаться надлежит.

П. Рычков

Выходя ранним февральским утром из губернской канцелярии, Петр Иванович поскользнулся и упал, повредив ногу. Ни врачи, ни сам он точно не узнали, вывих то был или закрытый перелом одного из суставов. Пострадавшего отнесли в его дом, где «несколько дней при несносной боли и ломоте во всей ноге» он пролежал недвижно. К той боли присоединилась еще и подагра, и в таком болезненном состоянии Рычков весь год находился, а если и выезжал на службу, то всегда с великим трудом, ибо больной ногой он не мог ступить, а передвигался лишь с помощью костылей. Врачи приписывали ему покой, домашний режим.

Средний сын Рычкова, Василий, капитан Царицынского батальона, прибыв в Оренбург в марте 1775 года, застал отца в постели, с придвинутым к ней столом, заваленным бумагами. Извиняясь за свое нездоровье, Петр Иванович шутил:

— Хромые для передвижения мало пригодны, зато способны в делах, где ум и сила духа надобны. Болезнь от конторских сует меня отстранила, приблизив к этим бумагам, среди них полезнейшие имеются.

— Как новый труд ваш, батенька, называется?

— Добавления пишу к известной тебе «Истории Оренбургской». Время пополнило ее славными и горестными событиями. Ровно год тому, как с Оренбурга страшная осада снята. Мною все сие доподлинно изображено, но в публику пока не выпущено. Грозный злодей и бунтовщик хотя и казнен в Москве недавно, люди же от разговора о нем удерживаются и передают, кто что знает, шепотом.

— Отец, а надобно ли о таких злодействах летописать, память в людях удлинять? Сколь разорено по всем провинциям, сожжено, сколь крови пролито?! — Василий вспомнил о своем старшем брате Андрее, убитом и похороненном под Корсуном. Тело его 15 января 1775 года было перевезено в Спасское и погребено в каменной церкви, восстановленной после разграбления и заново освещенной архиепископом казанским.

— И что отвечивал, отец, тот вождь бунтовщиков, когда вы его в

погибели Андрея обвинили?

— Не видел-де, не убивал такого и в оных тех местах под Корсуном не воевал и никого не казнил там вовсе. Это, мол, случилось оттого, что повсюду шло великое смертоубийство, а его люди, те самые бунтовщики, своевольничая, творили, что хотели, безо всяких его приказов. Оно истинно, пожалуй, так и было... В «Осаде Оренбурга» я подробнее описал мятежников и как город против них выстоял.

Рычков показал сыну объемную рукопись.

— Сии события, мнится мне, забвения достойны, а не труда вашего, отец.

— Нет, сын, пишущему историю не годится невольником то ли скорби, то ли гнева быть. Вот сожгли, слышал я, жилище Пугачева и пепел развеяли, вот и Яик в Урал переименован... Но как выгнать из всех людей, наших и иностранных, память о пугачевском бунте? Не получится сие да и негоже. История, мой сын, не только летопись достославных деяний наших, но и тех, кои к стыду и печали нас взывают. И все они должны беспристрастно на ее скрижалях быть оставлены.

Отвечая на расспросы отца, Василий рассказал о своей службе, о военных походах, об участии в штурме Перекопской крепости.

Выслушав сына, Рычков с гордостью и грустью заговорил о том, что и древнее время, и настоящее знает бесчисленные примеры мужества и доблести русского народа, его армии, великие свершения мудрых государей и военачальников, и также несправедливые дела иных, игравших судьбами Отечества, корыстолюбивых монархов, знает кровопролитные войны с иноземными поработителями и не менее разорительные, ослабляющие державу козни ее внутренних врагов...

Однако такое великое государство, сетовал Рычков, не имеет до сих пор своей полной и совершенной истории. Но она должна быть, она будет написана, коль за столь великий труд уже упорно брались Ломоносов, Татищев и кое-что успели создать. И он, Рычков, тоже на то отваживался и теперь не перестает радеть о написании общей истории российского государства, решив составлять ее из доподлинных региональных описаний губерний. Он уже закончил Казанскую, Астраханскую и большею частью Оренбургскую истории. Но хватит ли сил, самой жизни для создания историй остальных российских губерний? Кто продолжит незавершенный труд?

Ведать бы Петру Ивановичу, что такой продолжатель, великий историк и писатель, автор всемирно известнейшей «Истории государства Российского» уже родился и жил в нескольких верстах от Оренбурга в

сельце Преображенском. И было ему в ту пору уже девять лет, и звали его Колей. А позже величали Николаем Михайловичем Карамзиным. Отец его, Михаил Егорович, помещик и отставной капитан, вернувшись с турецкой войны, построил в названном сельце просторный бревенчатый дом и спокойно занялся земледелием. Здесь в деревенской тиши, среди оренбургских степей прошли детские годы Николая Карамзина. Не раз вместе с отцом бывал он на Меновом дворе и знаменитым восточными сладостями, бухарскими халатами и коврами оренбургском базаре, а также в церковных соборах, созерцал торжественные парады войск оренбургского казачества. Возможно, случаем слыхивал про Рычкова или даже ненароком видел его во время общегородских празднеств. Но несомненно и общеизвестно то, что спустя многие годы при создании «Истории государства Российского» Карамзин, помимо множества старинных летописей, сочинений греческих и римских историков, архивных документов, положит на свой рабочий стол и «Историю Российскую» В. Татищева и книги Рычкова.

Петр Иванович показал сыну свою новую, недавно изданную Московским университетом книгу «Введение к Астраханской топографии» — историю Астраханской губернии с древнейших времен. Еще раньше Василий читал известный труд отца «Опыт Казанской истории», выпущенный в Петербурге в 1767 году. В военных походах он держал при себе эту небольшого формата, в крепкой коричневой обложке с золотым тиснением книгу. В ней была запечатлена казанская история древних и средних времен, опыт действий русских государей, русского воинства и его воевод во время многих походов и сражений.

Астраханская история же читалась как продолжение казанской, как последующая глава одной большой исторической книги.

Оставим ненадолго Василия за этим чтением в родительском доме в мартовский буранный вечер, а сами хотя бы вкратце ознакомимся с «Опытом Казанской истории» — одним из интереснейших трудов Рычкова; в нем много подробностей, которые не найти даже в капитальных, всеохватных, казалось бы, «Историях Российских», созданных Карамзиным, Соловьевым и Ключевским.

В предисловии к своему сочинению Рычков обращается к российскому читателю, который приучен искать полезные для себя примеры и славные опыты в историях чужестранных, тогда как история своего Отечества таких удивительных и несравненно лучших примеров и наставлений имеет больше. И знать их важнее, поскольку «деяния прародителей больше возбуждают в нас внимания, ревности и подражания, нежели события и

дела иноземных народов».

Что же касается непосредственно истории Казанского царства, то она, считает Рычков, неразрывно связана с историей всей России. *«В разных своих периодах она достоверно показала нам пришествие сюда древнейших славян, наших прародителей, под именем болгар, распространения их по Волге и здешних местах великими городами и селениями».* Казанская история свидетельствует о том, как славяне были утеснены, а затем поработены степными татаро-монгольскими пришельцами, как «разные Ордынские царства начало и основание свое получили» на исконно русской земле. *«Увидели мы из нее и то, как и кем оные царства были управляемы, до какой великости доходили, когда и по каким причинам ослабевать стали и кем совершенно опровергнуты, и как вместо их утвердилось Российское самодержавие... Толь важныя и многия обстоятельства не требуют ли великого труда и совершенного знания во всей общей истории, особливо же о славянских народах, во многие государства рассеявшихся. Я говорю здесь о истории полной и совершенной... И опыт сей Казанской истории древних и средних времен послужит к тому началом...»*

Опираясь на летописи, на труды древнегреческих историков Геродота и Птоломея, на архивы Татарской истории, на родословную Абулгазы Баядур-хана и другие источники, Рычков описывает мирную жизнь славян до нашествия разных степных народов Востока. Потом пришел Батый, учинился самовластным повелителем над российскими великими князьями, основал царство, которое татары называли Большою, а русские Золотою Ордою. «Казанское ханство с начала его было не что иное, как отрывок или отрасль той же Большой Орды, — и продолжалось оно, как и сама та Орда, больше двухсот пятидесяти лет с великим кровопролитием и отягощением всей России».

Город Казань, построенный сподвижниками Батые, был столицей Казанского ханства и долгое время служил плацдармом грабительских набегов ордынцев на соседние русские княжества.

Пользуясь ослаблением Золотой Орды, московские князья овладели Казанью и определили царем в ней татарского князя Магметелина. Тот вскоре же перебил в городе всех русских жителей, а когда московские воеводы с большим войском подошли к Казани, Магметелин внезапно напал на них и вынудил отступить. Победу над русскими решено было отпраздновать на Арском поле под Казанью. Татары раскинули красивые шатры, приготовили много вина и всяких блюд и начали веселье. Узнав о том, русское войско вернулось и внезапно атаковало гуляющих татар,

многие были побиты, некоторые же успели отойти к городу и укрыться за крепостной стеной. Развивая успех, русские бы легко могли занять город. Однако они не стали преследовать в панике бегущего противника, а увидев, что на поле возле убитых татар оставлено много питья, пищи и разного богатства, решили отпраздновать победу. Целые сутки они ели, упивались вином и спали там же без всякой осторожности. Между тем татары, собрав до тридцати тысяч конных, тихо подошли к лагерю русских и с двух сторон напали на спящих и пьяных и побили их великое множество, что все Арское поле покрылось телами и кровью русских людей.

Следующие походы на Казань московские князья проводили в 1470-м, 1514-м и в 1530-м годах. Казанцы каждый раз терпели поражение, каждый раз в Казань назначался новый татарский царь, который клялся в верноподданничестве Великому князю Московскому, но каждый раз гнусным образом изменял. Татары по-прежнему своевольничали, грабили и убивали русских князей, бояр, купцов, уводили в плен тысячи русских крестьян и ремесленников и превращали их в рабов.

В 1547 году на престол вступил семнадцатилетний царь Иван Васильевич, позже названный Иваном Грозным. Прежде всего он взялся восстановить ослабевшее в государстве правосудие, истребить в боярах своекорыстие и лихоимство, привести их себе в прямое подчинение. Без строгости и страха туг было не обойтись...

Царь Иван Васильевич много ездил и видел бедствие и нищету своего государства, со всех сторон стесненного разноплеменными врагами. Особенно же его озадачило Казанское ханство, основанное татарами на земле, российскому государству принадлежащей. И он велел собирать войско, чтобы идти в Казань и утвердить там христианство, свое самодержавие и «сделать бы оные места на всегдашнее время не только безопасными, но и полезными для всего государства».

В Казани в то время шли распри между тамошними начальниками. Они сами выгнали очередного своего царя Сип-Гирея, недавно привезенного из Крыма, и теперь искали, кого же назначить правителем Казани. Они знали, что в Москве находится татарский князь Ших-Алей, которого они однажды избирали казанским царем, но, не терпя его честную службу русскому царю, едва не убили: Ших-Алей спасся бегством. Он жил в Москве и, отлично зная все происки казанцев, давал Ивану Васильевичу мудрые советы, как с ними обходиться. Вот потому татары и решили выманить этого опасного для них сородича и убить. Они направили к Ивану Васильевичу послов с дорогими подарками, прося его принять Казань под свою высокую руку и определить к ним «прежде бывшего царя

Ших-Алея».

Старые бояре, наученные горьким опытом, советовали Ивану Васильевичу не верить татарам, не посылать к ним Ших-Алея. Но московский государь был еще юн и доверчив. Он велел Ших-Алею отправляться в Казань. Взяв с собой три тысячи верных татар, Ших-Алей, хотя и с неохотой, отбыл в Казань. Предчувствие не обмануло его. На подходе к городу он был окружен многотысячным казанским войском и сопровожден в город, где вся охрана его тотчас была убита, а сам он брошен в темницу. Слишком долго рассказывать, как мудрый Ших-Алей выбрался из нее и совершил свой второй побег из Казани. Казанцы же послали за изгнанным ими недавно Сип-Гиреем, прося его быть у них царем. Тот вернулся в Казань с новой женой, красавицей Сумбек, дочерью татарского хана Юсупа.

Для отмщения казанцам царь Иван Васильевич летом 1549 года отправляет к ним лучших воевод, князей Василия Серебряного и Семена Микулинского, с большим войском. Он повелел им не трогать Казань, но пройти по татарским улусам и разорить их. Казанцы не могли видеть и терпеть такое, вышли из города и 20-тысячным войском бросились догнать и побить русских. Но вскоре сами почти все были побиты. Однако Казань еще стояла и не желала покориться русскому государю, хотя трижды просила подданства и трижды изменяла своему клятвенному слову.

Зимой 1550 года Иван Васильевич с огромным войском двинулся к Казани, но не смог взять город. На обратной дороге царь присмотрел неподалеку от Казани удобное место и повелел там заложить, в устье реки Свияги, город.

Весной 1551 года Иван Грозный во главе большого войска снова направился к Казани. По Волге в то же время плыли сотни барж, везя заготовленные загодя срубы. 14 мая они были сгружены возле устья Свияги. Далее царь повелел отрядам конных под водительством Ших-Алея нести охрану, а пешим воинам рубить на берегу лес, очищать место для будущего города.

Дело пошло с таким успехом, что к 10 июня того же года «преизрядный город и в нем соборная церковь во имя Рождества Богородицы, шесть приходских церквей да один монастырь внутри города были поставлены».

Русский город рос на глазах казанцев и приводил их в ужас. Помешать строительству силой они уже не могли, поэтому по обычаю своему пошли на новое коварство. Они предложили Ших-Алею жениться на красавице Сумбек и принять их казанское царство. Тот, посоветовавшись с

московскими воеводами, согласился жениться и стать царем в Казанском царстве. Сумбек послала Ших-Алею якобы в знак радости и мира подарки — различные яства, приготовленные своею рукой. Но Ших-Алей, много раз испытывавший на себе коварство казанцев, проявил осторожность. Прежде чем отведать того яства, он дал его собаке, и та тотчас издохла.

В Казань было послано большое войско. Гнусную Сумбек арестовали и доставили в Москву. Короче, свадьба не состоялась. Однако Ших-Алей согласился принять Казанское царство. Оставив в Свияжске основные войска, он взял с собой одного московского воеводу, 22 тысячи служивых верных ему татар и несколько тысяч стрельцов и вошел в Казань. Встретили его татары торжественно, с почестями и тут же присягнули, передавая город свой и царство в самодержавную власть московского государя Ивана Васильевича, обещая жить в покое и послушании.

Первым делом Ших-Алей распорядился отпустить на родину сто тысяч русских — молодых мужчин и женщин, находившихся у татар в качестве невольников. На разные должности он выдвинул верных ему людей. Ключи от городских ворот велел содержать у воеводы. Всюду расставлены были усиленные караулы из отрядов стрельцов: днем на карауле их стояла тысяча, а ночью — три тысячи.

Такая строгость Ших-Алея казанцам, привыкшим к своеволию, показалась несносною. И начали они тайно совещаться, как погубить или хотя бы согнать его с царства. Ших-Алей вовремя раскрыл их заговор и казнил пять тысяч казанцев, отчего гнев населения не уменьшился, а лишь ушел в глубины людских душ и затаился.

В ту пору к московскому царю Ивану Васильевичу обратился беглец из Казани, служивый Чапкун. Он просил отпуск для поездки в Казань, где желал повидаться с родственниками, забрать жену и детей своих. Государь отпустил его. В Казани Чапкун подговорил татар написать донос, обвинить Ших-Алея в измене царю Ивану Грозному. Клевета подействовала. Ших-Алей был отозван в Москву, а на его место в Казань царь назначил князя Петра Шуйского и пять воевод.

Перед отъездом из Казани Ших-Алей ласково пригласил всех татарских мурз и начальников на прощальный обед, по окончании которого попросил их проводить его до Свияжска, где якобы приготовлены для них такие же богатые столы с угощениями. Те согласились. В Свияжск прибыло около семисот знатных татарских чинов. Как только они въехали в город, крепостные ворота за ними закрылись. Ших-Алей приказал всех взять под стражу. 90 человек тотчас были закованы и отправлены в Москву на суд, а остальным он велел отсечь головы. Воеводам он приказал срочно

выступить с войском и занять Казань. Но те выступили лишь через день и, подойдя к Казани, оповещенной уже о гибели семисот своих знатных людей, встретили такие ожесточенные угрозы и решимость сражаться, что повернули домой, в Свияжск. К тому ж они не имели государева повеления брать город приступом.

Ших-Алей, прибыв в Москву, испытал гнев Ивана Васильевича, но когда рассказал ему правду об измене Чапкуна, то государь простил его и одарил подарками, благодаря за верную службу.

Казанцы же в поисках нового для себя царя обратились в Ногайскую Орду и привезли оттуда Едигера Кызым-султана.

Воскресным днем 17 июня 1552 года государь Иван Васильевич выступил с многочисленным войском во второй поход на Казань. 49 дней тяжелые пушки и стенобитные орудия с близкого расстояния расстреливали крепостные стены. Перед тем Грозный многократно обращался с письмами к татарам, увещевая их прекратить кровопролитное сопротивление и мирным образом договориться о дальнейшей жизни, но «они разные богохульные, досадные и огорчительные ответы присылали и, чиня набег из города и из лесов, старались всякий вред и пакости делать».

Царь Иван Васильевич повелел соорудить высокую башню, повыше крепостных стен, поставить на нее крупные пушки и стрелять по жилищам казанцев. Он также приказал сделать под стеной возле главных ворот большой подкоп и заложить в него десятки мешков пороха. Когда подкоп был готов, царь приказал выстроить войско для штурма, а сам вошел в походную церковь и стал молиться. В те же минуты воеводы дали взрывникам команду, те подожгли пороховую дорожку, ведущую к подкопу. Чудовищной силы взрыв с грохотом поднял часть крепостной стены и бросил ее в ров. Русские войска со всех сторон устремились в широкий пролом и быстро овладели городом. Переодетый в платье простого воина казанский царь Едигер пытался спрятаться, но его поймали и привели к царю Ивану Васильевичу, который на радостях победы пожаловал ему жизнь.

Казанское царство на этот раз пало окончательно, став впоследствии губернией российского государства.

Летом следующего года Иван Грозный покорил Астраханское ханство, основанное на земле, также издревле русским князьям принадлежащей. Именно эта принадлежность документально подтверждена Рычковым в книге «Введение к Астраханской топографии». Сделать выводы ему помогли многие архивные документы, а также «Скифская летопись» Лылова, летописи Нестора, сочинения Татищева.

Перечитывая Казанскую и Астраханскую истории, известный в прошлом веке академик П. И. Пекарский, высоко ценя эти труды Рычкова, сделал, однако, и критические замечания. В «Опыте Казанской истории», по его мнению, Рычкову подчас не хватало «ученых приемов» в изложении богатейшего материала, который он перерабатывал, «не делая различия между первоначальными источниками и вспомогательными».

Но, как говорит Плиний, всякая история, даже и неискусно написанная, бывает приятна, тем более отечественная. Да ведь и сам Рычков в предисловии к «Опыту Казанской истории» смиренно признавался, что этот его труд вовсе не образец, что «несовершенства и неисправности его подадут повод искуснейшим, откуда и чем его дополнить и исправить надобно».

В этой книге Рычков впервые в мировой литературе представил родословную более двадцати основных татаро-монгольских ханов, дал каждому четкую характеристику, внес ясность в запутанный европейскими учеными вопрос о происхождении татар и об этническом составе их.

В начале 1776 года Рычков, несмотря на нездоровье, берется за грандиозную работу. На потребу общества он решил создать историко-географический словарь «Лексикон», в котором подробнее представить все населенные пункты, расположенные в пределах новой России — Оренбургской губернии и на большей части Казахстана и Средней Азии, описать историю, физико-географические приметы каждого города и селения, «чтобы ни едино жительство и обстоятельство, примечания достойное, упущено в нем не было».

В таком словаре нуждались ученые, путешественники, сенаторы, военачальники, губернаторы, торговые люди, простой народ... Придворный сановник, генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский, узнав о замысле Рычкова, ободрил его письмом и заинтересованно стал ждать результата начатого полезнейшего для государства дела. И хотя Рычков согласовал проспект своего нового сочинения с Рейнсдорпом, прося у него помощи в добывании информации о хозяйственно-экономической жизни губернии, в Оренбурге нашлось немало противников доброму начинанию ученого.

«Но есть уже здесь беспокойные головы, — писал Петр Иванович в январе Миллеру, — которые почитают сие за ненадобное дело, служащее к отягощению люда. И хотя я от таких безпутных толков не имею опасения, но чтоб взаправду не произошло из того помешательств, покорно прошу вас отписать к его превосходительству от себя, чтоб и он

в том мне способствовал со своей стороны и не допускал бы беспокоить меня от такой негодной и вредной критики. Слышу, что здешний прокурор принимает в ней участие, слушая приказных служителей самых подлых душой. Вот каковы здешние обстоятельства и как помогают полезным делам».

Перемогая явное недоброжелательство местных чиновников, собственные телесные и душевные недуги, Рычков упорно работает над «Лексиконом», рассылает в провинции анкеты-запросы и тщательно обрабатывает полученные сведения. Рейнсдорп не помогает ему, а лишь чинит помехи. Всегда деликатный, добродушный, Рычков, испив чашу терпения, с трудом сдерживает рвущиеся из груди гнев и обиду. 11 марта 1776 года он пишет Миллеру: «Им не довольно того, что в Оренбурге я уже потерял нежно любимую жену и пять детей и подвергаюсь ежедневным коварным проискам нашего здешнего человеконенавидца г. Р..., теперь мои страдания опять возобновились по случаю смерти тринадцатилетнего мальчика, подававшего большие надежды. Я умолкаю».

Однако работа продолжалась. В декабре 1776 года Рычков выслал в Петербург действительному тайному советнику генерал-прокурору князю А. Вяземскому первую часть «Лексикона» (от буквы А до буквы М). В начале следующего года была закончена и отправлена вторая часть словаря. Всего рукописный двухтомник «Лексикона» включал 678 страниц четкого убористого текста. В нем были представлены в алфавитном порядке описания 1650 населенных пунктов, около 30 горных вершин, хребтов, пещер и других достопримечательных мест, более 30 народов разных национальностей, около ста разного рода военных сооружений и прежде всего около 40 заводов и рудников, 12 месторождений полезных ископаемых, 50 рек и озер, свыше 60 видов животных и птиц.

«Лексикон» вобрал в себя огромный географический, исторический, этнографический и экономический материал, став подлинной энциклопедией новой России, то есть Оренбургского края, простиравшегося в то время на миллионы квадратных километров.

В словарь вошли некоторые сведения из «Топографии Оренбургской», но основное содержание его совершенно оригинальное. После географических словарей В. Татищева, первая часть которого была опубликована лишь в 1793 году, и Ф. Полунина, опубликованного в 1773 году, «Лексикон» Рычкова был третьим географическим, но первым региональным словарем в России. Подобный словарь появился в нашей стране лишь спустя сто лет.

Остается сожалеть, что правительство, достаточно щедро вознаградив

автора за столь объемный, кропотливый и полезнейший труд, лишило его самой главной награды — «Лексикон» не печатали. Но нужда в нем была острейшая, поэтому его, как и «Осаду Оренбурга», многие переписывали от руки. И поныне экземпляры «Лексикона» обнаруживаются то в Институте истории Академии наук СССР (фонд Воронцовых № 521), то в Центральной государственной библиотеке.

Почему не опубликовали?.. Бытовало мнение, что в словаре Рычков слишком подробно и хорошо описал крепости и форпосты — всю оборонительную линию юго-востока России.

Границы государства давно уже изменились, и никаких военных секретов «Лексикон» Петра Рычкова не раскрывает. А потому и нет причин держать его в секрете от читателей, ибо в наше время он может стать уникальным энциклопедическим изданием, драгоценной летописью Урала, книгой-памятником.

Прокаленные морозом и солнцем гурьевские, оренбургские, орские, казахстанские степи, тихие равнинные луга и лесистые увалы Башкирии, обрывистые красноглинные берега Урала, белесо-песчаные косы Средней Волги и Белой, седые отроги Кувандыкских скал и древний цветочный наряд Губерлинских нагорий станут нам еще роднее, когда узнаем подробно, какая жизнь бушевала на их просторах в далекие, описанные Рычковым, века.

ТРАВА НА СТЕНАХ ХРАМА

Счастлив и благодарен должен быть Оренбургский край, что он имел у себя такого бытописателя, как Петр Иванович Рычков.

В. Витевский

Страшно подумать, как заброшен мир, как парализована в нем деятельность лучших представителей человечества...

Л. Толстой

Едва Петр Иванович успел порадоваться признательности, с какою в Академии наук и правительстве встретили новое многотрудное творение его, как всполошились оренбургские чиновники, обливая ученого черной завистью и сплетнями. Разнузданную травлю подогревали местные вершители судеб — городской прокурор и сам губернатор, его превосходительство генерал-поручик Рейнсдорп. Под Рычкова стали всячески подкапываться, выискивать в его службе промашки, упущения. Но в главную вину ему по-прежнему возводилось не что иное, как научные занятия, на которые он тратится якобы в ущерб благополучию вверенной ему губернской конторе соляных дел. И хотя в течение семи лет Рычков почти в десять раз увеличил на Илецком руднике добычу соли, он результатами своей литературной и научной работы как бы уличал себя в том, что еще не весь, еще не сполна отдается административной службе, отвлекает себя ненужными, лишь потешающими честолюбие хартиями.

Эти несправедливые упреки побудили Рычкова через Миллера обратиться непосредственно к своему начальнику, управляющему Главной соляной комиссии, влиятельному при дворе тайному советнику Михаилу Яковлевичу Маслову, чтобы тот посовестил Рейнсдорпа и других хулителей, образуя их документами честной службы его, Рычкова, управителя конторы соляных дел. Предпринял ли Маслов какие-либо меры — не ведомо. Известно лишь, что Рейнсдорп своих интриг и козней не прекратил, выискивая способ избавиться от Рычкова.

Петр Иванович все острее и печальнее осознает гибельную

несуразность своего положения: дни должен тратить на конторские дела, на административную текучку, а ночами творить главное дело души — составлять, выписывать образ великой Истории государства Российского. И если прежде, лет пятнадцать-двадцать тому назад, ему как-то удавалось служебные дела с занятиями наукой совмещать, то теперь сие стало не по силам, а если и делалось, то ценой окончательного разрушения здоровья. В те дни он писал Миллеру: «Весьма я уже начал оскудевать в моих силах по причине вверенных мне соляных дел...»

Рычкову шел 65-й год, и он подумывал об отставке — уйти бы от суетных конторских хлопот, которые всякому грамотному чиновнику по плечу, и отдать оставшееся время и силы творчеству, незавершенным рукописям... Доделать то, что может только он, и никто другой.

Но... однажды он уже дерзал на такой шаг, да вскоре вынужден был сызнова проситься на должность, поскольку не смог содержать безбедно большую свою семью. Помоложе был, сильнее, а не сдюжил. Теперь же где ему, полубольному старику, набраться отваги и дерзать... Как вырваться из круговой осады Рейнсдорпа и его соратников?.. Вот если бы послать челобитную императрице, робко помышлял Рычков, да попросить определить пенсион, подобно тому, каким был пожалован писатель-драматург господин Сумароков. Указом императрицы от 13 июня 1761 года директор первого российского театра Александр Сумароков уволен был со службы по его собственному желанию с оставлением за ним пенсион в размере получаемого жалованья. В указе, в частности, подчеркивалось: *«Господин Сумароков, пользуясь высочайшею Ея императорского Величества милости, будет стараться, имея свободу от должности (курсив мой. — И. У.), усугубить свое прилежание в сочинениях, которые сколь ему чести, столь всем любящим чтение, удовольствия приносить будут».*

Жаль, что никому недосуг было патриотически озадачиться тем, какую бы пользу мог принести Отечеству ученый и писатель Рычков, создай ему сносные условия для несуетного творчества, приветливо, обласкай его бескорыстный талант и неиссякаемое трудолюбие. Сам же он по причине врожденной совестливости своей, скромности и появившейся с возрастом старческой осторожности не смел даже намекнуть о том, опасаясь быть понятым превратно: то добивался-де отставки, то вскоре же просил какой-нибудь должности, а теперь вот, глядите-ка, службой отягощен!.. Да как же Рычкову было не тяготиться службой, если еще шестнадцать лет назад медицинская Канцелярия засвидетельствовала, «что он за болезнями ни у каких дел быть не способен». Правительствующий

сенат тогда же приказал: «...оного Рычкова за показанными болезнями отставить от всех дел и, дав пашпорт, отпустить в дом его и ни к каким делам не определять, а за службу о награждении его статским советником подать Ея императорскому Величеству доклад»...

Копия этого сенатского указа лежала в домашних бумагах Рычкова и могла быть в любое время представлена им губернаторскому начальству как веский повод для решения вопроса об отставке. Но Рычков прекрасно знал: такой документ Рейнсдорп незамедлительно использует против него — отстранит от должности, уволив «по собственному желанию». Петр Иванович, возможно, и рискнул бы оставить службу, имея он высокого и мудрого покровителя, который бы взял под добрый пригляд его судьбу и не дал бы пропасть ему в далекой провинции. Но искать защиты в правительстве и Академии наук, кишащей его недругами — немцами, среди которых был и ученый Герард Фридрих Миллер, едва ли стоило.

Рейнсдорп по-прежнему поносил его в разговорах и служебных письмах, все менее соблюдая нормы приличия. Ни как ученый, создатель полезнейших для страны и прежде всего для обустройства Оренбургского края экономических, географических и исторических трудов, ни как толковый администратор, сумевший поднять до небывалого уровня производство соляного рудника, Рычков не устраивал Рейнсдорпа. Не устраивал тем, что слишком горяч, самостоятелен был в каждом деле, обнажая тем самым халатность и ничегонеделание других, привыкших к косной обыденщине и вялому житейскому однообразию; не устраивал потому, что слишком пристрастно радел за государственные интересы, внося во всякую работу преобразовательский дух, созидательное начало, делом и через дело претворяя в жизнь новые свои замыслы и мироустроительские идеи.

Несколько лет тлел, разгораясь, конфликт между местным властелином и выдающимся просветителем, и никому недосуг было заглянуть в далекий пограничный край и с доброжелательным вниманием осмыслить происходящее.

Петр Иванович порадовался, когда почта доставила ему письмо из Берлина. Издатель многотомной Экономической энциклопедии запрашивал его портрет. Рисовал Рычкова художник Н. Брезе. Всемирно известная Берлинская экономическая энциклопедия вышла в свет в 1784 году, в тридцатом томе ее был помещен гравированный портрет Петра Ивановича Рычкова с подробным рассказом о его научном творчестве.

То был первый и последний портрет Рычкова. Опубликованным его он уже не увидел.

Не дожил.

В феврале 1777 года он писал Миллеру: «Я весьма слаб здоровьем. Сверх болезни в ноге моей, мучит меня и лихорадка; однако ж, не взирая на оную, выезжаю еще к моим должностям. Мое здоровье теперь не столько уж нужно для меня и для моих домашних, сколько... для Отечества».

Но Отечество представляли чаще всего люди, помышлявшие лишь о собственном благе, жившие не интересами державы, а своекорыстными соображениями. Вот они-то и решали, кто важнее и полезнее для государства — талантливый ученый, создающий известные в стране и за рубежом труды, или разбитной администратор, предприимчиво наладивший работу той или иной конторы.

И они решили, что ученый и писатель Рычков более годится им как провинциальный столоначальник. 14 марта указом Правительствующего сената он назначается в Екатеринбург начальником тамошнего заводского правления.

Вместе с большою семьей и немалым домашним скрабом Рычкову, иссякающему в физических и духовных силах, предстоял тысячекилометровый путь на восток в провинциальное городишко, где, унимая распри и казнокрадство алчных заводчиков, надломил себя его духовный наставник Татищев.

Требовалось покинуть обжитой дом в Оренбурге и имение в Спасском со всеми опытными пчельниками, медеплавильными печками-лабораториями, могилами детей — вообще землю, стократно исхоженную, изъезженную за сорок три года службы и творчества.

Тяжко было на сердце Петра Ивановича. Но как человек на редкость учтивый, он написал в Сенат и самому князю Вяземскому, благодаря за «возложенную доверенность». Сам же, заехав по пути из Оренбурга в Спасское, простился с родным имением, дворовыми своими людьми, печально завещав похоронить его, где бы ни умер, здесь, в Спасской церкви. В Екатеринбург он отправился один, чуть погода к нему приехала жена.

В июле 1777 года Рычков приступил к новой должности. Поправляя на уральских заводах дела, «в некоторую расстройку приведенные», он одновременно пишет продолжение «Истории Оренбургской». Однако 17 августа и 9 сентября в письмах к Миллеру сообщает, что здоровье его совсем поослабло и не дает чинить ни то, ни другое, а только все чаще держит в постели.

11 ноября Алена Денисьевна, отвечая вместо мужа на письмо Миллера, с прискорбием уведомляла, что 15 октября Петр Иванович

скончался, оставив осиротелыми многие труды свои и желания.

Тело Рычкова из Екатеринбурга было перевезено в Спасское и похоронено в каменной церкви рядом с могилой старшего сына Андрея — близ арки, отделяющей трапезную от основной части храма.

Исполнилось последнее желание Петра Ивановича.

Кирилов, Татищев, Рычков... Лишенные в юности средств и условий приобрести основательное, или, как говорят теперь, систематическое высшее образование и почти всегда «окруженные неблагоприятными для духовного развития обстоятельствами», они трудом и талантом проложили себе путь к вершинам знаний, став верными поборниками русского просвещения. Содействуя его успехам «всеми зависящими от них способами», они, не числясь учеными по должностной обязанности, денно и ночью трудились на поприще науки, безоглядно жгли себя в борьбе с рутиной и косностью, с надменной бездарностью себялюбивых чинуш.

Не для себя они старались и хотели многого, оттого и не гнались за наживой, оттого и не теряли в любых обстоятельствах душевную высоту и гражданское мужество.

Разве славолубие, как считали завистники, питало долговременные творческие хлопоты Ивана Кирилова, помимо службы занимавшегося картографией и в итоге создавшего за свой счет в основном и оттого влезшего в посмертные долги, первую Генеральную карту и Атлас российского государства?

Не объяснить славолубием и гражданский подвиг Василия Татищева, который и государственную службу нес строго, и находил бог весть где и как силы для просветительских трудов. Написав семитомную «Историю Российскую», он не только не получил за нее ни копейки, но даже не увидел ее опубликованной!

А что десятилетиями двигало многогранную работу Рычкова, исполняемую не за страх и не за вознаграждение? Тщеславие и себялюбие ли, в которых подозревал его Рейнсдорп? Нет, не это давало мощный заряд созидательной силе и каждодневному кропотливому упорству. Рычков работал по 15–18 часов в сутки и притом считал себя недостаточно загруженным и деятельным.

Полную историю России, как ни мечтал и как ни старался, он не написал. Или вернее — не дописал: не хватило сил, жизни... Но такие, как он, положили начало этому великому делу.

Обращаясь в автобиографических «Записках» к своим детям, он писал: «Я вам, как ваш отец и друг, советую не нажитков и богатства искать, но

простирались в честности и в добродетели». Советовал им не стыдиться простого происхождения, ибо истинное достоинство человека не в породе состоит, а в благодеяниях для своего народа, да ведь и «не все генералы от генералов рождаются».

Петр Рычков...

Это имя с почтением и благодарностью называли Ломоносов и Пушкин, выдающиеся естествоиспытатели Лепехин и Паллас, видные ученые Мильков, Каратаев, Бак, издатели почти всех всемирно известных энциклопедий и словарей.

И все-таки о Петре Рычкове не сказано еще полного слова. А главная печаль — не нашелся у нас издатель, который бы собрал воедино рассеянное по тысячам журнальных и книжных страниц литературное наследие Рычкова и представил его народу.

Мы должны знать аттестованного Пушкиным автора «многих умных и полезных книг».

В селе Спасском Бугульминского района перед новым зданием восьмилетней школы в уютном сквере возвышается памятник. Сразу же узнаются мужественные спокойные черты... В школе есть крохотная комнатка — музей П. И. Рычкова, где экспонируются его скульптурный портрет, два полотна художника Н. Осокина, запечатлевших ученого среди местной природы, памятная медаль и юбилейная плакетка «П. И. Рычков — ученый и путешественник. К 275-летию со дня рождения», книги, брошюры, газетные вырезки о знаменитом земляке. Здесь же лежит пьеса о Рычкове «Оренбургский тракт», написанная местным учителем, кандидатом педагогических наук Анатолием Ефремовым. Отмечая юбилей ученого, школьный театр поставил по ней несколько спектаклей в районном центре и в некоторых селах.

На фасадной стене школы, словно уравнивающая весьма скромное содержание музея, поблескивает большая мемориальная доска с надписью: «В селе Спасском в 1760–1770 гг. жил и работал выдающийся русский ученый, первый член-корреспондент Российской Академии наук ПЕТР ИВАНОВИЧ РЫЧКОВ».

Напротив школы, метрах в стах, стоит одноэтажная, с крепкой башней-шестериком и традиционной маковкой, кирпичная церковь. Приземистая, толстое генная, вся в выбоинах и щербинках, с пустыми глазницами окон, она похожа на старую крепостцу, выдюжившую многолетний осадный огонь и силу разного вида орудий. Все в ней — внутри и снаружи — являет собой картины давней беспризорности и

запустения.

Но если здание отреставрировать?.. Так родилась идея открыть в селе Спасском музей с мемориалом П. И. Рычкова. Прекраснее места не найти — вокруг на редкость сохранившаяся природа: с востока село окаймляют пологие, обросшие соснами и березняком, горы, у подножия которых звенит веселая речушка Шайтанка, с запада, от самого горизонта, стелется равнинная ширь полей...

Есть проектная документация, выделены деньги, но районная власть и Министерство культуры Татарии давно, многие годы ищут и никак не найдут реставраторов. Не заглядывают сюда и ответственные люди из Оренбурга, где, кстати сказать, среди названий площадей, скверов, бульваров, сотен улиц, переулков не встретить имя человека, поставившего на месте нынешнего города первый колышек и затем отдавшего уральской земле многогранный талант, ум, любовь, здоровье — более сорока лет кипучей своей жизни.

Повествование о замечательном человеке хотелось бы закончить заздравием, без примеси грустного недоумения и тревоги. Но... как часто, рассказывая о выдающейся личности, приходится говорить не только о подвижничестве ее, но и мученичестве при жизни и забвении после смерти...

Доколь же напоминать нам самим себе о том, что История Отечества только тогда учит, образует, очищает и одухотворяет, когда она оживает для нас в конкретных людях, в страстях и борениях ее творивших, когда люди эти становятся самыми родными и святыми в нашей памяти?!

...Как наяву видятся на зеленом взлобышке посреди приметного русского села белокаменный храм-музей, люди, почтительно входящие в него, чуются горьковатые запахи любимых им полевых цветов, возложенных к барельефу бюста, слышатся теплые голоса о нем... Увы, пока еще только грезы.

Заслуги Рычкова опередили славу его. Она лишь теперь, спустя столетия, неспешно, не вдруг, но неуклонно начинает восходить к нему, российскому ученому и писателю, сумевшему самым скромным и самым достойным образом проявить себя, сделать фактом жизни свои программные слова* «Мое намерение и желание ни к чему иному не клонится, как токмо усердно служить Отечеству».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П. И. РЫЧКОВА

1712, 1 октября (ст. ст.) — Родился в г. Вологде.

1720. Переезд семьи в Москву. Обучение и работа на полотняной фабрике.

1730–1732. Служба в управлении Ямбургского и Жабинского стекольных заводов.

1732. Назначен переводчиком в Петербургскую портовую таможену.

1734. Отъезд на Урал в составе военно-научной экспедиции под руководством Ивана Кирилова.

1735–1739. Работа по обустройству Оренбургского края, служба под началом И. К. Кирилова и В. Н. Татищева.

1741–1758. Литературная и просветительская деятельность П. И. Рычкова при И. И. Неплюеве — первом оренбургском губернаторе; заведование губернской канцелярией.

1755. Первая публикация в журнале «Ежемесячные сочинения и переводы».

1753–1762. Встречи и переписка с М. В. Ломоносовым.

1759. Выход в свет «Истории Оренбургской».

1759, август. Принят в члены-корреспонденты Российской Академии наук.

1760. Уход со службы по состоянию здоровья. Жизнь и научно-литературная деятельность в с. Спасское.

1762 Выход в свет «Топографии Оренбургской».

1763–1769. Творческая работа, создание и публикация многих исторических, географических и экономических трудов. Родительские хлопоты П. И. Рычкова — отца двенадцати детей.

1765. Избран в члены Вольного экономического общества.

1767. Встреча с императрицей Екатериной II.

1770. Возвращение на службу в должности начальника правления Оренбургских соляных дел.

1771. Вручение П. И. Рычкову золотой медали Вольного экономического общества за научные труды об улучшении российского земледелия.

1773. Избрание П. И. Рычкова членом Исторического собрания

Московского университета.

1773–1774. Осада Оренбурга пугачевскими войсками и отображение ее Рычковым в «Летописи». Встреча с вождем крестьянской войны Е. И. Пугачевым.

1775. Обострение конфликта между П. И. Рычковым и оренбургским губернатором И. А. Рейнсдорпом.

1777. Назначение П. И. Рычкова начальником Екатеринбургского заводского правления. Отъезд из Оренбурга.

1777. 15 октября П. И. Рычков скончался.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений П. И. Рычкова

Рычков П. И. История Оренбургская. Спб. 1759.

Рычков П. И. Топография Оренбургская. Чч. I–II. Спб., 1762.

Рычков П. И. Опыт казанской истории древних и средних времен. Спб., 1767.

Рычков П. И. Введение к «Астраханской топографии». М., 1774.

Рычков П. И. Описание осады Оренбурга («Летопись» Рычкова). Впервые опубликована в сборнике А. С. Пушкина «История Пугачевского бунта». Спб., 1834., затем в 9-м томе Полн. собр. соч. А. С. Пушкина, 1938.

Рычков П. И. Записки Петра Ивановича Рычкова. М., Русский Архив, 1905, книга III.

Литература о П. И. Рычкове

Бак И. С. Экономические воззрения П. И. Рычкова. Ист. записки АН СССР, № 16. 1945.

Блок Г. П. Пушкин в работе над историческими источниками. М. — Л., 1949.

Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук в XVIII веке. М. — Л., 1946.

Заозерская Е. И. Развитие легкой промышленности в Москве первой четверти XVIII века. М., 1953.

Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И. Кирилов и В. Татищев. М., 1949.

Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.

Мавродин В. В. Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Восстание Пугачева. Тт. 1, 2. Л., 1961.

Новлянская М. Г. Иван Кириллович Кирилов — географ XVIII века. М. — Л., 1964.

Пекарский П. П. Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова. Спб., 1867.

Иллюстрации



Пётр Иванович Рычков

П. И. Рычков. Гравюра Н. Брезе. 1776 г.



Петр Первый. *Скульптор Б. Растрелли. 1723 г.*



Санкт-Петербургская Академия наук. XVIII в. *Гравюра М. Махаева.*



Императрица Елизавета Петровна. С гравюры Чемезова. 1761 г.



К. Г. Разумовский — президент Российской Академии наук.



Императрица Екатерина II. С гравюры Чемезова. 1762 г.



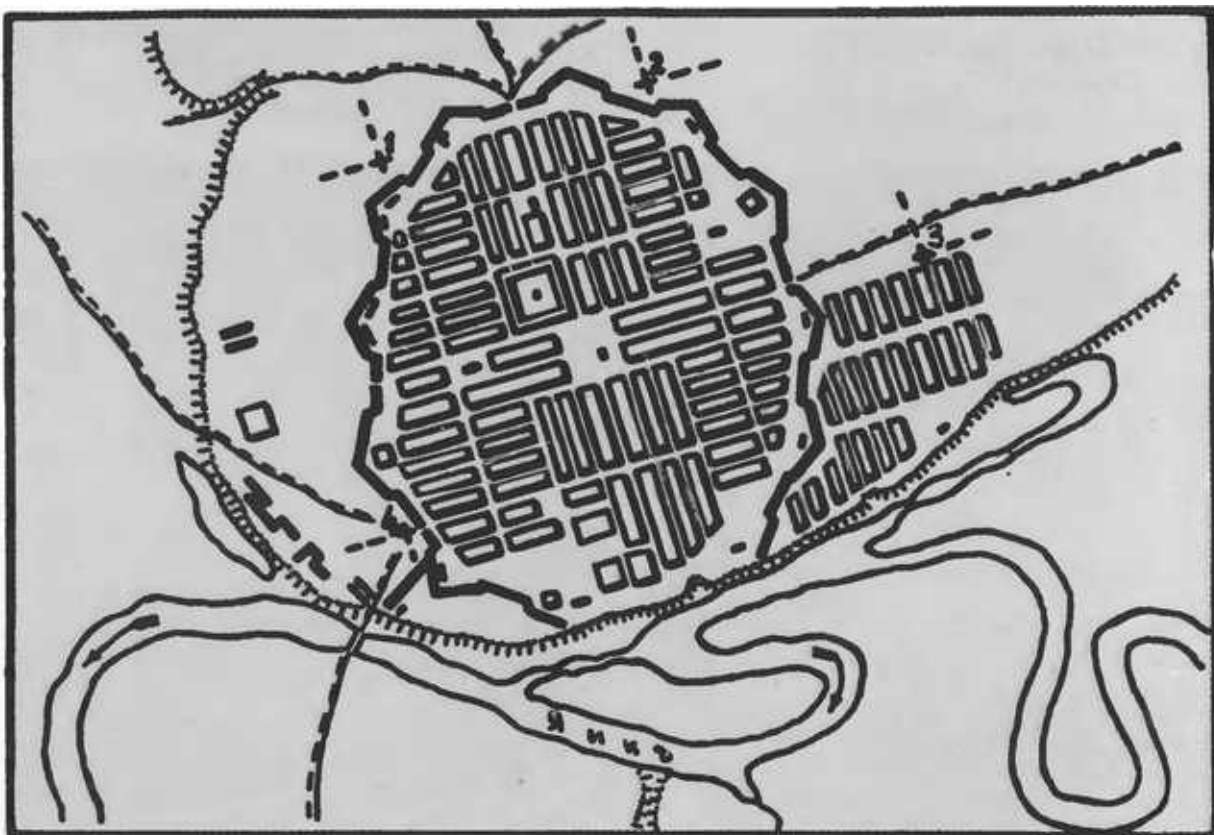
В. Н. Татищев.



Неплюев — первый оренбургский губернатор.



Герб Оренбурга.



План каменного строения Оренбурга.

Упомянутое выше, что в 1755 г. в Оренбургском
 войске, по повелению Вашего Императорского
 Величества, учреждено было Оренбургское
 казенное правление, для управления казенными
 делами, и для сбора казенных доходов, и
 для исполнения казенных обязательств.

Письмо П. И. Рычкова М. В. Ломоносову (фрагмент). 1755 г.



М. В. Ломоносов.

ТОПОГРАФІЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОЧИНЕНІЕ П. И. РЫЧКОВА
1762 года.

Издано на средства Ездора Ивановича Баженова
Оренбургским Отдѣломъ
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества.

ОРЕНБУРГЪ.
Типографія В. Вреслина
1887.

Топография Оренбургской губернии. 1762 г.



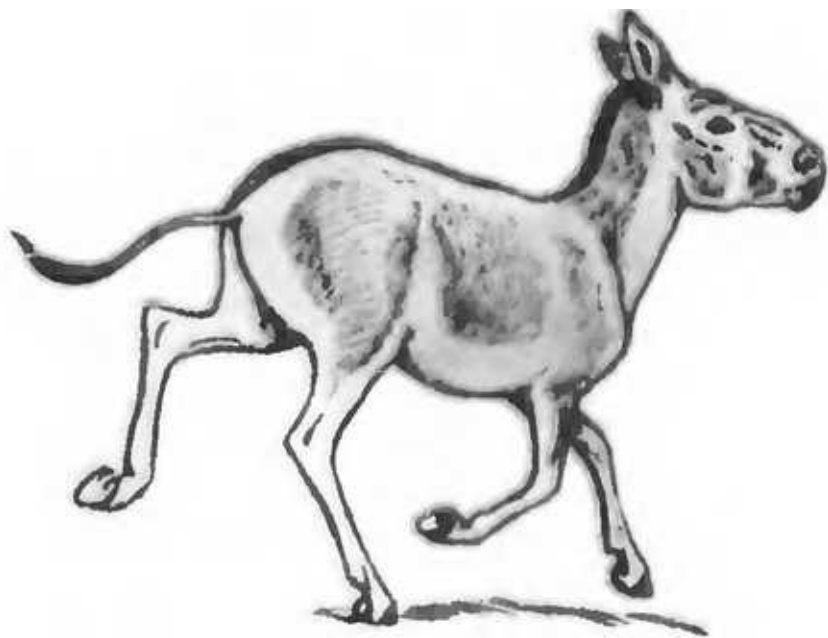
Основной транспорт в пустыне.



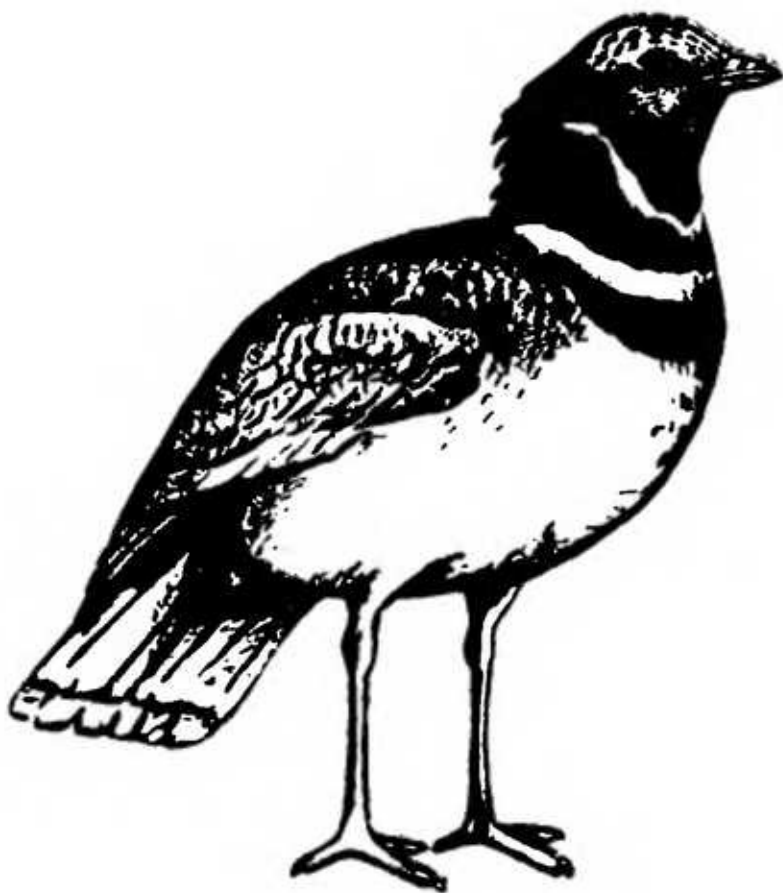
План Оренбурга с казачьей слободой. 1760 г.



Киргиз на коне. Из иллюстраций к «Топографии Оренбургской».



Кулан — дикая лошадь.



Стрепет — пернатый обитатель уральских степей.

ДНЕВНЫЯ
ЗАПИСКИ
путешествія

Калитана Николая Рычкова
въ киргисъ-кайсацкой степѣ.

1771 году.



ВЪ - САНКТПЕТЕРБУРГѢ
при Императорской Академіи Наукъ,
1772 году.

Титульный лист «Дневных записок» Н. П. Рычкова. 1772 г.



Емельян Пугачев. Художник Ю. Бояринцев.



Георгиевская церковь в Форштате (предмесье Оренбурга), с колокольни которой пугачевские артиллеристы обстреливали город в ноябре 1773 года.



А. И. Биби́ков.



П. И. Панин.



Собор архангела Михаила в Яицком городке (ныне г. Уральск).



Пугачевский «дворец» в Яицком городке — Уральске. *Рисунок В. Г. Короленко.*



Яицкие казаки.



Дом Смолиных в Бердской слободе, на месте которого стояла изба казака Константина Ситникова — «государев дворец» Пугачева в ноябре 1773-го — марте 1774 г.



Казак атакующий.



Клетка, в которой содержался Е. И. Пугачев в заключении. Была вделана в стены тюремного помещения.



А. С. Пушкин. Художник П. Соколов.



Дом наказного атамана Уральского казачьего войска в Уральске, где 21–23 сентября 1833 года останавливался А. С. Пушкин.

ИСТОРИЯ
ПУГАЧЕВСКАГО
БУНТА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1834

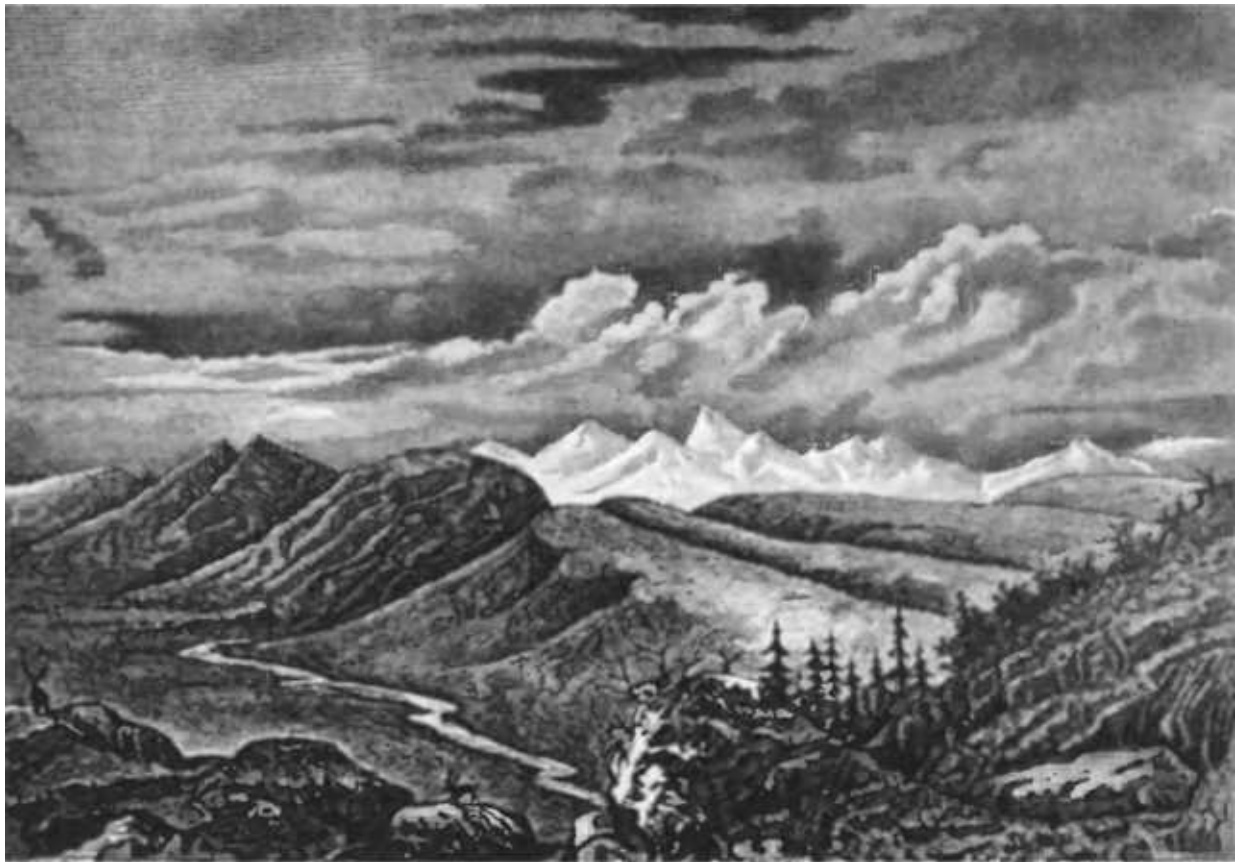
А. С. Пушкин. Титульный лист «Истории Пугачевского бунта».
Издание А. Суворина.



Село Нижне-Озерное, бывшая Нижне-Озерная станица, которую 20 сентября посетил А. С. Пушкин.



Вид на Оренбург с левого берега реки Урал. Художник П. Свиньин.



Вид уральского хребта.



Мемориальная доска на доме Рычковых.



Дом Рычковых в Оренбурге. Современное фото.



Мемориальная доска в память о П. И. Рычкове в селе Спасском.



Памятник П. И. Рычкову в селе Спасском.



Церковь в селе Спасском, где похоронен П. И. Рычков.



Юбилейная памятная медаль Российской Академии наук.